

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРЕДЫСТОРИЯ**

"В скрытом от божьего слуха погребе"

В "Докторе Фаустусе" Томаса Манна дьявол объясняет Адриану Леверкюну, что такое ад: "Там все прекращается - не только словесные обозначения, вообще все - это даже главный его признак, существеннейшее свойство и одновременно то, что прежде всего узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания, - словом, потому что это невероятно, невероятно до ужаса, хотя по прибытии ему как бы вместо приветствия в самой ясной и убедительной форме сообщают, что "здесь прекращается все" - всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие уважения к недоверчивому заклинанию: "Вы не можете, не можете так поступить с душой". Увы, так поступают, так делают, не давая отчета слову, в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от божьего слуха погребе - в вечности".

В этом представлении об аде - трагический опыт человека, воспитанного в гуманитарно-либеральной традиции девятнадцатого века и познавшего тоталитаризм века двадцатого.

"Вы не можете так поступить..." Отчего же, можем. Можем уничтожить народ, сжигать детей, хлестать по щекам стариков. И не нужно слов, слова тут ни к чему. Мы "в скрытом от божьего слуха погребе." Ад - это конец всему, это непреклонность, безысходность, четкость фашизма, как системы.

В России это начали ощущать после 17 года. В Германии - после 33-го. Во Франции - в сороковые. В Польше...

Летом 42-го в варшавском гетто собрались лидеры общественных движений и партий: политические деятели, раввины, литераторы. Уже началась массовая депортация. Но куда шли эшелоны с людьми, было неясно. Немцы уверяли: в Люблин, в трудовые лагеря. Обсуждалась возможность сопротивления. И дружно соглашались с тем, что оно не только нереально, но и бессмысленно, более того, вредно. Это только озлобит немцев, приведет к репрессиям. И потом... Потом не могут же они уничтожить полмиллиона человек. Такого не бывает. Это невозможно, неслыханно.

А первые поезда уже шли в Трешлинку.

Обо всем этом рассказано. Все измерено, исчислено, взвешено, отлито в бронзе, запечатлено в тысячах печатных страниц. Мемуары отдельных оставшихся в живых очевидцев, научные исследования, поэмы, романы на разных языках. Но с ходом времени жизнь и гибель варшавского еврейства во Второй мировой войне нуждается в переосмыслении.

Сопротивление нескольких сотен молодых людей, вооруженных пистолетами и бутылками с горючей смесью, эсэсовским батальонам, поддержанным артиллерией, танками, самолетами; сопротивление, длившееся месяц и тем более упорное, чем безысходнее оно становилось; сопротивление, происходившее на фоне пылающего города, под обломками которого исчезали остатки целого общества, жившего в течение трех с половиной лет в условиях полной изоляции и жесточайшего террора - все это, с одной стороны, напоминает о библейских трагедиях, а с другой - об атомной катастрофе, и все это приподнимает жизнь и восстание варшавского гетто до уровня значительного эпизода человеческой истории.

Этот эпизод не обособлен, он уходит своими корнями в историю еврейского народа и имеет свое продолжение в будущем. Судьба польского еврейства не окончилась в газовых камерах Трешлинки и Майданека, на баррикадах восстания. Это еврейство стало одним из важных элементов формирования израильского государства.

Есть и другая сторона явления - социальная. В силу трагических обстоятельствах в сравнительно небольшом городском районе было спрессовано около полумиллиона человек, представлявших собой единое общество со своим укладом жизни, своими историей, религией, традициями. Здесь было все - самоуправление, политическая борьба, социальное неравенство, экономика. Здесь было то же, что и в обычном обществе, только проявления жизни были искажены апокалиптическим ощущением конца. Это общество балансировало на краю гибели, исступленно думало о ней, жаждало спасения и пыталось обрести его любой ценой. В такой стрессовой ситуации все усугублялось - злодейство и самопожертвование, биение человеческой мысли и любовь.

Нервные ритмы, мучительные попытки проникнуть в будущее и предчувствие грядущей катастрофы - разве не проецируется все это на наш сегодняшний день, разве не связывает нас, людей девяностых годов, живая и нерасторжимая связь с обществом, существовавшим три с половиной года в ситуации беспрецедентной и исчезнувшем мгновенно?

...Немцы, поляки, евреи, русские, арабы - крутится волчок истории, наматывается нить событий, запутывая ее в тугие узлы. И где-то в этом бешеном кружении, в коридоре десятилетий луч истории фиксируется на старом городском районе, огражденном стеной. Нарукавные повязки, крики нищих, конный трамвай, тиф и голод - все это мелькает, плещется, вопит, плывет, исчезает. Но ничего не исчезает бесследно в этом мире.

## Видения Юзефа Харитона

Расскажу историю Юзефа Харитона, услышанную от моего друга, польского журналиста, который был близко знаком с ее героем и даже опубликовал о нем очерк в одном из варшавских журналов.

В начале войны Харитон был мэром небольшого городка в Белостокском воеводстве. Его дом находился на базарной площади, на которой в первые же дни оккупации начались расстрелы евреев, составлявших значительную часть населения города. Индустрию смерти еще создать не успели. Душегубки, газовые камеры - все это было впереди. А пока людей выстраивали на площади и расстреливали из автоматов. Полякам в таких случаях приказывали закрывать окна ставнями. Так что площадь глядела на умиравших евреев пустыми закрытыми окнами. Однако Юзеф Харитон был человек любознательный. Он находил щелочку в ставне и наблюдал за расстрелами. Он видел погибавших людей совсем близко (площадь была небольшая) и утверждал впоследствии, что выражение "волосы встали дыбом" отражает явление чисто физиологическое, он сам видел как у евреев перед расстрелом волосы поднимались на голове. Иногда их выстраивали у стены его дома и кровь оказывалась на его ставне, так что ничего не было видно. Он провел у своей смотровой щели много дней. Когда город стал "юденрейн", жизнь в нем пошла своим чередом.

После войны Харитон работал фотографом, ретушером, а к середине шестидесятих годов вышел на пенсию и смог, наконец, целиком заняться своим любимым делом - живописью. Он писал маслом, рисовал тушью, стал мистиком, вызывал души умерших людей. В городе его считали не совсем нормальным. Все увиденное на базарной площади давно забылось и казалось давно похороненным в глубинах памяти среди других ужасов войны, которых так много выпало на долю любого поляка его поколения. Но лица погибших евреев вдруг стали сниться ему. В полудремотном сознании появлялись глаза, глядящие из-под нависших бровей, крупные мясистые носы, ключья бород и пейсов, длинные капоты, коротконогие фигуры. Из таких подробностей составлялся образ человека. Он вспоминался неотступно, стоял в ночи, уже бессонной, в той самой позе, в которой застала его пуля. Это давило, мешало жить. В одну из особенно тягостных ночей он схватил блюдо с разведенной тушью (любимая его техника) и в несколько взмахов кисти набросал на листе ватмана мучивший его лик, словно выплеснул на бумагу, словно отдал кому-то и, освободившись, уснул спокойно.

Потом появлялись другие лица - все из того же виденного четверть века назад кошмара, и снова он мгновенно выплескивал портрет на бумагу, испытывая каждый раз временное облегчение. Приходили соседи, смотрели и дивились сходству с оригиналом.

-Это же Мойше-сапожник. Я шил у него сапоги. А это Герш-мясник. Харитон дарил свои эскизы, если находились охотники их брать. Рисунков становилось все больше. Видения не оставляли его, срабатывал какой-то странный механизм сознания, выталкивая из небытия образы давно погибших людей. За несколько лет он восстановил таким образом почти все исчезнувшее еврейское население города.

Бог дал этому человеку редкий дар зрительной памяти, включив ее в какой-то одному ему известный момент. Почему я, человек, достигший возраста осмысленного существования уже после войны и к тому же в России, ношу в себе память о жизни и гибели варшавского еврейства? Двадцать пять лет я собираю материалы о событиях полувековой давности, размышляю над ними, вижу их глазами российского человека то семидесятых, то восьмидесятых, то, наконец, девяностых годов. Постепенно жизнь гетто переплелась с моей собственной. И вот теперь на ее исходе, в конце века, столь богатого трагическими событиями, я подобно Юзефу Харитону выталкиваю эти знания и размышления на бумагу в повествовании хронологические рамки которого растягиваются на многие десятилетия

## Попытка автобиографии

Тебе кажется, что ты сам открыл для себя национальные ценности и неизвестно, на каких изгибах души начал ощущать себя иудеем, гордиться этим, думать об этом и глядеть на восток. Ты еще не понимаешь, как это произошло. Разумеется ты и раньше был евреем. Носил свое еврейство как привычную ношу. О, ты страдал меньше других, куда меньше. Ты делал престижную журналистскую карьеру, конечно, медленнее, неизмеримо медленнее, чем если бы ты был русским при тех же способностях. Ты делал эту карьеру с точным знанием положенных тебе пределов и уж потом, к старости понял: слава богу, что пределы эти были тебе обозначены, а то, глядишь, при конформизме и честолюбии залетел бы, куда приличному человеку залетать не стоило...

Ты страдал меньше других и вследствие умения располагать к себе людей, отсутствия внешних негативных национальных черт - так тебе во всяком случае говорили друзья под пьяную руку. Временами ты как бы забывал, что еврей. Это ощущалось при перепадах биографии - переходе на другую работу, повышении по службе, поездке за рубеж. Тут у твоей фамилии задерживалось острие карандаша.

Когда-то ты был свидетелем молчаливого карандашного диалога. Кадровик подsunул начальнику список, и карандаш полз вдоль колонки фамилий, пока не задержался на миг у еврейской, поставил едва заметную точку и пополз дальше.

А в юности в приемной комиссии университета женщина с добрым лицом также безмолвно показала тебе прошлогодний список абитуриентов. У двух еврейских фамилий стояли красные восклицательные знаки. Ты был смущенный мальчик. Все понимал. Все понимал всю жизнь. Иногда, правда, щемило сердце. Вдруг прибежит со двора твой ребенок и спросит: "Пап, а нельзя перестать быть евреем?"

-Что, устал, сынок?

-Устал.

В свои же семь лет ты услышал на классной перемене от мальчика -переростка как бы задумчиво доброжелательный полувопрос.

-Вроде ничего ты парень. Только фамилия у тебя чудная. Ну, зачем такая фамилия? Вот у меня, смотри, какая фамилия.

Его фамилия была Захряпин.

Лет десять спустя, войдя в класс, ты увидел как замолкли твои товарищи, уже взрослые ребята. Они стояли в углу тесной группой и прервали разговор на полуслове, на полужесте, как в кино, в стоп-кадре и смотрели на тебя все сразу со странным

холодом в глазах, будто в первый раз видели. Так они не смотрели никогда. И ты понял: они говорили о деле врачей.

Было, правда, и другое, когда полгода спустя в класс влетел учитель литературы, любимый всеми за чудачество и доброту, старый, одноглазый, прапорщик первой мировой войны, корневой русский человек, всю жизнь проживший на московской окраине, на Рогожке, у старообрядческого кладбища. Он влетел в класс, потрясая руками и чуть приседая, как делал это в минуты волнения, и закричал: "Сегодня великий праздник русской интеллигенции!" И ты понял: он о реабилитации врачей.

Все эти милые детали российской жизни были привычны, естественны, воспринимались, как дождь, снег за окном, как дефект твоего телосложения. Ну, что ж, люди живут и с горбом. Едэм дас зайне - каждому свое, как писалось на воротах Бухенвальда.

Но жизнь - то продолжалась, и шла она в русском национальном пространстве. Русская нянька тебя воспитывала и любила, как собственного сына, и ты уже взрослым непременно ходил к ней на пасху. Чокался и целовался с зятьями, братьями, кумовьями, щелкал о стол крашеные яйца.

Ты упивался Буниным и Блоком, пил опьяняющий напиток русской культуры и только годы спустя узнавал, что Жаботинский ( а он был не только создатель целого направления в сионизме, но еще и блистательный русскоязычный публицист) в начале века определял эту влюбленность евреев в русскую культуру, как унижительную любовь свинопаса к царевне.

Ты ничего этого не знал. Это была твоя культура, другой у тебя не было. Еврей ты был для других, для себя ты был русский. И вдруг ты начинал становиться евреем и для себя.

Этот процесс кажется тебе сокровенным, личным, словно некое невесть откуда залетевшее зерно прорастало в твоей душе. Ты пытаешься понять: откуда оно? Где исток?

В середине шестидесятых ты узнаешь о восстании в варшавском гетто. Приятель был в Польше и рассказал. Сначала ты дивишься своему невежеству: как эдаких-то масштабов трагедия прошла мимо тебя? Ведь ничего же не знал. Вот ведь информационная блокада! Но заводишься, едешь в Варшаву, узнаешь все больше. Ты возвращаешься, рассказываешь близким и дальним, сталкиваясь с тем же незнанием, которое еще недавно было свойственно тебе.

И общественное незнание еще больше заводит тебя. Рассказать, написать, прорвать эту блокаду. Ты едешь в Варшаву снова и снова, осваиваешь польский, вывозишь кучу документов, еще не понимая до конца на какой крестный путь ты вступил, еще не догадываясь, какой длины тот путь...

Одновременно перед тобой приоткрывается мир еврейской истории, культуры, быта, религии. Твое сердце отчего-то сладко сжимается, когда ты слушаешь привезенные из Польши идишисткие пластинки - "А штикеле бройт", "А идише мама". Твоя мать никогда не пела тебе этих песен. Она говорила с тобой только по-русски. Ты с робостью и восторгом оглядываешь открывающееся перед тобой здание иудаизма. И воспитанный сначала на Ленине, а потом на самиздатском Бердяеве, с изумлением узнаешь о Маймониде и Беште. Ты открываешь в этом свое. Непонятно, почему оно твое? Но оно твое.

Как-то в Майданеке, самом страшном из сохранившихся в Европе лагерей, ничуть не приглаженном музейным лаком, ты встречаешь англичанина. Это молодой, твоего тогдашнего возраста человек, живой и любознательный. Он щелкает фотоаппаратом, расспрашивает переводчицу. Глаза его сосредоточенно печальны и ясны. В них нормальный интерес нормального человека к ненормальному явлению. Его страна, конечно же, тоже испытала войну - бомбежки, гибель людей. Но там даже отдаленно не знали ничего похожего на то, что знали все мы - евреи, поляки, русские, то, что можно назвать по-разному - тоталитаризм, фашизм, геноцид - как угодно, нет здесь единого исчерпывающего определения. Не придумано.

Все, что он видел, было твое. И камера с синими полосами газа на белой стене. И огромный плац, где выстраивали эзков. И колючая проволока с вышками для охраны.

Это ты мог быть среди детей гетто, замерзавших в развалинах, клянчивших милостыню, увозимых в Треблинку. Это твою двоюродную сестру, рожденную в тот же год, что и ты, задушили в душегубке вместе с родителями. Это твою жену летом 41-го случайно не отправили в еврейское село под Винницей, где она жила каждое лето. Всех обитателей этого села загнали в сарай и сожгли заживо, построив на том месте полевую ставку Гитлера.

А колымские лагеря твоего отца?

Прошлое... В настоящем же к тебе подходит на улице скромно одетый человек лет сорока, по виду рабочий, и о чем-то хочет тебя спросить - сколько времени или что дают в соседнем магазине? Он и спрашивает, доброжелательно, эдак спокойно спрашивает: "Скоро вас, жидов, загонят в резервации?" Телевизионная дискуссия о том, возможен ли русский фашизм? Карикатуры из российских антисемитских газет, словно взятые из "Штюрмера" или с немецких плакатов, висевших на улицах Варшавы начала сороковых: горилла в ермолке - голый волосатый человек с хищным профилем, сидящий на гряде черепов.

Но это нас унесло в девяностые. А в прежние-то - в шестидесятые, семидесятые - с одной стороны трамвайное, бытовое и потому откровенное: "Ну, не могу я их видеть. Что хочешь делай - не могу и все!" - с другой, - изощренное, вслух не высказываемое на этажах власти - процентные нормы, карандашное право. В газетах же. на телеэкранах - румяный казенный интернационализм.

Так что же, разве антисемитизм привел тебя к осознанному национальному ощущению? Или вспыхнувший вдруг профессиональный журналистский интерес к Холокосту? Но варшавское гетто было лишь толчком, импульсом. И как ты впоследствии узнаешь, у каждого был свой импульс, сработавший у всех, примерно, в одно и то же время.

Один прочитал "Экзодус" и заплакал, и это были слезы очищения. Другой - речь Гидеона Хаузнера на процессе Эйхмана и пленился пафосом и страстью прокурорского красноречия. Третий встретился с приятелем, который, не боясь стукачей, говорил с пропагандистской открытостью и прямоотой, и он, пораженный этой прямоотой, сначала возражал и спорил, а потом, после едва ли не ссоры, придя домой, проспав ночь, остыв, ощутил как шевелится в нем его еврейство, как живет оно в нем подобно незаконному плоду, вытраиваемому, нежеланному, вызывающему страх, но - своему.

У всех это чувство (назови его национальным самосознанием или как-нибудь еще) сначала интимное, личное, вынашиваемое, тайное. В тебе кипит пена слов, образов, мыслей, пугающих и одновременно прельщающих новизной. Ты перебираешь камни этих мыслей, обкатываешь их волнами ощущений, воспоминаний, крохами знаний. Ты приглядываешься к людям, ищешь свое, отталкиваешь чужое, острее чувствуешь и свое и чужое, ты напряжен, сосредоточен, словно вслушиваешься, вглядываешься в мир.

Однажды ты встречаешь старого друга, которого не видел много лет и с которым как будто бы утратил внутреннюю связь. Ты говоришь с ним, по привычке прощупывая его (всех людей ты словно прощупываешь), и вдруг по отдельным словам, недомолвкам начинаешь понимать: он болен тем же. Ты еще боишься раскрыться, но понимаешь: он такой же, как ты.

Потом ты находишь другого, третьего и начинаешь сознавать, что ты не один, что те же толчки мыслей и чувств испытывают сотни, тысячи людей, что ты часть огромного общественного процесса, идущего с ускорением, охватывающего все большие массы людей.

След человека

Бабье лето стоит над Россией. Бабьим летом дышат Москва, Минск, Брест. "Во всей европейской части страны сухо, тепло, солнечно" - сообщают метеосводки. На

подмосковных дачах жесткая пыльная трава сечет ноги. Стеклянно колеблется воздух на сосновых участках.

С Белорусского вокзала уходят поезда. Москва-Варшава-Берлин-Париж. Дважды в сутки отправляются эти щегольские экспрессы. Ранним вечером, в сизых сумерках кипящей людьми площади, и ночью - от пустых похолодевших перронов.

Варшава встречает промытостью улиц, тем же стеклянным блеском бабьего лета. Я попадаю в центр тесного польско-русского кружка, в котором полякам - хозяевам домов - еще памятни Моховая и Пироговка, а у русских хозяек - классическая ностальгия, неумеряемая ежегодными поездками в Москву.

Их квартиры со встроенной мебелью, с комплектом "Нового мира" за стеклом книжного шкафа, их застолья с вишневкой и протертым супом, с водкой и крохотными бутербродами, с бесконечными московскими разговорами о Вознесенском и Окуджаве, о театре на Таганке. Долгие провожания всей компанией по ночным варшавским улицам, когда пятна фонарей желтеют в листве Саксонского парка, гулко громыхает последний трамвай, смутно белеет в темноте громада Дворца культуры и науки и высится за оградой у Центрального вокзала "чертово колесо" приехавшего из Праги Луна-парка. Весь день оно медленно вращается над городом, весь день за оградой - визг, хохот, очереди, а сейчас - застыло и стоит темной машиной, упершись в звездное небо.

Утро начинается с цоканья каблуков за приоткрытым окном. Улицы снова умыты и чисты. Замша курток и нейлон рубашек, трости и зонты, свежая косметика на женских лицах. К девяти спадает уличная рабочая толчея, и улицы отдыхают до трех в солнечной истоме ранней осени.

По этим улицам хочется слоняться бездумно, осязая и обоняя город, впитывая в себя его звуки, запахи и краски. Он звучит мелодией чужой речи с ее ровными вежливыми оборотами и невозможными для русского уха сочетаниями согласных. Он дышит бензином, одеколоном, винным духом желтеющей листвы. Он цветет голубовато-коричневыми стенами Стара мяста и мужественными серыми красками бетонных предместий. Он пестрит витринами, кричит рекламными и газетными заголовками, звенит трамвайными звонками.

Однажды в эту полифонию звуков, запахов и красок входит забытая щемящая нота. Где-то на перекрестке среди рекламных щитов и торговых вывесок, среди никелированного блеска экспресс-баров и мерцания свечей, днем горящих за окном модного кафе, ты останавливаешься у мемориальной доски. "В сентябре 1944 года здесь были расстреляны двадцать участников сопротивления"

Обычная городская подворотня с гулкой сводчатой аркой. Стена новая, облицованная серым камнем, на тротуаре - решетка, на ней букет осенних цветов.

Как их вели к этой стене? Толкали, тащили или они шли сами? Как их ставили к этой стене? Как они вжимались в нее телом, как они всматривались в улицу, в перспективу домов, в сентябрьское небо? Что они видели в свой последний миг? Город был дымящимся, восставшим, и стена была иная - иссеченная пулями, с облупившейся облицовкой, рябая от обстрела... Букет, решетка, доска, шуршанье шагов за спиной.

Город усеян этими досками, мемориальными камнями, плитами, и символ его - летящая сирена с мечом - памятник варшавскому восстанию. Парни в зеленых мундирах весь день стоят в карауле у Вечного огня, горящего на могиле Неизвестного солдата.

На экране телевизора - аплодирующая толпа, вдоль стен живого коридора движется открытая машина, высокий горбоносый седой человек, царственно улыбаясь, раскланивается направо и налево. Приезд де Голля в Варшаву. Де Голль - на западных землях. Де Голль - в сейме. Величественные жесты, картавый французский говор. Де Голль - в студии телевидения. В конце длинной хорошо отрететированной речи, приподнимаясь, глядя с экрана вам в глаза и чуть форсируя голос, говорит по-польски: "Нех жие наша кохана, вольна, шляхетна Польша!"

Да, политика, да, официальный визит, да, актерство опытного государственного деятеля. Но увлажняются глаза у моих соседей.

Кохана, вольна, шляхетна Польша. Горит огонь у могилы Неизвестного солдата, бледное пламя колышется в нагретом струящемся воздухе.

И вдруг вся светоносность сентябрьского дня, все его краски и голоса остаются позади, отрезанные тяжелой резной дверью. Я в прохладных сумерках громадного вестибюля. Взгляд различает высокие стены, затянутые серым сукном, широкую, мраморную, какую-то алтарную лестницу, уходящую вверх к светящемуся прямоугольнику окна. У ее исхода настольная лампа роняет свой желтый круг, выделяя лицо пожилой женщины в сатиновом рабочем халате, сидящей в кресле за простым конторским столом. Сбоку на стуле - неприметный человек склонился над огромной рукописной книгой.

Звук моих шагов падает в эту сумрачную тишину, гулко отдаваясь и исчезая в темных сводах вестибюля. Не останавливаемый никем, я поднимаюсь по лестнице и ухожу в холодный светлый простор музейного зала.

Скрипит паркет под моими осторожными шагами. Стынут под стеклом стендов карты, схемы, документы, несущие на себе готику немецкого шрифта, старинную угловатость еврейского. Знакомые лица смотрят со стен.

Иногда в музей заходит посетитель - аккуратная школьница с записной книжкой, турист с фотоаппаратом. Кто-нибудь из сотрудников, вооружившись указкой, обводит на карте места лагерей смерти, показывает макеты подземных бункеров повстанцев, проржавевшие бидоны, в которых был найден архив гетто. Посетитель уходит, в зале снова тишина, сотрудник возвращается к прерванным занятиям.

В этих занятиях, в статьях, публикуемых в ежеквартальном бюллетене института, в лекциях, приурочиваемых чаще всего к годовщинам восстания, гетто, ушедшее в небытие, живет, дышит и борется. В этих музейных залах, увешанных фотографиями и документами, горит мой вечный огонь.

Вечный ли? В описываемое мною время, в 1967 году, я застал еще людей, работавших там над темой гетто. Военный историк Шмуэль Краковский, исследователь быта гетто Рута Заковская, Адам Рутковский, Татьяна Беренстайн. В их многолетнем непрекращающемся труде, не приносящем ни почестей, ни ученых степеней, было особое печальное упорство. В их комнатах, уставленных конторскими столами покрытыми зеленой клеенкой, словно стояли тени людей, чей прах смешался с развалинами Варшавы, рассеялся в "индийских" кострах Треблинки.

В 1971 году, во второй мой приезд, комнаты института опустели. Кто уехал в Израиль, кто оказался в Париже, Копенгагене - в центрах еврейской истории, кто занялся общепольской историей. Из ветеранов оставалась и хранила верность теме Рута Заковская. Несколько партийных пенсионеров, на старости лет вспомнивших, что они знают идише и стало быть могут найти приют в здании на Тломацкой, попеременно водили редких посетителей по залам музея.

-Знаете,- сказала мне Рута в первый мой приезд,- ведь мы находимся в доме иудаистического института, примыкавшем к знаменитой синагоге, взорванной генералом Штропом в знак усмирения восставших. Это единственный дом сохранившийся в Варшаве от гетто до наших дней.

Огромные архивы, хранившиеся в подвалах института, тогда по-настоящему не были разобраны и обработаны. Эти дневники, повести, письма являли собой остатки культуры исчезнувшего мира.

Однажды в почте института оказалось письмо человека, живущего в Мюнхене. Он просил отыскать его фамилию в списках эсэсовских подразделений, усмирявших восставшее гетто, видимо, полагая, что такие списки хранятся в специальных архивах. Справка нужна ему для пенсии. Он просил о любезности. Война давно кончилась. То, что было, прошло и забыто, и он, гражданин одного цивилизованного государства, обращался в официальное учреждение другого цивилизованного государства с просьбой помочь ему отыскать следы его бывшей работы.

Вместе с Краковским мы спускаемся по широкой алтарной лестнице института. Та же женщина в рабочем халате за столом, тот же желтый круг настольной лампы, тот же неприметный человек склонился над огромной книгой.

-Посетитель особого рода, - говорит историк. - Один из многих, кто ищет погибших родственников. Мы даем им наши списки. Люди сидят здесь целыми днями, пытаясь отыскать хотя бы упоминание об отце, сыне, брате, хоть какой-нибудь след человека.

## Местечко

По силе антисемитских настроений предвоенная Польша стояла на втором месте после Германии. Цепь причин и следствий этого явления уходит в раннее средневековье.

В середине второго тысячелетия непрерывных скитаний снова казалось, что существование еврейства близится к концу. Общины Германии и Франции были в значительной степени физически уничтожены крестоносцами и к тому же придавлены тяжким экономическим гнетом имперских законов. Евреи Малой Азии и Востока пребывали в дремотном состоянии и почти никак не проявляли себя. Испания - этот центр еврейской образованности, перенявший у Вавилонии эстафету духовного творчества, озарялась кострами инквизиции и, наконец, в конце пятнадцатого века была очищена от евреев. Америка - будущий приют всех гонимых - только открывалась для Старого света.

Мировое еврейство в который раз близилось к исчезновению, к растворению в океане народов. Нужно было очередное пристанище, очередной резервуар, куда народ мог переместиться со своими традициями, историей, религией, где он мог передохнуть от бесконечных преследований. Таким пристанищем стала Польша.

Чем чаще раздирают Европу политические и церковные распри, тем гуще поток переселенцев в сравнительно тихую страну между Вислой и Неманом, еще не вкусившую всех "прелестей" католического фанатизма. Но это лишь одна из причин концентрации еврейского населения в Польше. Другая и самая существенная - потребность в денежном капитале. Отсюда привилегии, даваемые евреям польскими королями, отсюда покровительство крупных феодалов. В государстве, состоящем из панов и холопов, евреи были призваны сыграть роль торгово-промышленного класса. И с первых шагов по польской земле, главный их конкурент и ненавистник - немецкий выходец, торговец и ремесленник. Экономическое соперничество, помноженное на религиозные предрассудки, рождает первые еврейские погромы в Познани и Кракове. Но это еще лишь отзвуки грядущих гроз. А пока пятнадцатое, шестнадцатое столетия - золотой век польского еврейства.

По мере увеличения его численности создается общинное самоуправление. Для правительства оно только средство сбора налогов, для народа - государство в государстве. Польский кагал со своим административным, судебным, религиозным аппаратом регулирует все проявления жизни общины. Еврей вне кагала лишь добывает хлеб насущный, все остальные свои потребности он удовлетворяет в общине единоверцев.

Это государство имеет свой парламент - ваад - собрание еврейских старейшин польских земель. Дважды в год собираются знаменитые раввины. В соответствии с талмудическими правилами регламентируют они жизнь своих единоверцев. Они создают иешивы - эти университеты иудаистики, они учат, ведут диспуты и обмениваются посланиями. Духовный центр мирового еврейства теперь здесь.

Волны политических и национальных страстей Польши обтекают тело еврейства, почти не затрагивая его внутреннего существования. Пышным цветом цветут шляхетские вольности, идет колонизация степей Украины, копит свой гнев крестьянин, точит свою саблю казак, а еврей торгует и молится. Все больше он становится между паном и холопом, на сей раз уже в роли арендатора, управителя помещичьего имения, являясь средоточием аристократического презрения угнетателей и ненависти угнетенных. Он всем чужой, этот чернобородый человек в лисьей шапке и длиннополом кафтане - крестьянину, помещику, князю.

"Зачем нам в наших милых привислянских долинах купцы, товары, деньги? В старину жизнь была чище и лучше, холоп жил в мире со шляхтичем, пахал землю, гнал мед,



бил зверя. Реки были полноводнее, леса гуще, люди добрее. А потом пришли эти чужаки со своими странными молитвами, со своей чужеземной хитростью. Это ведь они Христа распяли, господу Бога нашего за то, что возвестил он людям вечную истину. Они берут кровь христианских младенцев и пекут на ней свою мацу. И нашу кровь сосут: деньги - в рост, вино - в глотку, семья - по миру. Эх, атамана нет на них, батяки нашего Сагайдачного. Но ничего, найдется на них управа".

Катится вал восстания по Волыни и Подолии, по Украине и Литве. Горят синагоги, колодцы забиты еврейскими трупами. Идет разгул хмельничины, гайдамачины. Мелькают в воздухе жидовские ноги, хохочет Тарас Бульба, гибнет Речь Посполитая, и на обломках польской государственности возникает очередная, какая уже по счету трагедия народа рассеяния.

Семнадцатый и восемнадцатый века пополнили иудейскую литургию новыми зауспокойными молитвами - по мученикам города Немирова, по жертвам Уманской резни. Названия украинских городов вплетаются в этих религиозных элегиях в язык библии.

В конце восемнадцатого века в судьбу мирового еврейства впервые входит новое имя - Россия. Новый очаг экспансии в своем центробежном движении, в неудержимом расширении границ поглощает польские земли и вместе с ними миллионное еврейское население.

Русское купечество сразу же ощутило опасность, исходящую от сильного и опытного в международной торговле еврейского конкурента. Русское духовенство хорошо помнило соблазн ереси жидовствующих, которому поддавались еще во времена Ивана III склонные к религиозным исканиям слои народа. А русское правительство выразило свое отношение к еврейской торговле словами Елизаветы: "От врагов христовых не желаю интересной прибыли"

Союз трех сил - купечества, духовенства и правительства - создал непреодолимый барьер на пути дальнейшей миграции еврейства, запер его миллионные массы за стеной административных запретов. К концу девятнадцатого века черта оседлости включала в себя десять губерний Царства Польского, семь украинских, три белорусских, три литовских и одну бессарабскую.

И опять казалось, что время остановилось, что история сделала очередную паузу, и народ на грани вырождения. Все было в прошлом - великие возвышения и великие истребления. Гордая поступь испанских сефардов и суды инквизиции; власть еврейских финансистов при дворах средневековых владык и безжалостный меч крестоносцев; богатства еврейских откупщиков в польских землях и разгул казацких орд. В прошлом остались странствия купцов и религиозные диспуты, страсть лирической поэзии Габироля и глубина философской мысли Маймонида, мистические откровения цфатских каббалистов и тома талмудических комментариев. В настоящем было местечко.

В болотах Белоруссии, в степях Украины и в польских долинах утро начинается с напева синагогальной служки: "Израиль, святой народ! Встань, проснись! Поднимитесь служить творцу! Ведь для этого вы и сотворены!" Голос служки проникает с улицы сквозь закрытые ставни домов, и день приходит вместе с молитвой. Утреннее "шема" - традиционное славословие господу, извечно повторяемый догмат единобожия.

День между утренней и вечерней молитвами однообразен и убог. Когда-то евреи приходили в польские земли откупщиками и купцами, потом главными занятиями стали аренда имений и шинкарство. Чем больше концентрация населения, тем мельче занятия. Местечко живет грошовой торговлей и ремеслом. скуден быт, скудеет и духовная жизнь, примитивнее становятся общественные отношения. Общинное самоуправление, созданное в пятнадцатом веке при участии великих польских раввинов вырождается в тираническую мелкую власть кагала, высокое религиозное чувство подчас сменяется суеверием. И даже на смену традиционной ненависти местного населения приходит добродушное презрение.

Но под пеплом тлеет огонь неугасимый. В бродильном чане за чертой оседлости, под прессом административных ограничений в этом гигантском гетто идут сложные и животворные процессы, происходит приспособление национального характера к

сложившимся условиям. На ниве еврейской экономической предприимчивости вырастают удивительные цветы. В жесточайшей конкуренции побеждают сильнейшие. И если уж еврей становится концессионером, банкиром или крупным промышленником, то его финансовому гению дивится мир. Миллионные состояния Бродских, Гинзбургов, Высоцких, этих российских Ротшильдов, - результат сурового естественного отбора.

Ну а остальные? Один из исследователей экономической жизни еврейства Российской империи отмечал в конце девятнадцатого века, что главной особенностью еврейской мелкой торговли является стремление как можно скорее обернуть капитал. Еврейский торговец сам ищет рынок сбыта, идет навстречу покупателю и готов продать товар даже и по низкой цене, лишь бы скорее получить выручку. Такие гибкость и подвижность связаны с риском, но вместе с тем дают торговле заметные преимущества.

Не застыла и духовная жизнь. Под пеленой сонной одури, окутывающей местечко, бьется религиозная мысль. Начиная с семнадцатого века, еврейство сотрясают церковные расколы, равных которым не было со времен караимской ереси. Мистическая струя каббалы, которая в течение многих столетий спокойно и неприметно для постороннего глаза текла в глубинах религиозного сознания народа наряду с развитием канонической иудаистики, вдруг вырвалась наружу водопадом мессианских чаяний. В год величайших испытаний восточноевропейского еврейства, в период разгула хмельничины молодой экзальтированный иудей Саббатай Цеви объявляет себя Мессией и под небом Турции публично произносит тайное четырехбуквенное имя Бога, доказывая тем самым прямую связь с ним.

Чтение саббатианских хроник дает представление о массовой эпидемии религиозного фанатизма, охватившей еврейство, о своего рода умопомрачении народа, измученного страданиями, не видящего выхода из бесконечных бедствий. Непризнаваемый правоверным иудейством, во всяком случае, наиболее трезвой его частью, Саббатай Цеви находит сотни тысяч приверженцев и при недоуменном выжидании турецкого правительства странствует с пышной свитой по малоазийским городам, живет под Стамбулом с царской роскошью, окруженный личным двором и почитателями.

Его страстная проповедь, его гипнотическое влияние на окружающих, его послания, в которых сообщалось о долгожданном избавлении и воссоединении народа на землях Палестины - все это приводит мировое еврейство прямо-таки в истерическое состояние. В Польше и Германии, там, где гнет особенно силен, а погромы часты, люди продают имущество, устраивают праздничные шествия и со дня на день готовятся к отъезду в Иерусалим. Тем страшнее было отрезвление, наступившее после того как лжемессия, поставленный перед выбором отречения или смерти, прямо в султанском дворце надевает чалму.

Трудно себе представить отчаяние, охватившее мировое еврейство. Наиболее фанатичные сторонники Саббатая не хотят верить в его отречение, тайные секты саббатианцев сохраняются вплоть до восемнадцатого века. Мессианские надежды так прочны, что столетие спустя после смерти Цеви их удастся эксплуатировать уже откровенному авантюристу - польскому еврею Франку, объявившему себя очередным Мессией и нашедшему немало сторонников.

В эпоху погромов и гонений лишь вера в чудо поддерживает народ. В этот же период переживает кризис книжная талмудическая наука. Здание иудаистики, этот гигантский свод законов и легенд, правовых, этических и религиозных толкований, этот национальный дом, который еврейство носит на себе в своих скитаниях из страны в страну подобно тому, как улитка носит свою раковину - построен и отделан до мельчайших деталей столетиями напряженной духовной деятельности.

Но вот парадокс: теперь, когда здание завершено, жить в нем большинству его обитателей тяжело и неудобно. С продолжающимся рассеянием еврейства, с распадом общины, с упадком книжного образования возрастает потребность в религии сердца.

Одинокому шинкарю, затерянному в просторах украинских степей, ремесленнику, прикованному к своему верстаку, мелкому лавочнику, погрязшему в грошовой торговле - всем им чужда сухая отвлеченная наука талмудических толкований, каждый устал от изощренных рационалистических раввинских рассуждений и нуждается в духовной

пище, которая бы в большей мере отвечала его эмоциональным потребностям, вере в чудесное и вместе с тем была ближе к простым радостям его жизни. И такая вера появляется.

Народный знахарь из Подолии бросает вызов книжникам и раввинам и создает свою радостную мистическую религию сердца. Молва называет его добрый волшебник - Баал-шем-тов (аббревиатура - Бешт) . Он-то и становится отцом учения благочестия - хасидизма, объявив главной формой служения Богу не изучение закона, а полнокровную благочестивую жизнь, радостную и экзальтированную молитву.

Хасидизм объединил в себе мистическое и земное начала иудаизма. На место законоучителя - раввина он поставил чудотворца-цадика, святого, который непосредственно взаимодействует с Богом. Десятки цадиков появились в Польше, на Украине и в Белоруссии, они стали объектами поклонения, а само новое учение, охватив все восточно- европейское еврейство и сначала расколов его, в конце концов обогатило иудаизм живыми проявлениями народного бытия, сделав его тем самым более жизнестойким.

Но едва местечко успевает впитать в себя новое религиозное учение и оправиться от церковного раскола, как отголоском грядущих и необратимых перемен в его сонную атмосферу врываются ветры "берлинского просвещения". Проповедь немецкого писателя Моисея Мендельсона, пытавшегося примирить традиционное еврейское мирозерцание с идеями французских просветителей, трансформируется его учениками в призыв к ассимиляции.

Дети местечка, вернувшись из заграничных университетов, с пылкостью неопитов призывают "скинуть старые ритуальные одежды и слиться с господствующим населением" с тем, чтобы сообща стать свободными гражданами свободной цивилизованной страны. Это ассимиляторское течение, питаемое то европейской культурой, то идеями русских шестидесятников, на протяжении девятнадцатого века сменяется сначала страстным палестинофильством и, наконец, осознанным политическим сионизмом.

Попытки объединить общечеловеческие социальные идеалы с национальными целями приводят к возникновению социалистическо-сионистского движения. И все-таки водораздел между этими двумя идеалами становится главной разделительной чертой молодой еврейской интеллигенции. Одни уходят в русскую революцию, отдавая ей весь пыл пробужденного самосознания и жажду социальной справедливости, другие обращают свои взгляды на восток, к библейской земле.

В начале восьмидесятых годов прошлого века несколько десятков еврейских студентов с Украины, избрав девизом слова пророка Исайи: " О дом Иакова! Придите и будете ходить во свете господнем!" и назвав себя по начальным древнееврейским буквам этих слов билуицами, высаживаются на берегу Палестины, положив начало первой алии. На деньги богатых филантропов они создают земледельческую колонию. Они страдают от жары, от непривычного физического труда. Но их порыв не проходит бесследно. Он кладет начало систематической колонизации Палестины, давшей такие удивительные результаты в наше время.

Поездка в землю обетованную требовала изрядной доли идеализма и потому большинство, подгоняемое погромами, сотрясавшими черту оседлости, избирает другой путь. Америка принимает тысячи уроженцев восточноевропейских местечек.

Так девятнадцатый век завязывает узлы современной еврейской проблемы, создает очертания нынешнего политического треугольника: Россия - США - Израиль.

Через местечко российской черты оседлости проходит мост, соединяющий средневековье с нашим сегодняшним днем и дающий ощущение непрерывности национальной истории.

Три фигуры стоят в начале этого моста, олицетворяя истоки общественных явлений еврейской современности, объясняя причинную связь явлений и возникновение центров духовной жизни народа в девятнадцатом и двадцатом веках: Саббатай Цеви, Бешт, Моисей Мендельсон.

Саббатанское движение было первой попыткой реализации мечты о воссоединении на библейской земле, всегда живший в сознании народа. Проявившийся в виде

массовой мистической истерии в семнадцатом веке, в начале двадцатого этот палестинофильский идеал обрел четкие формы в политическом сионизме, а в середине этого века нашел свое воплощение в создании государства Израиль.

Закономерным было и появление хасидизма. Учение Бешта способствовало жизнестойкости иудаизма. Реализм этого учения оплодотворил еврейскую религию, приблизил ее к рядовому человеку, дал возможность дальнейшего развития и, в конечном итоге, сохранил иудаизм до наших дней, как реальную духовную силу народа.

И, наконец, преодоление традиционного внутреннего отчуждения от христианской культуры, проникновение в еврейскую среду общечеловеческих духовных ценностей, ассимиляторское движение, у истоков которого стоял Моисей Мендельсон, привело к массовому уходу еврейской интеллигенции в социализм, где она стала одной из главных действующих сил.

Сионизм, иудаизм, социализм - три точки приложения сил современного еврейства. Как глубоки корни наших национальных проблем, как детерминирован духовный облик современного еврея, в какую неоглядную историческую даль уходят истоки его судьбы.

Всматриваясь в эту даль, снова и снова задаешься вопросом, каким образом, собственно говоря, возник феномен еврейства? Как мог народ со своими нравами и религией, историей и философией, занятиями и обычаями два тысячелетия странствовать из земли в землю, с континента на континент, сохраняя свою самобытность, не растворяясь среди господствующего населения, которое окружало его полосой отчуждения, ненависти и презрения? Как он мог, скитаясь столько времени, исчезая в одной земле, снова возникать в другой в полной целостности своего самосознания?

Перебирая в памяти череду фактов и явлений, находишь истоки - разрушение Второго храма, духовная академия в Явне, деятельность Иоханана бен Закая, создание писаного учения - своего рода оболочки нации. Неужели у народа уже тогда были стратеги, предвидевшие его двухтысячелетний путь и всю его трагическую судьбу?

Сколько предрассудков возникло вокруг Талмуда! Какой загадочной и странной казалась эта пелена древних поучений, а те из не иудеев, кто пытался проникнуть сквозь эту колдовскую завесу, лишь пополняли список обвинений еврейства новыми аргументами.

-У вас нет религии, - говорили теоретики антисемитизма, - а только свод сухих этических и юридических норм. У вас нет воображения, свободы воли, а только строгая регламентация жизни, только обрядовая дисциплина.

Но в том, что нищий ремесленник с Украины и знатный финансист из Италии в один и тот же час станут на молитву, к востоку обернув свои лица, и, говоря в обиходе на разных языках, произнесут одни те же слова на древнем языке, снова и снова возвещая догмат единобожия - в этом и была нация, рассеянная и единая, униженная и безмерно гордая, уничтожаемая и возрождаемая.

Ее единство, связи, гибкость и жизнестойкость отрабатывались веками и поддерживались сознанием древней и могучей культуры, того уровня мышления, который, коль скоро он был уж достигнут человечеством, не мог быть покинут.

Приходя в новые страны, они не могли сливаться с местным населением не только в силу своих занятий, и не только потому, что им суждено было всегда быть проводниками новых экономических отношений, первыми представителями торгово-промышленного класса, но еще и потому, что их религиозно-философское мирозерцание было качественно иным, чем у людей их окружавших.

Их можно было по мере того, как экономическая надобность в них отпадает и собственный торгово-промышленный класс укрепляется, рассеять и изгнать, но каждая крохотная община, куда бы она ни попала, где бы ни жила, несла с собой Учение и, стало быть, все религиозно-культурное наследие своего народа.

Токи иудаизма циркулировали как под сенью скромного молитвенного дома белорусского местечка, так и под монументальной крышей франкфуртской синагоги. Такой духовный изоляционизм порождал строгую религиозную дисциплину со всеми ее издержками - трагедией Уриэля Акосты, отлучением Спинозы. Но нетерпимость

еврейской общины к философским исканиям эпохи Возрождения была прежде всего проявлением инстинкта самосохранения народа, противодействия силам, стремящимся поглотить его.

Религиозная дисциплина еврейства возникла на заре истории нации, давшей миру идею единобожия и яростно отстаивавшую ее в языческом мире. Какое гигантское творческое усилие нужно было сделать доисторическому пастуху, который в пустыне под аравийскими звездами пришел к мысли о вездесущей, единой, неделимой, всепоглощающей силе!

Это первое в мире абстрактное представление послужило истоком многовекового духовного творчества народа, проходившего в рамках иудейской религиозной философии, постоянно оттачивающей абстрактное мышление нации. И потому есть невидимая, но органическая связь между тем безвестным библейским пастухом и гениальным швейцарским патентоведом, тысячелетия спустя открывшим теорию относительности.

Такая связь существует между средневековым талмудистом, вводящим строгое логическое начало в еврейское религиозное законодательство, дающим религиозное обоснование всем проявлениям жизни своей общины, и немецким экономистом, увидевшим историческую закономерность в смене общественных формаций и пленившим миллионы людей логикой открытых им экономических законов.

Эта связь проникает сквозь толщу столетий. Она в долблении древнего алфавита - алэф, бейт, гимел, далэт - извечной мелодии еврейского ребенка, которого с четырех лет отправляли в хедер. Она в настойчивом проникновении еврейской молодежи в университеты в странах рассеяния, она в биении национальной мысли, она, наконец, в неизвестных мне самому побудительных мотивах, заставляющих меня писать эту книгу.

Сладкая гордыня бедняка.

В девятнадцатом веке отношение к Польше было в русском обществе мерилom порядочности. В двадцатом - таким мерилom стало отношение к евреям.

Демократическая интеллигенция не могла простить Пушкину конформистского стихотворения "Клеветникам России", написанного после подавления восстания 1831 года. Польская проблема являлась главной темой "Колокола".

Несправедливость была так чудовищна, деятельность царского правительства так безнравственна, так очевидно не соответствовала элементарным христианским нормам, что оставалось, если уж не молчать, то либо безоговорочно признавать ее, руководствуясь принципом "пусть мое правительство не право, но это мое правительство", и отвечать в случае необходимости мировому общественному мнению пушкинским аргументом: "Это наше славянское дело", либо подобно Герцену уходить в изгнание и там выражать сочувствие жертве.

Здесь невозможно было, как это делалось применительно к Средней Азии и Кавказу, выдвинуть патерналистско-колониальную концепцию просвещения и благодетельствования слабых и отсталых народов, которые метрополия объединяет под эгидой сильной власти и избавляет от междоусобных войн. Польша являла собой сложившееся общество со славной национальной историей и многовековыми культурными традициями, общество к тому же настолько политически развитое, что Александр I именно ему одному на всех территориях Российской империи дал конституцию. Так что здесь уж никакие оправдательные аргументы не помогали, очевидны были неприкрытые угнетение, агрессия в чистом виде. И потому так жестоко усмирялись восстания поляков, что уж очень острым было сознание российской стороной несправедливости этих войн.

Трагедия государства оказала неизгладимое воздействие на национальный характер поляков, предопределила многие его современные как положительные, так и отрицательные черты. Способность к самопожертвованию, рыцарская храбрость одиночек, а с другой стороны - организационное бессилие, недостаток национального

военного опыта, проявившиеся в сентябре 1939 года и характерные для народа, больше ста лет лишенного государственности. Романтическая приподнятость мышления, настоянная на национальных легендах о сопротивлении и преклонение перед мундиром, перед армией, постоянное чувство субординации. Наконец, восторженный патриотизм и как доказательство того, что недостатки продолжение достоинств - ксенофобия, шовинизм.

В прекрасном фильме Анджея Вайды "Пейзаж после битвы" четко проступают эти противоречия национального сознания. Вчерашние узники лагеря, едва освободившись, с упоением маршируют по плацу, немедленно воссоздают довоенную субординацию отношений. Девушка, пережившая войну, убегает из Польши. Еврейка по рождению, христианка по воспитанию, она не чувствует себя ни еврейкой, ни полькой. Историческая пьеса на сцене лагеря для военнопленных вызывает патриотический восторг зрителей. В этом послевоенном хаосе, в этом пестром пейзаже после битвы проступают очертания как прошлого, так и будущего.

Из 35 миллионов польских граждан 10 миллионов не считали родным языком польский. Украинцы населяли восточные земли, немцы жили на западных. Евреи расселились по всей территории. Они составляли 10 процентов населения страны - 3,5 миллиона.

Антисемитизм был закономерным следствием общественной и внутривластной ситуации страны. Он естественно вытекал из логики национального характера поляков, сформированного их историей. Высокие цены, безработица, бедность, налоги - причины этих бед становятся реальными и конкретными, если они обретают очертания чужака - хитрого чернобородого человека, которого издавна отделяет от поляка все - вера, быт, облик, наконец, занятия. Когда враг реален, жить становится легче, ибо ненависть находит выход.

У каждого слоя населения - свой ненавистный еврей. У крестьянина - мелкий торговец, у ремесленника - еврейский конкурент, у предпринимателя - еврейский промышленник, у религиозного католика - иудей, распявший его бога. Наконец у деятеля культуры, человека свободной профессии - коллега-еврей с его живостью, приспособляемостью, красноречием и несомненными творческими способностями.

Руководителям режима антисемитизм помогает сплотить общество, раздираемое борьбой политических течений. Ведь ничто так не объединяет людей, как общий враг, тем более, если он рядом, под боком, среди нас. Простому человеку он дает возможность еще глубже и острее ощутить себя поляком, а это чувство ему нужно постоянно, оно - опора в бедах и житейских невзгодах.

"Они может быть и ученые, и богатые, и способные, а мы серые, забитые, невежественные, но мы из этой земли выросли, мы плоть от плоти ее, мы ее своей кровью поливали. И потому мы бесхитростны и просты, потому каждый чужак может сесть нам на шею. Но мы пережили русский гнет, переживем и еврейский. Нашу Польшу им у нас не отнять. Потому они и ловки, что у них ничего своего нет - ни земли, ни родины, и в сущности ничего святого, только деньги."

В этом вздохе польского люмпена мне слышатся слова русского черносотенного журналиста и выдающегося мистического философа Василия Васильевича Розанова, написанные им в "Новом времени" в день оправдания Бейлиса: "Все траурно у нас. Ведь это у нас "плакучие ивы", а у евреев в Ханаане - нарды, гранаты, виноградная лоза. И "бедных селений" России они никогда не поймут и никогда их не примут во внимание."

Как сладко любоваться собственной бедностью и простотой, какая в этом безумная гордыня, какое первородное отрицание факта, какое изначальное желание не считаться ни с чем кроме своего внутреннего голоса, какой снобизм бедняка.

"Мы равны перед голосом крови, перед нашим прошлым. Пуговица на кунтуше старинного шляхтича мне дороже всего жидовского золота"

В обществе, разделенном сословными перегородками, антисемитизм дает с одной стороны иллюзию равенства, сближения "герцога с кучером", а с другой - ощущение значимости своей личности.

У городского люмпена, у лавочника и рабочего, у служащего и учителя среди житейских забот и затягивающего быта, среди скудных мещанских интересов вдруг возникает чувство цельности и самобытности существования, понимание предназначения жизни, своего исторического места в ряду предков, охранявших родную землю, и потомков, которым суждено продолжить это святое дело.

И если настоящий чистокровный поляк (русский, француз), чего-то и не знает, то ему и знать это не обязательно, потому что главное в нем все равно есть, то главное, чего еврею не купить за все его миллионы, то главное, что важнее всех еврейских хитростей и талантов. И это главное - земля с ее простыми знаками, наше небо да Бог наш, праведный страдалец, распятый ими на кресте. Это только и есть, а все остальное - суета, городская суета, в которой только им хорошо - этим хитрым ловкачам-чужакам. Им нашей правды не понять, им нашей болью не болеть, они пришли ни весть откуда и ни весть куда уйдут. Так пусть же поскорее убираются, мы им зла не желаем, пусть себе живут, только подальше от нас. Пусть убираются. Вон с нашей земли!

В этом единомышленном - "Вон!" - святая ненависть толпы, где каждый чувствует локоть соседа, и этот локоть дает силу и радость.

## На партайтаге

Тридцать лет спустя после описываемого мною времени то же самое единомышленное - "Вон!" - прозвучало на варшавском "партайтаге" конца шестидесятых годов. Сотни молодых глоток прокричали его, сотрясая стены старинного дворца. Телевидение показало эту сцену, не срететированную, не организованную в отличие от других подобных сцен и оттого тем более убедительную и символическую.

Сначала на экране был лысый человек с простоватым лицом крестьянина. Очередной польский диктатор, воспитанный в коминтерновских кулуарах с их догматическим интернационализмом и женатый на еврейке, он лично, возможно, был чужд традиционному антисемитизму многих своих соотечественников. Но следуя в фарватере советской международной политики, он после шестидневной войны счел необходимым провести еврейскую чистку в государственном и партийном аппарате.

Однако и это не помогло. Молодежные волнения, взрывы патриотических антисоветских настроений постоянно шатали его трон. И вот в один из переломных моментов своего правления, за два года до его конца, он делает доклад на собрании столичного партийного актива.

Он говорит о роли интеллигенции в жизни страны, о студенческих забастовках, об экономическом положении, и зал слушает его спокойно и настороженно до тех пор, пока он не переходит к главному - к тому что волнует всех. "А теперь, товарищи, я скажу о лицах еврейской национальности..." И дальнейшие его слова тонут в многоголосом реве аудитории. На экране - раскрытые глотки, возбужденные лица.

- Вон их, вон с нашей земли! Выслать их всех до единого, пусть убираются!..

В глазах Гомулки растерянность, впервые за годы своего правления он не может справиться с партийной аудиторией. Он кричит: "Товарищи!". Он колотит кулаком по трибуне. Но рев покрывает его голос, рев захлестывает и кажется вот-вот поглотит этого смятенного старого человека, только сейчас осознавшего, какого зверя он выпустил из клетки. Секретари райкомов, руководители народных советов, партийные функционеры, молодежные деятели, молодцеватые "мальчики" Мочара и сторонники Герека, и те, кто еще верны Гомулке - сейчас они все едины. Забыв о партийных распрях, о борьбе за власть, о бедах и проблемах своей страны, они режут, кричат, вопят, сплотившись в едином: "Вон!"

Ах, как могуч этот крик, как сладко чувство единения, какой святой им кажется их ненависть, какими сильными они сами. И слышится мне в антисемитском реве польских партийных функционеров мелодия "Хорст Весселя" - старой песни немецких штурмовиков.

Всадив еврею в горло нож,  
Мы снова скажем: "Мир хорош!"...

Тоненько, но очень внятно звучит этот бодрый, радостный напев. Ах, как хорошо нам шагається, как славно живється, но еще лучше будет, когда:

Всадив еврею в горло нож,  
Мы снова скажем: "Мир хорош!"

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОЙНА

Сентябрь

Близится конец межвоенного двадцатилетия. В августе подписывается советско-германский акт о ненападении. Англия делает последний ход в зловещей политической игре, которая шла в те годы, - подтверждает свои гарантии Польше, заключает с ней 23 августа военный союз. Но уже поздно. Советско-германский договор стал фактически смертным приговором Польше. Она окружена со всех сторон.

"Сильные, сплоченные, готовые!" - таков был национальный лозунг, выдвинутый польским правительством в предвоенные годы. По-польски это звучит так: "Сильны, зварцы, готовы!" Российскому читателю старшего поколения знаком этот афористический лаконизм и рубленый ритм фразы. "Бить врага на его территории!" Эти слова звучали в те же годы в России. Тот же фанфарный оптимизм, тот же дух самоуговоров. "... И первый маршал в бой нас поведет!" Щеточка ворошиловских усов, благородная седина висков.

У поляков имелся свой маршал, который должен был вести их в бой, такой же "партийный генерал" Рыдз-Смиглы. Он перешел румынскую границу 16 сентября в городе Залецки, оставляя оккупированную Польшу на произвол врагу. Залецкицкое шоссе стало в Польше символом конца межвоенного режима, называвшего себя режимом санации - очищения.

Итак: "Сильны, зварцы, готовы!" Эти слова произносились в то время, как в польской армии только начиналась моторизация, танков почти не имелось, пушки были, в основном, образца первой мировой войны, воздушный флот оснащен на 60 процентов устаревшими самолетами, а морской - вообще крайне немногочислен. Между тем в конце августа на незащищенных границах Польши с незаконченными линиями укреплений и старыми крепостями были сосредоточены и стратегически развернуты 44 немецкие дивизии, сотни мощных немецких танков грели моторы, а две тысячи самолетов ждали сигнала, чтобы подняться в воздух.

Зажатая между двумя могучими державами, больше ста лет владевшими ее землями и не отказавшимися от территориальных притязаний, находясь под дулами немецких пушек, не имея национального военного опыта и опираясь только на обещания союзников, страна была обречена.

Это была трехнедельная война. Она началась первого и фактически окончилась девятнадцатого сентября. Все проходило по классическим канонам блицкрига. В первый же день немецкая авиация разбомбила польские аэродромы и перешла затем к бомбардировке железных дорог. Одновременно две группы армий, сосредоточенных на юге - в Силезии и на севере - в Восточной Пруссии, взяли страну в клещи. В течение первой недели они прорвали приграничную оборону и устремились навстречу друг другу, рассекая польские армии танковыми клиньями, образуя большие и малые котлы.

Ожесточенное сопротивление поляков было бесполезным. Эскадроны польской кавалерии шли в атаку на танки. Натиску немецких моторизованных колонн пытались противостоят всевозможные отряды силезских повстанцев, харцеров, конные соединения национальной обороны, названные по имени средневековых партизан кракусами. Как все это было по-польски! Средневековая патриотическая традиция, готовность умереть, кавалерия против танков.

А что же союзники? Франция и Англия объявили войну Германии 3 сентября, формально выполняя свои обязательства перед Польшей. Однако для мобилизации своей армии и ее стратегического развертывания французским генералам был необходим трехнедельный срок, как раз столько времени, сколько немецкому



командованию понадобилось для полного разгрома Польши. Англия же располагала к началу войны лишь четырьмя боеспособными дивизиями, две из которых могли прибыть на континент лишь к началу октября. Зато восточный союзник Германии оказался более оперативным.

17 сентября, когда исход войны был предрешен, советские войска перешли польскую границу. Документ, оправдывавший подобные действия, был написан с характерным для сталинской дипломатии мрачным цинизмом: "Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство перестали существовать, тем самым прекратили свои действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам".

217 тысяч военнопленных и земли, расположенные восточнее Буга, - таков был кусок польского пирога, полученный Россией в результате сентябрьской войны.

А немецкие армии меж тем рвались навстречу друг другу, смыкая кольцо вокруг Варшавы. 19 сентября столица была окружена. Город, разрушенный бомбежками, обстреливаемый вражеской артиллерией, держался еще девять дней. Но это была уже агония.

Видный представитель варшавской интеллигенции профессор Гиршфельд, переживший осаду города, рассказывает о состоянии мрачной безысходности и самоубийственной готовности к жертвам, охватившем население польской столицы. Радио уже в начале сентября сообщило об эвакуации правительства. Гимн "Еще Польша не сгинела", обычно сопровождавший официальные сообщения, звучал как отходная режиму, стране, обществу.

На смену лозунгу "Сильны, зварцы, готовы!" пришел трагический афоризм - "Паньство сезоново" - "Сезонное государство". Он выражал горькую мысль, занимавшую теперь воображение поляков. 120 лет неволи, 20 лет независимости и снова чужеземный гнет. Огни потушены, музыканты уходят. Независимость была только сном, только коротким антрактом. "Паньство сезоново" - что могло быть страшнее этого упрека, высказанного самому себе.

## Горький мед

Польский сентябрь как этап политической и военной истории страны, казалось бы, освещенный всесторонне, имеет один малоизученный аспект. Это был медовый месяц польско-еврейских отношений.

Уже летом 39-го, когда опасность войны стала особенно грозной, постепенно начали утихать вопли антисемитской прессы. А с началом военной кампании даже самые крайние националисты не могли отказать евреям в праве защищать свое польское отечество. И они делали это со всем героизмом отчаяния, с пониманием ожидавшей их трагедии (конечно, размеры ее они тогда еще не могли себе представить), с осознанием того, что на смену польскому антисемитизму приходит куда более бесчеловечный немецкий фашизм.

Горечь ситуации заключалась еще и в том, что только теперь, в час смертельной опасности утихли крики о внутреннем враге, только теперь на обломках исчезающей польской государственности евреи получили право, сражаясь бок о бок с поляками, сообща испить до дна горькую чашу поражения.

Рингельблюм - профессиональный еврейский историк - вспоминает антирусские восстания девятнадцатого века, польские патриотические манифестации, где "кунтуши целовались с капотами". В восстании 1831 года варшавские евреи создали свою национальную гвардию. Эта традиция восходит к концу восемнадцатого века, когда в восстании Костюшко принял участие еврейский кавалерийский полк, почти целиком погибший при штурме Варшавы Суворовым. Самому полковнику Береку Йоселовичу

суждено было еще десять лет провоевать в наполеоновских войсках, породив легенду о еврее-улане.

Откинув романтические украшения, свойственные польской истории, приходишь к выводу, что евреи всегда сражались за Польшу, когда им это разрешалось делать. И в этих разрешенных, временно допускаемых проявлениях патриотизма заключается одно из самых мучительных, на мой взгляд, унижений диаспоры.

Горек был мед польского сентября. Это был мед отрядов защиты Варшавы, куда массами приходила еврейская молодежь, и совместного строительства баррикад, и общих дежурств на крышах в фейерверках зажигательных бомб. То было минутное забвение тысячелетних унижений перед лицом смертельной опасности, страшный и счастливый сон об обретенной родине.

Немцы вошли в Варшаву 28 сентября. Город был сильно разрушен, чернели руины сгоревших и разбомбленных домов, кое-где дотлевали пожары. Заколоченные досками окна, тротуары, усыпанные стеклом, мостовые с остатками баррикад, с трупами лошадей, изуродованных ножами голодных обитателей убежищ. Люди брели по этим улицам опасно и осторожно, словно не веря, что кончился этот месячный кошмар, что можно выйти на божий свет в поисках еды, узнать о судьбе близких.

У немногих работавших пекарен висели хвосты очередей. Иногда по улицам проезжала немецкая полевая кухня. Повар-солдат, подождав, когда толпа станет гуще, разливал суп в подставленные кастрюли и котелки под стрекот киноаппарата, неизменно снимавшего этот процесс для немецкой кинохроники.

У Вислы стояли очереди за водой. Эти очереди за хлебом, супом, водой и стали ареной первых антисемитских инцидентов. Толпа как бы сменила свой облик. Словно и не было трагизма сентября, совместно пережитого поражения, гибели государства. Казалось, все это ушло в глубины национального сознания, а на поверхность всплыла пена зависти, ненависти, мелких счетов. Откуда-то появились вдруг юркие личности, взвинченные, крикливые, со жлобскими манерами и блатным акцентом. Именно они чаще всего и определяли настроение толпы. И первые крики в очередях у суповых котлов: "У это юде!", обращенные к немецкому повару, стали провозвестниками избавления от кратковременных иллюзий межнационального мира.

## Строители империи

Так начиналась жизнь еврейского населения оккупированной Варшавы, продолжавшаяся более трех с половиной лет. Она прослеживается день за днем, месяц за месяцем в воспоминаниях очевидцев, известных и безымянных хронистов гетто.

Мы имеем возможность заглянуть в этот мир не только глазами жертвы, но и палача, понять движущие пружины обоих миров, психологию их обитателей.

Разные стороны действительности откроются нам, словно разные этажи одного здания, где внизу - вопль голодных детей, трупы, тиф, бессильная ярость, неотвратимое скольжение к пропасти, а сверху - совещания в хорошо натопленных кабинетах, декреты, назначения, интриги, медленное движение бумаг и быстрый бег "Хорьхов".

С высоты верхнего этажа многое видится по-другому и то, что внизу кажется хаосом, бессмысленным зверством, безумием, сверху воспринимается как проявление высшей государственной мудрости, следствие политики, продиктованной коренными интересами государства.

Зимой 1939-40 годов Рингельблум заносит в дневник сообщение о массовом переселении поляков и евреев из Лодзи, Гнезно, Познани в район Кракова, Люблина и Варшавы. Тысячи семей бросают в не отапливаемые вагоны и везут из города в город, разрешив взять с собой лишь самое необходимое. На конечных остановках выносят обмороженных детей, замерзших стариков. Евреев иногда гонят к русской границе, их заставляют целыми днями лежать в снегу.

Варшава переполнена беженцами. Еврейских переселенцев община размещает в закрытых по приказу немцев школах и синагогах, где они ютятся в ужасающей тесноте и грязи. Эти беженские пункты - источник тифа, немцы обносят их колючей проволокой со зловещей надписью "Флекфифер" - "Зараза".

Но обмороженные дети, вши и трупы - это внизу. Вверху же происходит следующее. 8 октября декретом Гитлера большая часть бывшей польской территории - все ее западные земли - включаются в состав Германии в виде двух административных округов. В один из них, названный Вартегау, входят познанские, лодзинские и верхнесилезские земли, в другой - Данциг и Западная Пруссия. Из остатков Польши образуется генерал-губернаторство со столицей в Кракове.

Такой раздел на первый взгляд кажется условностью тем более, что администрация всюду остается чисто немецкая. В генерал-губернаторстве ее возглавляет бывший имперский министр юстиции Ганс Франк, а в новых округах - видные данцигские нацисты Артур Грейзер и Альберт Форстер. Но наверху осознают: расчленение Польши исполнено глубокого смысла.

На созванном неделю спустя после декрета совещании Гитлер четко формулирует задачи, поставленные перед заместителями новых земель. Округа, включенные в рейх, подвергаются полной ариизации, то есть их экономику необходимо поднять на общегерманский уровень, культуру сделать немецкой, большая часть поляков и евреев должна быть переселена в генерал-губернаторство с заменой их польскими и прибалтийскими немцами. Генерал-губернаторство становится "резервуаром некавалифицированной рабочей силы с примитивной, преимущественно сельской экономикой".

Эта огромная по своим масштабам акция воспринималась отнюдь не как прихоть тирана. Считалось, что долговечность рейха будет определяться ее национальным единством. Исконно прусские земли, столько лет бывшие под властью поляков, предстоит сделать немецкими не только по названию, административно, но и по существу. Достигнуть намеченной цели можно лишь путем переселения народов, ариизации края.

Этот процесс, полагали германские политические стратеги, ни в коем случае нельзя растягивать, рассчитывая на естественное подавление и вытеснение местного населения господствующей нацией. Ситуация изменчива, война продолжается. Нужно действовать решительно и энергично, преодолевая экономические трудности, бюрократические препоны, не обращая внимания на сентиментальные возгласы мирового общественного мнения. Справиться с такой задачей может лишь СС, самая динамичная часть партийно-государственного аппарата. Имперским комиссаром по ариизации назначается Гиммлер.

Дальнейшие события происходят по классическим канонам действия бюрократического механизма. Как будто огромная пружина распрямляется - быстро и решительно, отдавая в пространство изначальный заряд энергии. Проводится серия межведомственных совещаний, уточняются сроки и методы, количество переселяемых людей, география их размещения. Создается специальная организация, которая распоряжается имуществом переселенцев - Восточное опекуство.

На первом этапе акции, до конца февраля 1940 года решено вывезти с новых земель рейха в генерал-губернаторство сто тысяч евреев и двести тысяч поляков.

Первые транспорты отправляются в начале декабря. Переселение производится столь молниеносно, что прибалтийские и западно-украинские немцы, в распоряжение которых отдаются высвободившиеся богатые квартиры со всей обстановкой, находят в кухнях еще теплый суп.

Однако к концу зимы налаженная машина переселения начинает буксовать, замедлять свой ход. Прежде всего неизвестно, что делать с новоприбывшими евреями и поляками. Ограбленные и нищие, они ютятся в трущобах, разнося тиф и другие заразные болезни. Кроме того, акция начинает все больше противоречить потребностям военной экономики государства. Новые округа лишаются столь необходимой бесплатной рабочей силы. Обостряются конфликты между ведомствами.

Наконец, 23 марта декретом Геринга как имперского уполномоченного по четырехлетнему плану переселение приостанавливается.

Но ситуация польского еврейства, разумеется, не исчерпывается этим геополитическим экспериментом. В его рамках евреи рассматриваются как часть польского населения страны. Вместе с тем, на них распространяются отдельные законы, их будущее определяется особыми планами.

Все-таки это казалось безумием. Как могло за какие-то пятнадцать лет из крохотного кружка молодых немецких экстремистов, с их антисемитизмом неудачников и кабацкой демагогией голодных люмпенов, возникнуть в последовательном нарастании событий - массовая партия, "Майн кампф" и "Штюрмер", многотысячные шествия, "Хрустальная ночь", наконец, огромный, разветвленный, действующий по своим законам государственный механизм. Не стук пивных кружек - шелест бумаг, не рев толпы - параграфы официальных документов, не погромная ярость - доклады на совещаниях, вот что теперь определяло судьбу еврейства.

Государственная система, в которой расизм был одним из основных идеологических догматов, а антисемитизм - главным средством мобилизации активности масс, поглощала один за другим отряды европейского еврейства.

Но если после захвата Австрии и Чехословакии в решении еврейского вопроса можно было использовать отработанные методы - нюрнбергское законодательство, отчуждение имущества, принудительную эмиграцию, ведь речь шла в лучшем случае о полумиллионе человек, то теперь, когда во власти рейха оказалась Польша - главный резервуар мирового еврейства с трехмиллионным населением - требовалось качественно иное решение. Какое? В начале 1940 года это было еще неизвестно.

Окончательное решение еврейского вопроса вырабатывалось аппаратом последовательно и постепенно. Этапы работы здесь точно такие же как при решении любой проблемы, будь то увеличение выплавки стали или развитие сельского хозяйства. Общая директива и конкретные указания, рабочие совещания и выработка соответствующих документов, создание специальных отделов и назначение ответственных исполнителей. Наконец, контроль и периодическая отчетность, так называемая проверка исполнения.

Всякое личное отношение к объекту исключается. Здесь работа, а не эмоции. Дело, а не митинги. Инициатива допускается лишь в рамках указаний вышестоящих органов. Общие принципы заключались в программе партии, в передовицах ее официального органа, в речах лидеров. Но то, что говорится вслух - с трибуны или по радио, - отнюдь не руководство к действию, а скорее выражение общих идей, пропаганда, которая может совпадать, а может и не совпадать с действительностью. Аппарату нужны иные импульсы.

"Надо различать: 1. Конечную цель (достижение которой требует более длительных сроков) и 2. Отдельные периоды, в которые эта цель достигается (эти периоды кратковременны)" - писал Гейдрих в срочной телефонограмме, посвященной еврейскому вопросу на оккупированной территории и направленной начальникам оперативных групп полиции безопасности. Этот документ, выработанный в результате совещания, состоявшегося 21 сентября 1939 года, как только стал ясен исход польской кампании и новый огромный масштаб еврейской проблемы определился окончательно, регулировал существование евреев на ближайший период.

Конечные цели были предметом размышлений лучших умов аппарата, политических стратегов империи. А пока следовало сконцентрировать еврейское население в крупных городах, поблизости от железнодорожных узлов и создать органы национального самоуправления - юденраты.

## Кольцо запретов

Варшава ощутила это указание уже осенью 1939 года, когда тысячи еврейских семей из окрестных местечек воеводства начали свозить в город, помимо переселенцев из округов, подвергшихся ариизации. Размещением новопривывших занимался юденрат,

во главе которого поставили известного общественного деятеля Адама Черняка, подчинявшегося на первых порах непосредственно гестапо.

В течение зимы и весны 1940 года создается кольцо запретов, которые подобно красным флажкам, расставляемым охотниками на волков, выделяют еврейское население из общей массы, регулируют все проявления его жизни.

Еврей должен быть заметен, он должен знать свое место. В ноябре 1939 года выходит указ о ношении нарукавных повязок "с синим знаком Сиона на белом поле". Люди с такой повязкой должны ходить по мостовой, а не по тротуару и, увидев немецкого военнослужащего, снимать шапку, кланяться, приветствуя тем самым представителя германской армии. Польской полиции вменяется в обязанность проверять, все ли евреи носят повязки. Те, кто не носят, должны передаваться в руки немецких властей для наказания - штрафа или тюремного заключения. Если повязка смята или грязна, также накладывается штраф.

Знак Сиона непременно вывешивается на всех еврейских учреждениях, лавках, домах. Польские магазины и рестораны, в свою очередь, обязаны повесить объявление: "Вход евреям воспрещен". В трамваях евреи занимают только задние места, по железной дороге им без особого разрешения ездить воспрещено. Запрещается также пользоваться почтой. Введен полицейский час, распространяемый, впрочем, и на поляков, - ходить по улицам можно с пяти утра до девяти вечера. Категорически воспрещается без специального разрешения менять жилье, уезжать из города. Все еврейское трудоспособное население проходит регистрацию.

Серия профессиональных запретов. Еврейским адвокатам воспрещается практика. В судах вводится специальная процедура, в соответствии с которой адвокат перед началом судебного заседания обязан доказать свое арийское происхождение. Нельзя торговать мануфактурой и кожей. Уличным торговцам запрещено появляться в центральных районах. Еврейские артисты не могут выступать на польском языке.

Комплекс экономических ограничений. Регистрируется еврейское имущество, стоимость которого превышает две тысячи злотых. Еврейские счета блокируются и переводятся в один банк. В январе 1940 года - приказ об отмене старых польских денег; действительной является лишь банкнота с печатью, поставленной в эмиссионном банке.

Во все еврейские предприятия и дома назначаются арийские комиссары, почти все мастерские закрываются. Всякие предпринимательство, ремесло, культурная и общественная деятельность воспрещаются. Остается лишь принудительный труд. Осенью 1939 года в Варшаве создается трудовой еврейский батальон, занятый очисткой улиц, работой в немецких мастерских. Зимой же за пределами Варшавы организуются трудовые лагеря, узники которых используются для мелиорации земель, добычи песка и камня.

## Первая зима

Бесконечной и беспросветной кажется эта первая военная зима. Город погрузился в глубокую обморочную тишину. Страна еще не может придти в себя после катастрофического поражения. Силы сопротивления дремлют. Все глухо, сумрачно, словно на дне глубокого колодца. Эта отъединенность от мира особенно ощутима в еврейских кругах. Отъединенность внешняя, созданная запретами и антисемитскими законами, и внутренняя, проникнутая сознанием того, что помощи ждать неоткуда и не от кого, что мир с его страстями, надеждами и будущим остался бесконечно далеко и все моральные установления цивилизации здесь бездействуют.

Альтернативы нет, как не было ее в средние века, деваться некуда. Надо вынести, вытерпеть, сохраниться и дожидаться лучших времен, мобилизовав всю воспитанную тысячелетиями изгнания национальную способность выживать. И сделать это надо в сознании своего полного одиночества, классического еврейского одиночества в чуждом и враждебном мире.

На первых порах даже извечные национальные связи, всегда объединявшие еврейство, ослабевают. Приходит в упадок общественная жизнь, благотворительная помощь носит характер жалких подаяний, признанные общественные лидеры - в эмиграции, а те, кто остались, никак не могут придти в себя, найти свое место в новой ситуации.

Отношения стали жестче, эгоизм явственнее. На поверхность всплывает пена национальных низов - скоробогачи, бездушные взяточники-чиновники. Постепенно в этом хаосе прорисовываются закономерности и каждый занимает свое место, каждый определяет и выявляет свою истинную сущность.

Фоном этой новой действительности служит город - Варшава конца тридцатых - начала сороковых годов.

Утром по брусчатке мостовой маршируют подразделения еврейского трудового батальона. Впрочем, и не маршируют вовсе. В зимних утренних сумерках тянется густая толпа, охраняемая несколькими солдатами. Поднятые воротники длиннополых пальто, низко надвинутые шапки, сутулые спины, шарканье подошв по зимней слякоти. Их ведут в Динасы, старый варшавский парк, где расположились автомастерские и гаражи; на Окенчу - пригородный аэродром, разравнивать взлетные полосы; к Висле - добывать песок по колено в ледяной воде; на центральные проспекты - убирать снег; на фабрики - по двенадцать-четырнадцать часов стоять у станка или сидеть за швейной машинкой.

Долог этот путь. Улица смотрит на них ускользающими взглядами прохожих - сочувствующими или презрительными. Она глядит на них готическим шрифтом немецких объявлений, регулирующих жизнь, афишами нового антисемитского фильма "Ротшильд", плакатами, возвещающими о заговоре мирового еврейства. На одном из них голый безобразный человек в пенсне, с профилем Троцкого, сидит на куче черепов, улыбаясь хитро и надменно, на другом - волосатая горилла в ермолке в бессильной ярости сжимает руки.

Иногда по команде охраны они запевают песню: "В Польше у нас не было работы. Дорогой Гитлер, любимый Гитлер, ты научил нас работать".

Газеты пишут о том, что немецкая администрация решила извечный польский вопрос привлечения евреев - нации тунеядцев - к производительному труду. Авторы статей сетуют на сложность перевоспитания: нелегко сломать тысячелетиями укоренившиеся привычки, приходится прибегать к принуждению. Уличные облавы, прочесывания магазинов, а порой и квартир с непременным уводом пойманных людей на работу, стали деталями быта первого военного года.

Каждое утро еврей вынужден задавать себе вопрос: выходить или не выходить сегодня на улицу? Не выходить нельзя - нужно искать пропитание. Выходить опасно. Могут угнать на принудительные работы, избить, ограбить. Могут заставить делать гимнастику: наклоны, приседания, встать, лечь, встать, лечь. И так до тех пор пока не упадешь без чувств. Могут заставить раздеться и голым бегать по морозу. Или просто плюнуть в лицо, сказав: "Ты не человек, ты не животное. Ты еврей".

Улица - арена издевательств. В Варшаве размещены войсковые соединения, готовящиеся к восточному походу, расположена школа летчиков, и каждый молодой немец может сколько угодно упражнять свою антисемитскую фантазию на улице. Новые возможности появились и у польской черни. Но здесь главная цель подзаработать, урвать хотя бы грош, скажем, вот таким способом: окружить еврея и перебрасывать его шапку до тех пор, пока он не догадается выкупить ее.

Первая и непосредственная реакция на уличные издеательства - мимикрия. Главное - не выделяться, стать незаметным, невидимым, вжаться в стену, превратиться в тень. Реже встречаются пейсы, короче стали полы пальто, беднее и темнее одежда.

Несмотря на строгость наказания, повязка часто прячется в карман. Но лицо, как ни надвигай на лоб шапку, лицо выдает. Нос, глаза, волосы. Печать расы, печать обреченности и завета. С ней не скроешься. Ты виден, ты другой, ты враг.

Страшны дни, страшны и ночи. Ночь - время обысков, грабежей. Приходят по наводке христианских соседей, невероятно расплодившихся шантажистов. Ищут доллары, бриллианты, золото. Увозят мебель, одежду. Часами держат на стойке полураздетых

людей, роясь в шкафах, сундуках. Еврей постоянно живет в ожидании топота сапог на лестнице.

Отмщение наступает только во сне. Сны полны кровавых видений. Кошмары дня, унижения личности, казалось бы, растворившейся в страхах и преследованиях, затаенная ненависть, спрессованная под грузом ежедневных надругательств - все это вырывается ночью потоком фантазий, в которых овцы становятся волками, а враг растоптан и умоляет о пощаде.

Пробуждение означает начало дня - томительного, бесконечного, полного страхов, ожиданий и смутных надежд. Мысль бьется в поисках выхода. Первое стремление - уйти, бежать, эмигрировать. Как? Куда? В первые месяцы еще существует полулегальная эмиграция, впоследствии совершенно прекратившаяся. Она требует денег, связей, ловкости. Появляются тайные посредники, за огромные деньги добывающие иностранные паспорта и разрешения на выезд. Кому-то удастся просочиться в Румынию, даже в Палестину. Но это единицы. Бежать, в сущности, некуда. Европа объята войной. Америка недостижимо далека. Остается Россия, союзница Германии, участница раздела Польши. . .

В принципе, немецкая администрация не возражает против еврейской эмиграции в Россию. Более того, десятки тысяч переселенцев насильно гонят к советской границе, где их встречает заслон российских войск. Пропускают выборочно, после длинной бюрократической процедуры. Многим удалось прорваться на советскую территорию в период сентябрьской кампании. Вести от них идут смутные, тревожные. Сообщают о лишении польского гражданства, о высылке в глубинные сибирские районы.

## Слухи

Безвыходность и трагизм положения, изолированность от внешнего мира и отсутствие связей с ним порождают особый настрой общества, формируют его духовный облик. Всегда присущая еврейству нервность, стремление любое явление спроецировать на свою ситуацию доходят до крайности, порождая причудливое смешение фактов и домыслов, мистических предсказаний, построенных на обрывках политических новостей.

Это естественная реакция на ход событий. Мир безумен, цивилизация в обломках. Как обрести веру, отыскать надежду? Разум здесь бессилён, рационалистический анализ не помогает. Народ прислушивается к пророчествам, к прорицаниям чудотворцев, толкует темные места книги Даниила. Предсказывается скорое избавление, перелом или окончание войны, называется точная дата - год, месяц, а иногда и число. Избавление придет ко второй ханукальной свече - говорит старый цадик. Весной надеются на лето. В 40-м на 41-й, в 41-м на 42-й, и так до самого конца.

Чуткость ко всему происходящему доходит до предела, каждый еврей, словно антенна, улавливающая малейшие колебания политических волн. Люди реагируют на случайно оброненное прохожим немцем слово, на любую, казалось бы, нейтральную газетную заметку.

Уходит в отставку немецкий военный министр Бломберг. Скорее всего его сделают руководителем оккупированной Польши. Что это принесет евреям? Американский вице-президент Уоллес встретился с Риббентропом. Конечно же, они обсуждали еврейский вопрос. Болезнь Рузвельта вызывает уныние. Визит Падеревского к английскому королю и обычные в таких случаях слова о грядущем освобождении Польши - надежду.

Народная фантазия не знает границ. Победа Германии над Францией летом 40-го года рождает слухи о чудодейственном оружии немцев - танках, сбрасываемых на парашютах, снарядах, начиненных сонным газом.

Однако чаще всего слухи не так уж и нелепы, особенно, когда они касаются окружающей действительности. Народная молва довольно точно предсказывает мероприятия немецкой администрации. Начавшиеся в декабре 1939 года разговоры о депортации полутора миллионов евреев - следствие немецкого плана организации

люблинской резервации. Люди предчувствуют создание трудовых лагерей с их ужасающими условиями жизни. Каждой новой серии запретов и ограничений предшествуют соответствующие предсказания.

В конце декабря 1939 года Рингельблюм записывает в своем дневнике: "Распространились слухи о восьми антиеврейских пунктах. Откуда эти слухи, кто их распространяет, никто не знает. Разве что только антиеврейские садисты, которые хотят сделать жизнь еще более горькой и время от времени придумывают различные небылицы. В соответствии с этими восемью пунктами нужно нашивать желтые заплатки спереди и сзади, не носить высокие сапоги, женщинам выходить без шляп, некоторым брить головы... Говорят, что из Варшавы будут изгнаны 200 тысяч евреев. Такие слухи распространялись неоднократно. Они способствовали тому, что немцы вводили самые разнообразные запреты".

В этой записи сошлось все - и крайнее нервное напряжение, и инстинктивное нежелание верить в то, что будет еще хуже, и проистекающее отсюда предположение, что немцы как бы стремятся оправдать слух, предположение, в котором причина и следствие поменялись местами. По Рингельблюму не слух отражает будущий факт, а факт возникает как следствие слуха.

Это крик измученного человека, неосознанно стремящегося уйти от окружающей реальности. Но она есть, она существует, и слух чаще всего предваряет ее вполне достоверно, лишь с небольшим искажением деталей - бритье голов, женщины без шляп. Он достоверен потому, что порожден коллективным представлением о событиях. Прогнозируя их, он угадывает психологию власти, логику поступков врага подчас точнее, чем разум интеллигента с его рациональным анализом ситуации. Слух эмоционален, он результат коллективной интуиции масс.

200 тысяч евреев изгонят из Польши... Невероятно? Спустя два с половиной года 300 тысяч варшавских евреев уйдут в газовые камеры Трешлинка. Желтые заплатки на груди и спине. Но именно так помечаются евреи, живущие на территории рейха, их скоро заставят носить обитателей лодзинского гетто, Лодзь входит в Вартегау, это теперь часть рейха. Нельзя носить сапоги? Что за бред? Почему сапоги? Но сапоги - символ мужественности, конечно же, евреям нельзя их носить. Спустя недолгое время возникнет запрет на всякие кожаные изделия. Кожа - дефицит. Она только для немцев. Как часто впоследствии описанию факта в дневниках Рингельблюма будет предшествовать запись о слухе, довольно точно отражающем грядущее событие!

В 37-м моя мать безошибочно предсказывала арест отца. Он не верил, не хотел верить, обвинял ее в приверженности массовой истерии страха, называл мещанкой, распространяющей слухи, не понимал, почему она отказывается переехать из тесных наших комнат, записанных на ее имя, в новую просторную квартиру, предоставленную ему по службе. Мать угадывала примерное время его ареста, характер обвинений, предвидела последствия для семьи и в том числе неизбежное лишение ее крова, окажись она с детьми в его новой служебной квартире. На ее стороне был здравый смысл, интуитивное понимание логики происходящего.

Как часто внизу точнее видят смысл событий, чем наверху, как бессилён оказывается интелектуализм перед иррациональностью диктатуры!

Сейдер

Дневники Рингельблюма отражают не только народные слухи и настроения масс, но и попытки интеллигенции осмыслить происходящее, найти в нем свое место. После хаоса первых лет оккупации начинается общественная жизнь. Первые собрания общественных деятелей носят характер частных встреч, приурочиваемых чаще всего к религиозным праздникам. Собираются у кого-нибудь дома за скудной трапезой, говорят всю ночь, благо, разойтись все равно невозможно из-за полицейского часа.

Эти разговоры бесконечны и мучительны. Они всегда об одном и том же, но и без них нельзя. Они - продолжение монологов, которые каждый из собравшихся ведет внутри



себя изо дня в день и которые будут идти все годы существования гетто до самого его конца.

История народа и их собственные жизни, прошлое и будущее, призреваемое в тоске и тревоге, - все озаряется трагическим светом случившегося, все заставляет искать ответ на вопрос: как быть?

В ночь пасхального сейдера 1940 года в квартире лидера левых поалей сионистов Шахнэ Сагана, на пятом этаже дома на улице Новолипке собралась компания общественных деятелей, журналистов, ученых. При свете свечей сидели они у праздничного стола, отправляя древний национальный ритуал. Не было мяса козленка и горьких трав, скорее всего мяса вообще не было, но все шло по тысячелетиями заведенному порядку - традиционные четыре вопроса детям, чтение пасхальной агады.

"Благословен ты, Господи Боже наш, царь вселенной, избавивший нас и избавивший предков наших из Египта. Да сподобит нас Господь дожить до грядущего праздника, дабы мы веселились по поводу сооружения града Твоего". Эти слова библейского славословия были исполнены для них особого горького смысла. Никогда еще не казался таким далеким от свершения их сионистский идеал, никогда нация не находилась так близко к грани полного истребления. Ночь за окном несла им ежеминутную опасность. Рационалисты, воспитанные на идеях европейского просвещения, они были лишены веры в чудо, жившей в сознании народном. Знание национальной истории, понимание политической ситуации заставляли их делать печальный вывод.

- В самые худшие времена гонений, - говорил сотрудник газеты "Момент" Аарон Айнгорн, - оставались города-убежища. Сейчас их нет. Прошлое наше ужасно, в нем только преследования и страдания, но будущее наше еще страшнее.

Они говорили о моральной деградации еврейства, об обилии доносчиков и спекулянтов, о вырождении чувства самопожертвования, присущего нации.

Цивилизация неотвратимо разрушается, нравственные критерии опрокинуты. Все, чему они поклонялись всю жизнь, исчезает. Сионизм - лишь голая идея.

Социалистический идеал скомпрометирован империалистической политикой Советского Союза. Западная демократия беспомощна перед лицом коричневой чумы.

Поступательное движение истории привело к трагическому финалу - к разгулу варварства, возврату в средневековье. История не просто остановилась, она пошла вспять. Мир безумен. Опору можно искать лишь в самом себе, в своем внутреннем мире, в личности. Все исчезает, остается лишь индивидуальность, как она есть, какой сложилась. Надо черпать силы в своей душе, следовать ее движениям, непосредственно различая добро и зло. Надо противопоставить инстинкту варварства инстинкт гуманизма, обособив личность в этом хаосе мятущегося мира. Да, все кругом безысходно, лишь человек должен оставаться человеком.

Это настроение становилось всеобъемлющим. За сотни километров от улицы Новолипке в парижских литературных домах оно оформлялось в философию существования, проникнутую тем же самым трагическим мироощущением. Французская философская мысль, обращаясь к забытому учению великого антигегельянца Кьеркегора, прозревавшего всемирный хаос в логике событий девятнадцатого века, обретала себя в сходной ситуации крушения национальных надежд в воссоздании экзистенциализма. Эта философия, рожденная утратой надежд и столь популярная в мире в шестидесятые годы, во время войны лежала в основе антифашистского сопротивления французской интеллигенции.

Но там, во Франции был свой народ, там были поддержка Англии, призывы де Голля, наконец, там был юг, хотя и управляемый союзным Гитлеру петэновским правительством, но все же не оккупированный и дающий в случае необходимости укрытие. Здесь же, в Варшаве - враждебность коренного населения, чужая крестьянская страна, равнодушие мира, задворки покоренной Европы. Здесь расплата за сопротивление неотвратима, неизбежна и весь многовековой опыт приспособляемости подсказывает: главное - выжить, согнуться, но выжить, вытерпеть,

перенести, как переносили хмельничину, гайдамачину, костры средневековья. Главное - дожить до следующей весны, а там что-нибудь изменится... .

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГЕТТО

"Еврей! Пиши о евреях"

В 71-м здесь было поставлено многоточие. В конце концов осозналось: рукопись эта - детонатор в твоей собственной судьбе. Будучи законченной, она не улежит в личном архиве. А извлеченная оттуда, обречет автора на выбор: самиздат и, стало быть, диссидентство со всеми вытекающими отсюда последствиями или отъезд.

Отъезд... Устаешь от бесконечного пережевывания одних и тех же аргументов, от страха перед огромностью и необратимостью решения, которое предстоит принять. Ты понимаешь, что на своем веку радикальных перемен здесь не увидишь, ощущаешь, какими медленными шагами идет История. И на гигантских эволюционных переделах, в эпохах, отделяющих одну реальную переменную от другой, три десятилетия, которые тебе, в лучшем случае, предстоит прожить, ничтожно малы.

Масштаб твоей жизни несоизмерим с масштабом Истории. Ты можешь прождать здесь перемен до конца твоих дней, опуститься, потерять всякие желания и цели, кроме простейших бытовых, и духовно погибнуть.

Память подсказывает тебе историко-арифметический расчет. Если человек родился в 1900-м, то он мог надеяться на что-то в 17-м, он затаился в 34-м и чудом уцелел в 37-м. Он пережил войну, и в 56-м ему могло показаться, что он дождался краешка зари. Но потом были шестидесятые, а в семидесятых, лежа на больничной койке, он исповедуется соседу в том, что жизнь прожита бездарно - в страхе и лжи.

И ты снова и снова загадываешь, сколько тебе осталось и что с тобой будет в эти оставшиеся годы - очередная ступенька карьеры, новая служба, еще одна книжка? Ну, а что будет там? Во всяком случае, другое и уж наверное не хуже. А если городок на чужбине - жара, пыль, пустота, монотонный физический труд, заброшенность, ностальгия, оторванность от мира? И сразу же - вихрь: да-нет, хуже-лучше, сейчас можно, потом - нет, язык, культура, риск... Молчит судьба, течет время. Время экзистенциальной свободы выбора.

Но рано или поздно калитка захлопывается с тем, чтобы открыться годы спустя, когда ты стар, грузен, тяжел на подъем. И когда наконец сюда, на российскую землю в родовых муках начинает приходить свобода.

Шаг за шагом, год за годом, рывками, толчками поднимается занавес политической сцены, где ты и зритель, и актер. То, что раньше было нельзя, теперь можно - писать, кричать, ездить. И это сладостное "можно" испытывают все, кто тебя окружает.

Ты впервые в жизни узнаешь чувство слияния с толпой, понимаешь, что тысячи людей думают, чувствуют также, как и ты. И немного стыдишься этого сознания. Ты привык жить на особицу, открывая немногочисленных "своих" по реплике, улыбке, взгляду. Привык презирать толпу, бояться ее и всегда быть в стороне - зрителем - холодным, рассудочным, ироничным. Теперь же ты сливаешься с толпой, с массой. Ты с ней в Лужниках в 89-м, с ней перед танками в августе 91-го, ты с ней в марте 93-го на Васильевском спуске. Да и не толпа это для тебя. Толпа это те, кто по другую сторону баррикад, с красными флагами.

Твое национальное растворилось в социальном, политическом. Ты свой среди своих. Ты неотделим от действительности. И, оглядываясь в прошлое, понимаешь, что и раньше в сущности был неотделим от той старой действительности. Ведь ездил же ты долгими годами по России, по самой что ни на есть глубинной, деревенской России спецкором аграрной газеты и разбирал и собирал социальный и экономический механизм сельской жизни. Не холодными руками разбирал - выделял из колхозного, райкомовского мира остров личного крестьянского хозяйства - последний остаток самостоятельности, клочок приусадебной земли, за счет которого все советские годы

жив был деревенский человек - и со страстью и искренностью отстаивал эти жалкие его права.

Иногда в глубине души самому смешно и странно становилось, как это ты, еврейский городской мальчик (в глубине-то души, перед самим собой ты не дед, не отец, а все еще мальчик с московской окраины, гуманитарный мальчик из несостоявшихся филологов), столь основательно погрузился в российскую деревенскую ностальгическую стихию, что тебя, причисляя к цеху деревенщиков-публицистов, зовут выступать, с тобой советуются, пишут тебе письма.

Конечно, книжки и очерки в толстых журналах тешили твое самолюбие. Но не мог же ты не сознавать, что правда в них камуфлируется, что, как ни пляши у запретной черты, переступить тебе ее не дано, а коли так, то российская фига в кармане - вечный твой удел.

В некий тягостный час, когда духота семидесятых ощущалась почти физически, ты запустил по тайным тропам статью за рубеж, в эмигрантский журнал. Потом другую, третью... И в них уж все до конца, что выговаривалось только с самим собой. Конечно, под глухим псевдонимом, конечно, на материале, в котором тебя уж никак не вычислишь ( удел Синявского так памятен !). На материале культуры, на фактах общеизвестных - книга, пьеса, фильм - плясал, как хотел. И национальное выплясывалось тоже - почва, Россия, еврейство.

Уже в 92-м в Америке, в эмигрантских домах отыскивал в рядках журналов свое - с таким сладострастием писавшееся, с такими страхами передаваемое - "Рукопись пришла по каналам самиздата"... Из 92-го в ретроспективу 70-х на это смотрелось с усмешкой. Ну, и что? Твои проблемы. Твои попытки глотнуть свободы. Середина восьмидесятых эту тайную жизнь отменила, закрыла. Говори и пиши, что хочешь, где хочешь, только кто тебя услышит?

А рукопись о варшавском гетто так и лежала в столе неоконченной. Она не была мертва для тебя. Скорее холодна. Она остыла, как остыло твое национальное чувство.

Весной 88-го вспомнилось: 45-я годовщина восстания. И уколом: кто, кроме тебя в России, помнит об этом? В либеральном еженедельнике по прочтении статьи уныло сказали: "Ну стоит ли ? Так много всего своего вокруг происходит. А тут - евреи, история..." Отдать в свою аграрную газету? Но что российскому крестьянству до трагедии польского еврейства? Твой осторожный редактор, привыкший колебаться вместе с линией партии и потому мечущийся между правыми и левыми, тем не менее печатает статью. Из осторожности. А может так надо?

В редакции она вызывает бурный восторг. И вот это - самое поразительное. Все, что ты писал о российском селе из года в год, могло вызывать одобрение где угодно - в журналах, в издательствах, на радио - но только не там, где ты работал. Ты мог получить годовую премию в престижном толстом журнале, но у себя в газете, что бы ты ни писал - всегда молчание. Не ругают, не хвалят - просто не замечают. Ты привыкаешь к этому. Но статья о гетто принимается на ура - тема, знание предмета, как написано - все нравится. Это означает: "Ты еврей, вот и пиши о евреях. Имеешь право. Только не лезь в наши российские сельские дела. Что тебе Гекуба? Что ты Гекубе? У тебя должны быть свои национальные интересы. И когда ты их реализуешь, мы готовы тебя понять."

Они возвращали тебя к этой теме. Они напоминали тебе, что ты должен делать. Русский национализм пытался пробудить в тебе еврейское национальное чувство.

В 93-м, в пятидесятилетие восстания расклад не менее характерный. "Октябрь" и "Огонек", возглавляемые русскими редакторами, публикуют твои очерки о гетто. "Знамя", редактируемое евреем Баклановым, возвращает подборку документов об этом. Между тем тот же Бакланов в партийные времена печатает документальную повесть Давида Гая о минском гетто, которая могла вызвать неодобрение начальства. Но противостоять партийному аппарату, пусть и одряхлевшему к тому времени, было почетно и естественно для российского интеллектуала. Напечатав же материалы о варшавском гетто несколько лет спустя, когда над ним, как над редактором, уже ни ЦК, ни ЧК, он, видимо, внутренне ощутил бы, что тем самым противостоит русскому национальному чувству, общественной силе, которая ждет от него, редактора

российского журнала, уж во всяком случае не такого рода публикаций. Сознательно или бессознательно он хочет, чтобы забыли о его еврейском происхождении.

Историк еврейского народа Сергей Лезов, христианин и русский, преподающий иудаику в Российском гуманитарном университете, толковал эту ситуацию так: "Когда мы говорим о действительности русского еврейства, его разрыве с национальным наследием - языком, культурой, религией - то задумываемся над тем, что же делает еврея евреем? Прежде всего антисемитизм. Но ведь и евреи усваивают стереотипы отношения к своей национальности, которые свойственны их окружению - русским, украинцам... Возникает то, что американцы называют самоненависть. Еврей ненавидит и стесняется своего еврейства. У американских евреев это было в двадцатые - тридцатые годы несмотря на то, что они жили в демократическом обществе. И понадобилось время для того, чтобы они почувствовали, что они такие же эмигранты, как все остальные жители континента, что они могут быть американцами и евреями, могут выдвигать политические требования, оказывать политическое влияние на органы власти, то-есть, что они способны включаться в американскую демократию".

Лезов, умный, честный Лезов, рассуждает, как ученый. Ты же сам внутри этой ситуации, ты препарировать собственную душу. Легко соотносить нас с Америкой. Говорят, и там был и есть антисемитизм, особенно сильный во времена Великой депрессии. Но ведома ли там чугунная лапа советской государственной юдофобии, убивавшей всякое здоровое национальное чувство? И недаром каждый обломок уже распавшейся империи насквозь пронизан токами национальных страстей, отравлен ядами искаженного национального сознания. Такое сознание тотально, оно охватывает все проявления жизни. Способность видеть в себе подобном прежде всего человека, а уж потом - русского, немца, еврея - утеряна. Как развратник не может спокойно и естественно относиться к женщине, так и больное национальное сознание не может спокойно и естественно, без ксенофобического комплекса воспринимать представителя другого племени. И доброе, и злое в человеке ему видится через его национальную сущность.

Временами ты спрашиваешь себя, а не слишком ли многого ты хочешь от человека? Может ли вообще быть здоровое национальное чувство? Ты ведь вторгаешься в потаенную область сознания, куда-то на уровень изначальных рефлексов и комплексов. Тобой движет стремление к идеалу? А может, к атмосфере нравственной стерильности, в которой никто и ничто не живет? А может, речь идет об извечной борьбе Бога и дьявола в человеческой душе? Борьбе, где все предопределено, но свобода выбора дана. Экзистенциальная свобода выбора целей и путей их достижения.

Только не оправдывай себя тем, что раньше этой свободы не было, что ее у тебя отняли задолго до твоего рождения. Когда тебе ее ненадолго возвращали, пусть на мучительно трудных условиях, ты все равно ею не пользовался. Теперь ограничений нет, но все равно трудно. Надо все решать самому, без ссылок на внешние обстоятельства. Решать наедине с собой - печатать или не печатать статью, писать или не писать книгу, отдаваться или нет своему национальному чувству, наконец, воспитывать ли его в себе естественным, нормальным, не расходящимся с нравственным идеалом? И это тоже труд души, где никто тебе не поможет и силы надо черпать в себе, только в себе.

"Всюду перед ним вырастали стены"

Стены идут вдоль улиц с многозначительными названиями. Счастливая - на севере, Злотая - на юге. Они минуют на северо-востоке старинный варшавский парк Огород Красиньских - и уходят вниз, к югу, к Тломацкой с ее знаменитой хоральной синагогой, включают в себя на западе старое еврейское кладбище. Они пересекают улицы, идут причудливо, прихотливо, разрезая живое тело города, вычленяя в нем особый организм - гетто.

Собственно, решение о создании гетто было принято сразу же после оккупации Варшавы. 4 ноября 1939 года руководитель службы безопасности варшавского дистрикта, штандартенфюрер Рудольф Батц вызвал всех членов юденрата и вручил им список улиц, на которых в течение трех дней должно быть сконцентрировано еврейское население.

Аргумент, что это потребует переселения 150 тысяч человек, во внимание не принимался. В подкрепление серьезности своих намерений гестапо заключило в тюрьму группу заложников. Решение объявлялось от имени командующего расположенных в Варшаве войск генерала фон Нейман-Нейроде

Ошеломленные руководители юденрата отправились к самому Нейману. Тот сообщил, что об этом объявленном от его имени решении он слышит в первый раз, пообещал рассмотреть претензии юденрата и распорядился ждать его дальнейших указаний.

Так община впервые столкнулась с соперничеством различных ветвей новой власти, на которое впоследствии возлагала столько надежд.

Дальше начинаются традиционные аппаратные игры. Взбешенный Батц отправляется в Берлин с жалобой на Неймана, идут переговоры между ведомствами, и создание гетто откладывается. Оно откладывается месяц за месяцем. Вмешивется высшая воля. То муссируется план создания огромной еврейской резервации в Люблинском воеводстве, то возрождается идея Гитлера о выселении евреев на Мадагаскар. Ее осуществление, правда, приходится отодвинуть до окончания войны. Идут споры о способах создания гетто. Как изолировать 350 тысяч человек? Муниципалитет Варшавы утверждает, что экономике города будет нанесен непоправимый ущерб. Ведь 80 процентов варшавских ремесленников - евреи.

Но немецкие власти совсем по-иному расценивают хозяйственную роль евреев. Они, по утверждению губернатора Людвиг Фишера, противодействуют экономическому планированию и регулированию цен. Право же, эти слова германского правительственного чиновника сороковых годов способны вызвать умиление у того, кто наблюдает за российскими экономическими дискуссиями девяностых годов. Но так было.

Фишер употребил слово "саботаж". Евреи своей деловой активностью саботируют попытки контролировать цены. Имелись и политические аргументы в пользу изоляции - дурное влияние на поляков в противовес хорошему немецкому влиянию. Санитарный аргумент: евреи - это грязь, зараза, тиф.

7 августа 1940 года издается официальное сообщение о разделении Варшавы на три квартала - немецкий, польский и еврейский. Это означало, что 113 тысяч поляков и 138 тысяч евреев должны переселиться.

Можно себе представить состояние миллионного города, где каждый четвертый житель обязан найти себе новое пристанище. Отношения между польской и еврейской общиной, и в иные времена оставлявшие желать лучшего, обостряются до предела. Борьба идет за каждую пограничную улицу, каждый дом.

У еврейской стороны главный аргумент - численность населения: "Эта улица традиционно еврейская". Но здесь - костел. И вот уже ксендз призывает паству не отдавать его евреям. В другом месте - фабрика, где работают тысячи поляков. В третьем - красивое школьное здание. Подкупы, взаимные обвинения, обращения к немецкой администрации в качестве арбитра. Но силы неравные. Территория гетто сжимается, как шагреновая кожа. От нее, как от пирога, отрезают кусочек за кусочком.

На встрече представителей общин известный польский общественный деятель граф Адам Ройникер обращается к полякам с призывом сохранить, насколько это возможно, территорию гетто. Он считает, что речь должна идти о борьбе против гетто вообще, а не о войне между двумя народами. Но что значит этот благородный призыв польского аристократа в жестокой борьбе за существование, которую ведут и поляки, и евреи?

Истерическое метание по городу, охватившее десятки тысяч людей, создает почву для коррупции. Корчак приходит в юденрат и иронически спрашивает у председателя Чернякава, есть ли у него самого квартира? Если нет, то он может назвать чиновника в юденрате, который за взятку даст ему ее.

Стены домов обклеены объявлениями, действуют всевозможные обменные бюро, организованные юденратом, плюс тучи маклеров. После 12 октября, когда по радио сообщили предельный срок переселения - 31 октября - улицы заполняются потоками телег, фургонов, ручных тележек, груженных мебелью и домашней утварью.

31 октября срок продляется до 16 ноября. Но уж 16-го все кончено. Еще десять дней можно свободно выходить, а потом гетто закрывается. У каждого из двадцати двух ворот - трое полицейских: немецкий, польский и еврейский. Выход только по специальным пропускам.

Так начинается двадцатимесячное существование этого закрытого мира, где на территории, занимавшей всего 2,4 процента города, на 73 улицах из 1800 сконцентрировалось 30 процентов населения Варшавы. Здесь, за трехметровой стеной, повитой поверху колючей проволокой, разыгрывалась драма человеческой жизни во всех ее проявлениях на предельном градусе столкновения всего низменного и высокого, что есть в человеческой жизни, в апокалиптическом предчувствии конца.

Что же это за мир? Попробуем его увидеть глазами мемуаристов. Один из них, вспоминая начальный период гетто, написал: "Жизнь все больше сгущалась". Сначала я не понял, решил, что не совсем правильно перевел с польского. А потом оценил точность этого образа. Речь шла не только о физическом уплотнении быта - шесть-семь человек в комнате, невероятная толчея на улицах. Уплотнилось все. Все реалии существования сблизилась: смерть стала привычной, трупы лежали на тротуарах, люди выползали туда, чтобы умирать. Рингельблюм записывает в дневнике: "Дети играют во дворе с мертвым телом". Жизнь больше, чем когда-либо, обнажила свою изначальную сущность: заботы о куске хлеба, о тепле, о безопасности вытесняли все иные помыслы.

Завтрашнего дня не было. Никто не знал, доживет ли до конца войны, хотя все исступленно мечтали об этом. "Пожить после окончания войны хоть час, а потом можно и умереть", - говорил семидесятилетний человек. Но не было и дня вчерашнего. Авторитет имени, общественные заслуги, собственность - все не имело значения. Актер работал рикшей. Писатель торговал с лотка. Владелец фабрики не мог переступить ее порог. Богатство - это теперь только деньги, живые деньги или драгоценности. Иной собственности не существовало.

Стены отделили гетто не просто от города. Они разорвали все связи: личные, бытовые, экономические. Ремесленник сидел без дела. Не было ни сырья, ни привычной клиентуры. Врач не мог лечить из-за отсутствия медикаментов. Адвокату некого было защищать - законов не существовало. Всех их принимала улица. Здесь можно было продать старый пиджак, узнать новость или слух, наконец, здесь можно было почувствовать себя не столь одиноким.

Улица рождает ощущение хаоса, бессмысленного, бездельного блуждания человеческих масс. Это хаос нью-йоркского Гарлема с его разоренными пустыми многоэтажными домами, с людьми, без дела сидящими на ступеньках. Это хаос российского городка, где среди бела дня можно встретить трудоспособных людей часами толкущихся у пивного ларька. Это хаос утраты социальных связей и целей, возможности или желания действовать, хаос оторванности от мира.

Мир становится чужим, равнодушным. Он неинтересен тебе, ты - ему. И ты словно в тюрьме, даже если внешне свободен. Ты в тюрьме, как бы велика она ни была. "Куда бы он ни шел, всюду перед ним выросли стены".

Весь день, с раннего утра до комендантского часа, который наступает в восемь, по главным улицам гетто льется человеческий поток. Он заливал улицы Лешно и Геншу, Новолипки и Заменгофа, в самих названиях своих несущие давнюю или не очень давнюю историю европейского города, где были некогда леса (Лешно), торговали гусями (Генша - Гусиная) и даже жил некий доктор Заменгоф, изобретатель эсперанто и общественный деятель.

Обитателям гетто, естественно, не до топонимических ассоциаций. Влекомые своими заботами, они проходят мимо бесконечного ряда торговцев, продающих все, что угодно - от картошки до книг и старого тряпья, мимо нищих, вопящих: "Идн, год рахмонес!" - "Евреи, жальтесь!", мимо уличных певцов, среди которых можно встретить кантора

или профессора консерватории. Улица вопит, поет, зазывает. В толпе то и дело вскипают водовороты. Кто-то встретил приятеля, к ним присоединился знакомый, потом подошел незнакомый - просто так, послушать, и вот уже узнается, какие дома отрезали полякам, куда перенесли стену, кого выслали в трудовой лагерь, какие продукты подорожали, кого арестовали за контрабанду, кто умер, где и что дают по карточкам.

Обитателю гетто нужно знать многое. И все это жизненно важные знания.

Слышен голос Рубинштейна, знаменитого юродивого, чьи словечки повторяет все гетто. Он несомненно сумасшедший, бог весть откуда взявшийся старик, весь день бегаёт по городу без шапки, полуодетый, пристаёт к прохожим. Но как неожиданно емки и глубокомысленны его фразы. Вот он подбегает к хорошо одетому человеку, тычет в него пальцем, смеется и кричит: "Все равны!" Все равны перед войной, перед немцами, перед возможной гибелью - толкует гетто. Опустившемуся старику он кричит: "Держись парень!" А его восклицание во след катафалку: "Отдай боны!" Боны - карточки. С легкой руки Рубинштейна "отдал боны" стало эвфемизмом, означающим смерть. Его смех стоит в ушах людей, переживших гетто. Со смехом он добровольно отправился в Треблинку. Со смехом первым вошел в вагон. Кто знает, смеялся ли он на пороге газовой камеры?

Толпа, разумеется, неоднородна. Среди истощенных или опухших от голода людей в поношенной, часто рваной одежде встречаются хорошо одетые упитанные господа и дамы. Но опытный глаз отличает власть имущих не только по облику. В гетто - целая иерархия повязок, открывающих принадлежность к той или иной службе, к социальному слою. Общая повязка - белая с голубой звездой Давида. Красная звезда означает принадлежность к медицине. Желтая с черной надписью - еврейская полиция. Темноглубая - чиновники юденрата. Черная с белой каймой - погребальная служба. Всего двадцать разновидностей. Выход без повязки - штраф или тюрьма. На первых порах люди вешали на внутренней стороне входной двери плакат: "Помни о повязке!" Особые знаки различия были у переселенных в Варшаву немецких и чешских евреев - желтые треугольники на спине и груди.

Иерархия установлена не только для повязок, но и для улиц. Мемуаристы используют аналогии с большой Варшавой. Сенная это Аллеи Уяздовские - район богатых: чисто, ухожено, у домов деревья. Лешно - Маршалковская: торговая, шумная, людная. Гжибовская - Театральная площадь: местная власть, юденрат. На Волынской, Ставках, Дзиковой аналогии кончаются. Ничего подобного нет ни в Варшаве, ни в других городах. Там расположены убежища переселенцев. Это конец всему, дно гетто, смерть.

Улица видит, как их привозят из Лодзи и Гданьска, Радома и Цеханова, из бесчисленных городков варшавского округа. Их гонят колонной с вокзала или выгружают из автомобильных кузовов на площади, и они, сбившись в кучу, долго сидят на узлах и чемоданах, ожидая, когда за ними придут из юденрата или благотворительного общества.

Куда они исчезают потом? Об этом знает Волынская, Ставки, Дзиковая. В пустующих школьных зданиях, синагогах, кинотеатрах они лежат на полу в нетопленных комнатах, наполненных запахом дерьма (уборные обычно не работают или в них не пробьешься), в ожидании пайки хлеба и миски овсяного супа.

Им нечего продать, то небольшое, что можно было с собой взять, спускается в первые дни. Им нечего делать - работы нет и для коренных варшавян. Их никто не знает. Они никому не нужны. Опекунский совет вкупе с юденратом с трудом обеспечивают им ежедневную пайку. Волны переселенцев захлестывают гетто. Тиф не успевает очищать убежища. Приходят все новые и новые партии, поднимая численность населения почти до полумиллионной отметки, что более чем на сто тысяч превышает довоенное число варшавских евреев.

Те, кто могут ходить, пополняют толпы нищих. Они бродят по домам, стучатся в окна, блуждают по улицам после полицейского часа, монотонно повторяя: "Сжальтесь, сжальтесь". Некоторые молча стоят у стен, держа в руках свою довоенную фотографию. У других голод пробуждает безумную активность. Они выхватывают

продукты у прохожих и пожирают их на ходу, не обращая внимания на крики и побои. Их называют хапежами.

Трудно себе представить, что внутри тех же стен гетто живут люди, которые едят зимой виноград. На Кармелитской магазин колониальных товаров торгует апельсинами и финиками. Идет обмен валюты. Курс доллара, как в обыкновенном обществе, отражает реалии мировой политики - ход войны, взаимоотношения великих держав. Все это гетто. Но вернемся на его улицы.

Мостовая, также как и тротуар, несет на себе приметы нового быта. Появился конный омнибус. Его называют "конгеллеровка" по имени предпринимателей Кона и Геллера, получивших концессию на этот вид транспорта. Но омнибус ходит не часто. Зато полно рикш - велосипедистов, влекущих легкие коляски. Этот азиатский способ передвижения кормит множество людей. Седоки - представители нового привилегированного класса.

Иногда по улице проезжает санитарная машина. Это не "скорая помощь". Цель здесь - не лечить, а дезинфицировать, изолировать тифозных. Такое, казалось бы, вполне разумное действие вызывает панику во всем доме. Каждый здравомыслящий человек понимает, что все предпринимаемые меры - мытье, карантин, изоляция больного - бессмысленны. Вы принесете вши из дезкамеры. Тиф кончится с исчезновением грязи, голода, тесноты. Лучше собрать деньги среди жильцов и откупиться. Санитарная блокада даст лишь дополнительные и ненужные муки. Пусть уж машину с красным крестом скорее сменит черный фургон погребальной службы, который с натугой везут два велорикши.

Погребальную службу называют "людьми Пинкерта" - по имени старого варшавского гробовщика. Люди Пинкерта начинают свою работу с рассветом, объезжают улицы, собирают трупы, завернутые вместо савана в бумагу. Немецкий комиссар гетто Хейнц Ауэрсвальд после очередной инспекции строго распорядился: трупы не должны валяться на улицах, это производит дурное впечатление. Старое кладбище, куда люди Пинкерта свозят своих клиентов - единственный настоящий выход из гетто.

Ворота гетто - а их количество что ни месяц, то убывает, с двадцати двух в начале до четырех в самом конце - арена борьбы за выживание. Здесь идет ежедневное, ежеминутное контрабандное действие - шмугль. Шмуглер - это и бедолага из трудового батальона, пытающийся пронести по возвращении в гетто несколько картофелин, но это и деловой человек новой формации, организующий провоз крупных партий продовольствия. Его можно узнать в толпе у ворот по приклатненной манере, немногословным распоряжениям, отдаваемым помощникам. Неподалеку у него "малина" с телефоном.

Связь с арийской стороной ему нужна постоянно - какие цены, какой товар, когда поступит. Тут же идут сообщения от ворот: чисты ли прилегающие улицы, "обработаны" ли немецкий жандарм, сколько взял гранатовый (так называется польский полицейский за синий - гранатовый - мундир), что говорит свой еврейский полицай. Наконец, момент выбран, все готово - "Пускай воз!" - и через вход, охраняемый тройным патрулем, где, кажется, птица без пропуска не пролетит, идет телега с мукой или мясом, или сахаром.

Через ворота проходит, конечно, не единственная артерия контрабанды. По всему восемнадцатикилометровому периметру стены идет тихая война. Выламывают кирпичи, делают подкопы, пользуются канализационными туннелями, перебрасывают продукты из окон соседних зданий. Доходит до курьезов - до использования водосточных труб как молокопроводов.

Жизнь неустанно и требовательно стучится в стену, бьется в нее с размаха и также неустанно ее загоняют обратно. Загоняют выстрелом, обрывающим жизнь малолетнего шмуглера, просунувшего руку сквозь пролом; сооружением все новых заграждений и переносом старых; тюремным заключением - еврейская тюрьма на Геншей, так называемая Геншевка, полна контрабандистов всех возрастов; расклеенными на стенах домов приказами с угрозой расстрела.

Есть легальный способ общения с арийским зарубежьем - в гетто имеется камера свиданий. Она в здании суда на Лешно, куда есть вход и с арийской стороны, с Бялой. Сюда приходят члены разлученных семей (жена - полька, муж - еврей), друзья, бывшие соседи: "Не будет ли пани добра продать мой буфет?" Здесь говорят



эзоповым языком, пытаются нелегально передать деньги и продукты. Здесь живут старые привязанности, воспоминания о довоенном мире, об иной неразделенной Варшаве. И кто знает, чего больше в тех свиданиях - радости или страдания?

Варшаву можно увидеть с высоты. Это доступно каждому. Деревянный мост, наподобие железнодорожного соединяет две части гетто - малое южное и северное большое. Он нависает над Хлодной, почему-то оставшейся арийской, и называется "Мост вздохов". Тысячи ног ежедневно проходят по его ступеням, и у скольких людей сжимается сердце при виде открывающейся панорамы города: деревьев Саксонского парка, шпильей костелов, ленты Вислы. Эта панорама - тоже шмугель, контрабанда чувств. Сентиментальной пропагандой назвал ее поэт гетто Владислав Шленгель в стихотворении "Окно на ту сторону"

## Немецкая власть

Странная на первый взгляд подробность. По линии гражданской администрации варшавскими евреями управляли в основном немецкие юристы. Организатором гетто в 40-м был мюнхенский юридический чиновник Вольдемар Шен. Потом его сменил молодой бременский адвокат Хейнц Ауэрсвальд. Да и губернатор варшавского дистрикта Людвиг Фишер тоже был юристом.

Не стоит в этом усматривать какую-то особую изощренность нацистского режима: мол, величайшее бесправие - геноцид - осуществляли профессиональные юристы. Здесь проявилась обыкновенная клановость, свойственная любому аппарату. Генерал - губернатор Польши Ганс Франк в тридцатые годы возглавлял центральное правовое ведомство партии, расположенное в Мюнхене. Получив назначение в Польшу, он подбирает свои кадры. И Франк, и Фишер, и Шен - это компания сослуживцев.

Анкета Шена сохранилась в архиве варшавского дистрикта. Это анкета типичного партийного функционера. Родился в 1904-м. В партию вступил в 30-м. Учился в университете города Галле. Работал в административном аппарате земли Саксен-Ангальт. Затем перешел в центральное правовое ведомство. С началом Второй мировой войны мобилизован в армию. Ефрейтор на Западном фронте. Воевать, естественно, не хотелось. Использует старые связи и пишет Фишеру. Тот "отмазывает" его от армии, обращается к самому Гессу, доказывая, как Шен с его партийным и административным опытом нужен в Варшаве. И вот этому мелкому чиновнику и несостоявшемуся ефрейтору вручена судьба сотен тысяч варшавских евреев.

Впрочем, что это я? Мне ли не знать, как незначительна роль любого административного винта в механизме тоталитарной власти? Он исполнитель. Старательный, четкий исполнитель. Начальник отдела переселения варшавского дистрикта. Его задача переселить евреев, установить режим их жизни в гетто и контролировать соблюдение этого режима. Политика не его дело, хотя он чувствует себя причастным к политике, будучи еще к тому же штатным лектором центрального партийного аппарата. У нас это называлось лектор ЦК.

Разумеется, он проявляет инициативу. Скажем, еще на метр поднимает высоту стен за счет колючей проволоки. Или подразделяет евреев на квалифицированных и неквалифицированных. К неквалифицированным относятся люди свободных профессий - врачи, юристы, артисты. Они должны работать на строительстве дорог и уборке улиц.

Наряду с гражданской администрацией гетто курируется гестапо, которым в Варшаве после ряда кадровых перестановок с середины 41-го руководит доктор Людвиг Ган. У него есть два специалиста по еврейским делам, принадлежащих к вертикальному внутриэсэсовскому ведомству Эйхмана - Брандт и Менде.

Как распределяется власть над гетто между Ганом и Фишером? Здесь дело тонкое. Еврейство должно входить в сферу интересов полиции безопасности просто по определению, как главный враг - и внутренний, и внешний - национал-социалистического режима, который эта полиция призвана охранять. Так было всегда в недолгой истории рейха. Именно Гейдрих организовывал Хрустальную ночь, в его

службе сидели главные спецы по еврейскому вопросу. Не теоретики по проблемам расы и крови, как в ведомствах Геббельса и Розенберга, а практики, знавшие все ухищрения, все разветвленные связи этого племени. Они дирижировали "святой ненавистью масс", решали, выпускать или не выпускать объекты этой ненависти за рубеж, а если выпускать, то сколько имущества им брать с собой. Никакие гражданские власти не лезли в такого рода дела. Так почему же в Польше должно быть по-другому?

- Полиция безопасности... очень заинтересована в еврейской проблеме и поэтому создала такой институт, как юденраты, - говорил руководитель СС и полиции безопасности в Польше Бруно Штрекенбах на совещании у Франка в мае 1940 года. И добавлял с обидой: - После того, как юденраты были созданы, на сцене появляются чиновники гражданской администрации и вносят путаницу, когда каждый орган пытается собственной властью и без всякого порядка содействовать юденратам... Мы должны решить, кто должен контролировать юденраты - староста, губернатор дистрикта или полиция безопасности.

Конечно, Франк как старый национал-социалист и один из высших руководителей рейха сознает, что гетто лишь этап на пути к окончательному решению еврейского вопроса, которое придется осуществлять СС. Но в Германии евреи составляли меньше одного процента населения - полмиллиона из шестидесяти шести. Здесь же - в Польше - десять процентов, три миллиона из тридцати. В Варшаве же так и вовсе тридцать процентов.

Что делать с такой массой, где большинство - опытные ремесленники и рабочие? Можно понять стремление министерства экономики использовать этот огромный человеческий потенциал на пользу народному хозяйству, напрягающему все силы в тяжелой войне. Сколько ни толкуй об идеологии, о высоких целях национал-социалистической революции, от такого огромного ресурса, как еврейская рабочая сила, не отмахнешься. Здесь нужна организация дела. А полиция безопасности - аппарат карательный.

В декабре 1940 года в варшавской администрации создается учреждение, призванное монополизировать экономические связи с гетто - Трансферштеле. Его возглавляет Александр Палфингер, занимавшийся еврейскими делами в Лодзи.

Лодзинское гетто, созданное раньше варшавского, отличалось отсутствием всяких экономических контактов с внешним миром, более жесткой регламентацией жизни. Это скорее трудовой лагерь. Палфингер вместе с Шюном добивается того же и в Варшаве. Но, по мере расширения военных действий Германии и все большего напряжения в экономике, политика немецких властей меняется.

Весной 41-го на смену Шену и Палфингеру приходят Ауэрсвальд (его должность называется комиссар еврейского района Варшавы) и профессиональный экономист Макс Бишоф. С их именами гетто связывает ослабление экономических запретов, расширение частной инициативы. Создаются предприятия с участием еврейского капитала и немецкие фирмы, работающие на армию, так называемые шопы; разблокируются отдельные еврейские банковские счета.

Одновременно снимаются и некоторые ограничения в культурной и религиозной жизни. Разрешается открыть часть синагог, начальных школ, библиотек, театров. Все это пробуждает в обществе надежды, которые уже полгода спустя кажутся такими наивными. Когда в октябре 41-го Франк издает указ о смертной казни за самовольный выход из гетто и Ауэрсвальд его выполняет, распорядившись казнить восемь шмуглеров, среди которых были и женщины, один из хроникеров пишет: "И это Ауэрсвальд, в котором евреи видели друга и которому верили, как честному человеку."

Такие это были люди - разные по характеру, по способам мимикрии (Бишоф мог даже признаться без свидетелей, что любит евреев), проводящие более или менее жесткую политику, и тем не менее нормальные чиновники тоталитарного государства.

За три военных года в германской администрации сформировался целый слой профессионалов - специалистов по еврейскому вопросу. И немалый слой, если учесть, что только в одном варшавском Трансферштеле работало 120 человек. Кое кого

судили после войны. Большинство благополучно доживают жизнь, вспоминая свою тяжелую, грязную, нужную рейху работу.

Самое страшное по нормальному человеческому счету в этой работе - ощущение безраздельной власти над людьми. Будучи лишь исполнителями, они ничего не могли изменить в политике, но с отдельным человеком - председателем юденрата или самым распоследним уличным нищим - могли сделать все, что угодно.

Такая власть сразу же выявляла садистов, психически неполноценных, закомплексованные личности, тех, кто стремится выместить свою ущербность на безответном существе. Подобного рода люди есть в любом обществе, любом социальном слое. Но если в обычной жизни они могут проявлять жестокость по отношению к животному, быть тиранами в кругу семьи, то здесь всякие общественные установления, все нормы человеческой этики отменены: перед тобой недочеловек, враг, зловерное существо. Наказывать его даже патриотично. И находился среди двух десятков немецких жандармов, охранявших выходы из гетто, маньяк по прозвищу Франкенштейн (так звали героя довоенного фильма ужасов), почти каждый день убивавший или по крайней мере жестоко избивавший еврея. Все гетто знало его любимую присказку: "Не могу пообедать с аппетитом, не убив еврея."

Если у польских шмальцовников, действовавших на варшавских улицах до создания гетто, была хоть корысть в том, чтобы "жать из еврея сало", то немцам, заглядывавшим в гетто поразвлечься (полякам вход туда был воспрещен), мучительство доставляло бескорыстную радость. Здесь проявляются сексуальные извращения - заставить людей раздеться и побуждать их к совокуплению - молодого со старухой, старика с молодой. Самому насиловать страшно. Закон о расе и крови строго наказывал за половые сношения с евреями. Так хоть насладиться этим зрелищем да еще сфотографировать его. Или извращения социальные - остановить даму в мехах и заставить ее этим мехом вытирать мостовую.

Разумеется, большинство немцев были нормальными людьми, проявлявшими жестокость, так сказать, по долгу службы. Но каждый случай бессмысленного и жестокого издевательства и насилия запоминался, распространялся, создавая представление о них, как о нации мучителей.

Такая вседозволенность и в России фиксировала в общественной памяти подобных людей. Мой отец, пройдя колымские лагеря конца тридцатых - начала сороковых, на всю жизнь запомнил и детям рассказывал о молодом охраннике, который с вышки бросал к проволоке кусок хлеба, а когда изголодавшийся зэк подползал к нему, на законном основании убивал его, за что и получал досрочный отпуск. Другие охранники не пользовались таким методом получения досрочного отпуска, а этот пользовался. Тем и запомнился. Здесь все-таки дело не в особенностях нации, а в последствиях геноцида, безотносительно к тому, применяется ли он к своему народу или к чужому.

Не забудем, однако, что немецкая администрация - и гражданская, и эсэсовская - была отделена от рядового обитателя гетто иерархической лестницей еврейской власти. Обычный еврей и слыхом не слыхал об Ауэрсвальде и о Бишофе, а уж тем более о Гане и Брандте. Для него существовал участковый полицейский, председатель домового комитета, чиновник юденрата.

Во главе юденрата находился человек, представлявший собой одну из наиболее сложных и трагических фигур этого исчезнувшего мира.

## Одиночество Адама Чернякова или предел компромисса

От гетто осталось старинное кладбище на Окоповой, где временными слоями - остатки довоенных памятников; и огромные братские могилы, куда люди Пинкерт сваливали трупы, завернутые взамен савана в бумагу; и послевоенные погребения - иногда символические, иногда реальные.

На боковой аллее - черная мраморная плита с надписью: "Инженер Адам Черняков, председатель варшавского гетто. Умер 23 июля 1942 года". И многозначительная цитата из Норвида: "Такого, как ты, мир не может сразу принять на спокойное ложе..."

Посмертная судьба этого человека также сложна, как и прижизненная. Нет ни одного его шага в течение почти трехгодичного управления гетто, которое бы впоследствии не перетолковывалось бы, не подвергалось сомнениям. И даже смерть его стала предметом претензий и горьких поучений.

Я и сам по-разному относился к нему в течение многолетней работы над материалами гетто. Освобождаясь от совковой ментальности, расставался с традиционным нашим: "Сотрудничал с немцами - коллаборант...". "От него слишком пахло немцами" - как сказал один общественный деятель гетто. Теперь это высказывание заставляет вспомнить, что гетто было в значительной мере социалистическим, а значит тоталитарным по мышлению и мировосприятию, как многое в еврействе.

Читая дневники Чернякова (а он имел привычку делать ежедневные короткие записи, непонятно как оказавшиеся после войны в Канаде и переданные в иерусалимский институт памяти жертв фашизма Яд-вашем), понимаешь не только его личную трагедию, но и то, что в этой судьбе воплотилась трагедия любого искреннего государственного деятеля, извечное противоречие между намерениями и результатами. Только роль рока, висящего над человеком и ломающего все, что он строил годами, в данном случае играли немцы.

Зачем он пошел на эту работу? Ведь мог бы эмигрировать, уехать в Англию, Палестину, Штаты. Уехал же его предшественник, председатель довоенной варшавской общины Майзельс. Уехали и многие другие еврейские общественные деятели. Оттуда, из эмигрантского далека они следили за судьбой своего народа, мобилизовывали общественное мнение, писали, кричали, казнили себя за бессилие. Кто бы осудил его за отъезд? Он же записывает 23 октября 1939 года: "При посредстве президента Стажинского назначен председателем еврейской общины в Варшаве. Историческая роль в осажденном городе. Постараюсь с ней справиться."

На что он рассчитывал? "Постараюсь с ней справиться." Но это сейчас можно недоумевать - чего было ждать от немцев? Тогда же, за три года перед Треблинкой, за два перед совещанием в Ваннзее и многим другим, что предопределяло гибель еврейства, можно было полагать: мир такого не допустит. Можно было рассчитывать: Бог знает как повернется война, а он честен, искренен, опытен, искушен в компромиссах с польскими властями, которые тоже юдофилией не страдали.

Помочь варшавскому еврейству пережить это время, провести корабль общины через рифы военных лет, привести его к мирной жизни с минимальными потерями - да не историческая ли это роль? Конечно, он честолюбив. Но это честолюбие высшего рода - остаться в истории лидером варшавского еврейства в самые трудные его годы

Он был типичным представителем ассимилированной части польского еврейства - "поляков моисеева вероисповедания", которые, не отрекаясь от своего происхождения, были тем не менее глубоко внедрены в польскую культуру и общественную жизнь. О трудностях такого "пограничья" - принадлежности к двум народам - Черняков с горечью говорил в одном из своих публичных выступлений.

К началу войны ему под шестьдесят. И всю свою бурную, полную взлетов и падений жизнь он разрывался между польским и еврейским общественным служением. Его знали как руководителя общества еврейских ремесленников, весьма солидной общественной организации, от имени которой он занимал различные выборные должности - члена правления еврейской общины Варшавы, городского советника, а в начале тридцатых даже сенатора. Вместе с тем, еще до Первой мировой войны он попадает в царскую тюрьму, как польский патриот, а после завоевания Польшей независимости служит в министерстве общественных работ, возглавляет комиссию по восстановлению разрушенных войной городов.

При всем своем огромном житейском и политическом опыте, властности, жесткости, он чувствителен - особенно сострадает детям и делает для них все что может, - пишет романтические стихи. Среди его любимых книг - Дон Кихот. Литературный вкус его достаточно изощрен - по ночам он читает Пруста. Неужели эта холодноватая изящная проза могла отвлечь его от дневных страхов, от тоски по сыну, исчезнувшему где-то в просторах России?

Для гетто он Бог, и царь, и воинский начальник. Ауэрсвальд запретил всякие прямые обращения к немецкой администрации. Только через юденрат. Юденрат аккумулирует функции, которые никогда не были свойственны еврейской общине, занятой, в основном, делами благотворительными и религиозными. Шесть тысяч служащих юденрата (аппарат общины насчитывал триста человек), представляющих собой элиту гетто, регулируют все проявления жизни его обитателей - распределение еды, топлива, жилья, трудовые повинности, общественный порядок, школьное образование, медицина...

Это государство в государстве, президент которого ездит в черном автомобиле, сидит в огромном кабинете на Гжибовской (в просторечье юденрат - гжибовская компания). Время от времени его приезжает снимать немецкая кинохроника. Потом эти кадры обходят мир - бургомистр еврейского района Варшавы принимает население. Черняков - массивный, с крупным жестким лицом (говорят, что он похож на Муссолини, но мне он скорее напоминает внешне московского мэра Лужкова, если только приделать Лужкову крупный еврейский нос), в строгом черном костюме; широкая повязка с моговидом на рукаве выглядит знаком генеральского отличия; в белой рубашке с бабочкой - сидит за столом. Напротив - раввины в круглых шляпах.

При всем том ему может дать в морду любой немецкий унтер. Время от времени его забирают в гестапо. Бьют, унижают, заставляют мыть уборные... Через несколько дней выпускают. Акция устрашения? Чтоб не забывался? Доносы соперников? Результат конкуренции ветвей германской власти? Никто толком так и не узнает. Обвинения предъявляют смехотворные - непочтительно отозвался об СС...

Издаются над ним люди, с которыми он встречается почти ежедневно, совещается, которым пишет служебные записки. Имена Менде и Брандта упоминаются в его дневниках чаще, чем какие-либо другие. На варшавской Лубянке - в резиденции гестапо на аллее Шука - ему приходится бывать постоянно.

Впрочем, кто из властителей любого тоталитарного государства избавлен от этой опасности? Что там Черняков? Пария, еврей, хотя и облеченный властью в гетто.

Он страшно одинок и среди своих. В дневниках нет и следа дружеского общения, среды единомышленников, в которой жили общественные деятели гетто, тот же Рингельблюм. Роскошь человеческого общения, пожалуй, единственный вид роскоши, который у них оставался. Но Черняков был лишен и ее. Он не примыкал ни к одной партии, ни к одному политическому течению, словно боясь ангажированности, недостойной "всенародного" президента.

Устоять над схваткой однако не удавалось. Воспитанный в рыночной традиции "невидимой руки", он стремился всячески поддерживать предпринимательскую инициативу, но она проявлялась в формах подпольного бизнеса или в организации немецких предприятий. Он распределял налоги среди всего населения, а не только среди богатых, и это вызывало нападки общественности. Он пытался воздействовать на новых скоробогачей, но они находили заступничество у немцев. Терзаемый криками голодных, он вдруг распорядился реквизировать содержимое богатых прилавков, раздать пирожные и шоколад уличным детям. Но это ничего не меняло. Любое его начинание было обречено на неудачу.

Он боролся, отчаянно боролся. Выкупал заложников, находил хлеб для беженцев, создавал сначала подпольные, а потом легальные школы для детей. Казалось бы, какое имело значение, пропустят тысячи детей еще один учебный год или нет, умрут ли обреченные на гибель беженцы сегодня или завтра? Но это сейчас так можно рассуждать, когда мы знаем, какой конец ожидал этот мир. А тогда - продержаться еще неделю, месяц, год, спасти людей, поддержать их силы, их дух. Найти компромисс...

Иногда казалось, что выхода нет. Весной 41-го к горлу подступило - трудовые лагеря. Сначала в них шли добровольно - плату обещали мизерную, но хоть что-то при повальной безработице, да и семьям юденрат должен был помочь. Потом стали поступать письма: голод, работа по колена в ледяной воде, издевательства охраны. А немцы, разлакомившись дармовщиной, требовали людей еще и еще. Юденрат попытался возложить обязательства по их поставке на домовые комитеты, те отказались. Пошли облавы на улицах силами еврейской полиции. Хватали,

естественно, бедных, богатые откупались. Начались собрания общестственности, громы и молнии на голову Чернякова. Он-то прекрасно знал цену своему аппарату, но хуже было бы если б взялись за дело немцы. Трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы в связи с концентрацией германских войск на границе с Россией эти лагеря не ликвидировали.

Он все время ломает голову над тем, где взять деньги. Классический еврейский способ избыть беду - откупиться - не по силам вымирающему гетто. "Касса пуста" - рефрен многих его записей

"Снег падает. Снова должен буду доставить тысячи работников для очистки города... Касса пуста..."

"После обеда - работа дома, прерываемая криками нищих под окном: "Хлеба, хлеба. Я голодный".

"Гликсберг купил мне коробку порошков от головной боли. Какой-то парень вырвал ее у него на улице и начал есть порошки".

"Полковник Ширинский доложил мне о случае людоедства... Вот рапорт: "Докладываю, что по запросу... направились на Крохмальную улицу, дом 18, кв. 20, где застали лежащую на соломе тридцатилетнюю Урман Ривку, которая в присутствии секретаря домового комитета Нюты Зайдман и председателя комитета Янкеля Муравы сообщила, что допустила людоедство своего собственного 12-летнего сына Берка Урмана, умершего за день перед тем, отрезав кусок ягодицы. Подписал полицейский М.Гроссман... 19.2.42."

В июле 42-го он заметался. Гетто переполняли слухи о приготовленных вагонах, предстоящем переселении. Он ходит по кабинетам гестапо. Повторяет одни и те же вопросы. И в ответ получает недоуменно-любезные разъяснения (эта любезность вселяет еще большую тревогу) - все это вздор, слухи. Может ли он так и сказать людям? Разумеется, может и даже должен.

22 июля ему сообщили о переселении гетто на восток. Ежедневная норма погрузки в вагоны - шесть тысяч человек. Он еще на что-то надеется. В ответ на обращение руководителей общества попечительства сирот, где работает его жена, не коснется ли депортация детских домов, говорит, что жизнью своей ручается за безопасность сирот.

23-го он пытается освободить от переселения детские дома, работающих женщин. И тут же задает жалкий вопрос: сколько дней в неделю будет идти акция? Ему отвечают: семь дней в неделю. Вечером его вызывают из дома в юденрат. Недолгий разговор с каким-то гестаповцем, содержание которого осталось неизвестным. После ухода гостя он просит дежурного принести стакан воды и принимает цианистый калий, который всегда носил с собой. Жена, придя за ним, обнаружила на столе две записки. Одна к ней: "От меня требуют, чтобы я собственными руками убил детей моего народа. Не остается ничего другого, как умереть." Другая к руководству юденрата: "Я бессилён. Боль и жалость переполняют мое сердце. Больше не могу этого вынести. Мой поступок показывает каждому, что ему надлежит делать."

Его самоубийство было воспринято как проявление слабости. По мнению многих мемуаристов и хроникеров гетто он должен был призвать к сопротивлению, тогда бы его жертва не оказалась напрасной, " не пропала в шуме быстрого хода событий". Когда я представляю себе, как он около трех лет нес свою ношу, почти каждый день с цианом в кармане приходил в гестапо, не зная, выйдет ли оттуда, как отвоевывал для гетто метр за метром жизненное пространство, презираемый одними и прокливаемый другими, то удивляюсь, как он не отравился раньше.

Его преемник Марк Лихтенбаум подписывал все бумаги, организовывал охоту за людьми, думая лишь о том, как спастись самому. Его коллега, председатель лодзинского юденрата Хаим Румковский два месяца спустя заклинал трудоспособное население гетто отдать своих детей, чтобы спастись самим. Для Чернякова наступил предел компромисса.

В этом аду были свои демоны, свой Мефистофель. Я имею в виду не немцев. Немцы воспринимались как некая потусторонняя сила, нечто роковое, находящееся не внутри, а вне мира гетто. Глухая и ровная ненависть, которую к ним испытывали, не имела ничего общего с острым чувством, вызываемым коллаборантами - своими еврейскими полицейскими и агентами гестапо.

И не случайно первые теракты, проведенные боевой организацией, как только она сформировалась, были направлены не против немцев, а против евреев. Но об этом позже. Пока до восстания далеко. Мы еще в первых кругах ада, в ином, более раннем времени.

Общественное сознание гетто пропитывали исторические ассоциации. Все реалии его жизни имели прецеденты в прошлом народа, история которого была столь богата трагедиями. Еврейская полиция в диаспоре прецедентов не имела. Полиция - всегда инструмент оформившейся государственной власти. Общины диаспоры в таком инструменте не нуждались, они все-таки не были государством в государстве. И в нашем случае инициатива исходила не от юденрата. Загоняя людей в гетто в октябре 40-го, немцы приказали сформировать еврейскую службу порядка с ограниченными полномочиями - контроль уличного движения, чистота во дворах, подъездах, предупреждение преступлений (не совсем ясно, что здесь подразумевалось), участие вместе с немецкой и польской полицией в охране входов в гетто и выходов из него, борьба с контрабандой. Эта последняя задача была абсолютно нереальна в обществе, жившем, в основном, за счет нелегального товарообмена. Тем не менее, она вменялась в обязанность еврейской полиции.

Во главе службы порядка стал выкрест, бывший полковник польской полиции Юзеф Ширинский, которого Черняков выбрал, как профессионала. Зато все остальные офицеры этого довольно обширного формирования, к концу существования гетто насчитывавшего две тысячи человек, к профессионалам не относились. То были, как правило, молодые люди свободных профессий из состоятельных семей, на первых порах безвозмездно взявшихся за наведение порядка в гетто. Среди них имелось много адвокатов и бывших офицеров польской армии.

Первоначально к ним испытывали даже некоторое расположение, прощая коррумпированность, которая воспринималась, как неизбежное зло в подобных обстоятельствах. В середине декабря 1940 года Рингельблюм писал в своем дневнике: "Еврейская полиция образована из опытных и симпатичных людей". Считалось, что наличие собственной службы порядка - благо. Все же свои - не поляки и тем более не немцы. Легче договориться.

Но чем строже становились требования немцев, чем круче разворачивались события, тем дальше еврейской полиции приходилось идти по дороге компромисса. В памяти гетто остались так называемые "лапанки" (от слова лапать, хватать) весной 41-го, когда эти "симпатичные" люди хватали на улицах прохожих, (отпуская только тех, кто в состоянии был откупиться), и отправляли их в трудовые лагеря... Теперь уже облик полицейских - упитанность, чистая одежда, дубинка, а главное - хорошо вычищенные сапоги, - вызывал отвращение. Их главный аргумент: "Что вы от нас хотите: не мы, так немцы сделают это", - не принимался обществом во внимание.

Спустя год тот же аргумент приводился во время массовой депортации, когда те же "симпатичные" и упитанные люди, спасая себя, вылавливали и загоняли кого ни попадя на сборный пункт для отправки в Трешлинку.

Но спасения не было никому. Немцы относились к своим еврейским подручным как будто бы с доверием и доброжелательством, но то был союз с дьяволом. В один из последних дней депортации семьи полицейских внезапно были уведены эсэсовцами якобы для перерегистрации - уж отцы-то этих семейств хорошо знали куда, понимая, что означают эти эвфемизмы. Они стояли в своих начищенных сапогах, с дубинками под прицелом немецких автоматов в ужасе перед открывшейся бездной, которая скоро поглотит их самих.

Но и еврейская полиция находилась не на самой нижней ступени моральной деградации. Еще ниже была тайная полиция, агентура гестапо, в просторечье называемая по номеру дома, где располагалась ее штаб-квартира - Лешно 13 -

тринадцатка. Собственно, это была целая сеть различных учреждений, названия которых - отдел по борьбе со спекуляцией, бюро контроля плакатов, скорая помощь, бюро контроля мер и весов и т. д. - служили камуфляжем для тайных функций - слежки, доносительства, контроля слухов, настроений, намерений. Во главе этой системы стоял человек в высшей степени примечательный - Абрам Ганцвайх. Именно его я имел в виду, упомянув выше о Мефистофеле геттовского ада.

О нем ходило множество легенд. Загадочным виделось как его появление в Варшаве, так и исчезновение. Кое что, правда, известно достоверно. Известно, что родился в 1904 году в Ченстохове, служил учителем в ивритской школе, сотрудничал в провинциальных еврейских изданиях, принадлежал к правому крылу поалей-сионистской партии. В начале тридцатых оказался в Вене, после аншлюсса Австрии перебрался в Лодзь, где издавал на польском языке антифашистский еженедельник "Вольность".

Характерно, что после оккупации Лодзи немцы арестовали всех подписчиков этого еженедельника, но самого Ганцвайха не тронули. Ему дали возможность перебраться в Варшаву, куда он явился в сопровождении свиты - группы адвокатов и чиновников из различных провинциальных городов. Они-то и составили руководство тринадцатки.

Не понятны были истоки могущества Ганцвайха, которое он не уставал демонстрировать - то вызволит из тюрьмы Януша Корчака, куда тот попал за отказ носить повязку, то освободит из заключения нескольких раввинов, то добьется оставления в гетто Сенной улицы - приюта еврейской аристократии.

Говорили, что еще в Вене он выполнял секретные поручения австрийских нацистов, что в Лодзь перебрался для выявления антифашистских элементов, а Варшаве ему покровительствует шеф отдела пропаганды администрации варшавского дистрикта доктор Оленбух, да и с гестапо у него, судя по всему, отношения доверительные. Еженедельные визиты на аллею Шуха, куда он приносил свои отчеты о жизни и настроениях в гетто, нередко заканчивались ответной информацией гестаповцев о событиях на фронтах и в мире. Такая информированность создавала ему дополнительный ореол, который содействовал его проникновению в широкие общественные круги.

Разумеется, это был не просто заурядный осведомитель. Он претендовал на весьма заметную роль в жизни общества. Собирал у себя интеллигенцию - литераторов, раввинов, политических деятелей. Его так боялись, что некоторые присылали заверенные врачом справки о болезни, не смея не придти просто так. Он был неплохим оратором, хорошо образован, свободно владел ивритом, идише, немецким, польским, знал еврейскую историю, культуру. Такая разносторонняя образованность помогала ему проповедовать изоляционистскую концепцию, имевшую известную притягательность в еврейских общественных кругах.

Гетто - благо. Оно создает условия для культурной автономии, изолирует от ассимиляторских влияний польской культуры, позволяет народу оставаться самим собой. Да, сейчас невыносимо тяжело, но ведь идет война. Надо находить общий язык с немцами. Это позволит пережить войну в состоянии национальной целостности, а затем уехать за пределы Европы (чего, собственно, и добиваются немцы), сохранив культуру, традиции, религию.

Такая апология гетто, как альтернатива ассимиляции, была широко известна и в прежние времена, находила немало сторонников, и требовалось высокое нравственное чувство, чтобы не принимать ее из рук гестаповского агента. Впрочем, и его союз с дьяволом мог восприниматься тогда как допустимый компромисс, особенно, если вспомнить, что на выживание надеялись многие, а окончательное решение еврейского вопроса в газовых камерах казалось невероятным.

Ганцвайх был бешено честолюбив. Его устраивала лишь роль единоличного лидера гетто. Отсюда его жестокая и неустанная борьба с Черняковым. Считалось, что второй арест президента юденрата в конце 41-го, когда его подвергли особенно изощренным унижениям, - дело рук Ганцвайха. Главное его детище - отдел по борьбе со спекуляцией, род нашего советского ОБХСС, - составлял постоянную конкуренцию



еврейской полиции, отличаясь от нее лишь численностью (200-300 человек), особой формой и свирепым, переходящим всякие пределы лихоимством.

Когда на очередном этапе борьбы тринадцатки с юденратом, за которой стояло соперничество ветвей германской власти, антиспекулянтский отдел закрыли, Ганцвайх организовал станцию скорой помощи. Но и такое, казалось бы, вполне невинное учреждение приносило ему доходы (в машинах с красным крестом перевозились контрабандные товары) и служило прикрытием в агентурной работе.

Вся деятельность этого человека являла собой причудливую смесь демагогии и доносительства, черного бизнеса и благотворительности, тайных интриг и явных амбиций. Конечно же, рано или поздно от него должны были избавиться. В ночь с 18 на 19 апреля 1942 года немцы устроили чистку среди общественных лидеров гетто. В проскрипционных списках были и руководители тринадцатки.

Но Ганцвайх сумел исчезнуть из гетто с тем, чтобы появиться там уже в период массовой депортации опять-таки в ореоле тайны и могущества. Ходили слухи, что он выполняет поручения гестапо на арийской стороне. Затем он опять-таки бесследно и уже навсегда исчезает. Это, пожалуй, единственный деятель гетто, о судьбе которого ничего неизвестно. Погиб ли он в расстрельных подвалах гестапо или сумел перехитрить своих хозяев и уцелел, сменив обличье? Никто не знает.

Анализируя материалы деятельности тринадцатки и ее лидера, я испытывал временами некое содрогание от противоестественности этого союза - евреи и гестапо. Мое национальное сознание не могло примириться с таким понятием: еврейские агенты гестапо. При зрелом же и здоровом размышлении понимаешь: это не бросает и не должно бросать тени на весь народ.

Восемьдесят лет назад один из основателей сионизма Жаботинский писал в российской прессе: "Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия требуем признать за нами также право иметь своих мерзавцев: точно также как их имеют и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности... Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивают гвозди в глаза еврейских младенцев? Нисколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, когда есть в чем оправдываться."

Тринадцатка формировалась из представителей национального дна, да и сам Ганцвайх, этот inferнальный авантюрист, не так уж загадочен, как хотел сам себя представить. Между тем в гетто была другая, куда более крупная фигура, унесшая в могилу свою тайну. Это тайна превращения выдающегося еврейского мыслителя и общественного деятеля в осведомителя гестапо.

Его имя - Альфред Носсиг - есть в обеих русскоязычных еврейских энциклопедиях - и в той, что перед Первой мировой войной Брокгауз и Эфрон издавали в Петербурге, и в той, что выпускается в Иерусалиме в девяностые годы. Обе отводят ему немало места, что уже само по себе служит доказательством значительности личности, а новая энциклопедия даже дает портрет. На нем изображен красивый черноротый человек с утонченным лицом и страдальческими глазами.

Он обладал поистине леонардовской разносторонностью. Родившись во Львове в 1864 году, учился в немецких университетах, получил ученые степени по юриспруденции, медицине, философии. Писал пьесы, критические и музыковедческие статьи, сочинил либретто для оперы Падеревского. Его скульптуры были посвящены чаще всего библейским героям - "Царь Соломон", "Иуда Маккавей", "Вечный жид". К тому же он - основоположник еврейской статистики и демографии.

В политической деятельности всегда был диссидентом. Участвовал в первых сионистских конгрессах, но вступил в конфликт с Герцлем. Однако считал себя защитником еврейских национальных интересов. Его идеи опережали время, но потом, как правило, усваивались политическими противниками. Так было с предложениями о создании Всемирной еврейской организации с участием не сионистов, о планомерной и широкомасштабной переселенческой деятельности.

Мышление его носило глобальный характер. Он то и дело создавал всевозможные общества для решения мировых еврейских проблем.

После прихода к власти фашистов его высылают из Берлина, где он прожил больше тридцати лет, в Варшаву. Здесь он целиком отдается осуществлению своей давней мечты - лепит скульптуру "Священная гора", которую хочет поставить в Палестине на вершине горы Кармел как символ всеобщего мира и еврейского национального дома.

Все это рисует нам образ человека высоких помыслов, художника и философа. И вот Черняков в конце 40-го года получает из гестапо приказ включить Носсига в состав юденрата. А тот и не скрывает своей связи с немцами, своих регулярных осведомительских докладов. Правда, он не извлекает из них в отличие от Ганцвайха никакой особой материальной выгоды. Некоторые историки считают, что он вошел в контакт с немецкими властями, пытаясь добиться их согласия на еврейскую эмиграцию. Но ведь эти контакты продолжались и после массовой депортации, когда большая часть народа, защитником национальных интересов которого он считался всю жизнь, уже была уничтожена. Один из руководителей восстания варшавского гетто Марк Эдельман говорил мне, что у них, в штабе готовящегося восстания, не было сомнений в том, что Носсиг - многолетний, еще с довоенных времен агент абвера.

Долгое и бурное, почти восьмидесятилетнее существование этого человека 22 февраля 1943 года оборвала пуля боевика еврейской подпольной организации. Мог ли он, один из пионеров и теоретиков сионизма, вообразить себе, что когда-нибудь умрет от руки молодого сиониста, выполняющего приговор своей организации?

## Древо жизни

Иногда мне снится гетто - его звуки, запахи, голоса. Я живу в стылой выморочной пустоте его комнат, в толчее его улиц. Я испытываю тоску и голод, тревогу за близких, перехожу от надежды к отчаянию. И непрестанная душевная боль мучает меня.

Просыпаясь, я не испытываю облегчения от того, что это произошло не со мной, что войны, насилие, террор обошли меня стороной. Не со мной, но с дедом, бабкой, умершими в блокадном Ленинграде, с отцом, шестнадцать лет отгремевшим по лагерям и ссылкам, с детьми нашими, детьми моих сверстников, друзей, прошедших через Афганистан, через Чечню.

Как-то в середине семидесятых мы поехали с отцом отдыхать в Крым. Мы познакомились с ним, когда я был уже взрослым человеком, под одной крышей почти не жили и взаимное узнавание продолжалось всю жизнь. Тогда мы провели вместе месяц. Бродили по пустынному пляжу привилегированного санатория, по южному парку, и он впервые в подробностях рассказывал о своем лагерном житье. В какой-то момент я спросил его, как можно было это выдержать, почему он не бросился на проволоку, чтобы пристрелили.

-Ты меряешь ту жизнь своей нынешней мерой, - ответил он.- Человек сам себя не знает. Не знает своих сил, возможностей. Пропадают все мысли и желания кроме простейших - хлеб, тепло. Я прожил долгую жизнь, повидал многое, испытал все, что положено испытать человеку, но по-настоящему счастливым чувствовал себя, когда, работая в лагере похоронщиком, получил пайку погребенного мною же человека и, вернувшись в пустой барак, залез с той пайкой под нары, к теплому боку бойлера, и там в этой утробной тьме отогревал и сосал хлеб. Так что не примеряй на себя нынешнего ту ситуацию. Бесполезно...

Кажется, что Некто экспериментирует над человеком. Ставит его в невыносимые условия и наблюдает холодным оком, как он вынесет это, где сломается, где возопит, когда опустится и превратится в животное, а когда воспарит духом. И человек словно Иов многострадальный в великом своем одиночестве взывает: "За что, Господи?" Но и в этом зове он не знает своих пределов, той меры, которая ему отпущена для выживания.

Заклучив полмиллиона человек в клетку, каковой было гетто, немецкие власти не могли не понимать, что люди там обречены на скорую и мучительную смерть. Двух с

половиной килограммов хлеба, отпускавшегося по карточкам в месяц на человека (а хлеб и жидкий картофельный суп составляли питание большинства), могло хватить на несколько дней. Вместе с тем легальный товарообмен между городом и деревней был воспрещен.

Немцы утверждали, что гетто должно кормиться за счет запасов ценностей, которые несомненно имеются у евреев - золота, драгоценностей, валюты. Эти запасы действительно велики. В гетто работает черная валютная биржа, устанавливающая курс золотых и бумажных долларов, а также "свинок" - русских золотых рублей. Но валютой обладают лишь тысячи людей, сотни же тысяч - мелкие торговцы, ремесленники, беженцы - никаких ценностей, кроме собственных рук, не имеют. Как они-то существуют? При ужасающе высокой смертности, восполняемой, правда, накачкой переселенцев, тем не менее большинство варшавских евреев сумело дожить до лета 42-го.

К концу 41-го, когда власти несколько ослабили экономические ограничения, разрешив группе немецких предпринимателей создать на базе конфискованных еврейских предприятий всевозможные производства, давшие работу пятнадцати тысячам человек, в гетто уже существует обширная тайная экономика. Она порождена причудливой смесью самоотверженности и коррупции, смертельного риска и невероятной предприимчивости. Производство основано на теневых связях с польским рынком. Контрабандой поступает не только продовольствие, но и всевозможное промышленное сырье - шерсть, украденная с ченстоховских и варшавских фабрик, хлопчатобумажная пряжа из Лодзи, кожа. Развернулась неслыханная утилизация вторичного сырья. На Геншей действует рынок, где идет скупка старых простынь, изношенного белья, тряпок. Все это перекрашивается, перерабатывается и продается. Гетто поставляет свитера и шали, брюки и куртки, кожаную галантерею, лекарства. Тысячи ремесленников, замурованных в тайных укрытиях, на чердаках, в подвалах, шьют, красят, вырабатывают самый разнообразный ширпотреб. Десятилетние дети изготавливают игрушки. Из алюминиевых авиадеталей делают ложки и миски. Кто варит мыло, кто шьет тапочки.

Могли ли немцы ликвидировать это экономическое подполье? Достаточно было ужесточить контроль у ворот гетто, направить усилия гестапо на борьбу с теневым товарообменом, чтобы прекратить такую торговлю. Более того, если исходить из провозглашаемых принципов, они должны были сделать это. Но не сделали. Почему? Рингельблюм весьма тонко комментирует такое классическое противоречие между теоретической установкой и повседневной практикой словами Гете: "Теория суха, но древо жизни вечно зеленеет."

Древо жизни зеленело скудно и трудно. Люди жили с постоянным чувством голода, засыпали и просыпались с ним. В архиве Рингельблюма сохранилась рукопись некоего Станислава Ружицкого под названием "Бюджет рядового человека".

"Для примера возьмем бюджет семьи в составе четырех человек, живущих в одной квартире. Отец семейства работает в юденрате, получает жалованье и дополнительное вознаграждение на 235 злотых. Его несовершеннолетний сынок работает курьером в учреждении и получает ежемесячно 120 злотых. Сверх того отец имеет постоянное вспомоществование в силу своего довоенного занятия - 45 злотых и сверх того прирабатывает различными способами еще 200 злотых.

Его месячный бюджет составляет 600 злотых. Казалось бы, можно выжить. Но четыре человека. Большая жена занята домашним хозяйством с утра до ночи. Десятилетняя доченька развивается нормально, но у нее волчий аппетит, и целый день она ходит голодная. Килограмм черного хлеба стоит не меньше семи злотых. Его ежедневно выходит по самым скромным подсчетам до полутора килограммов на 10-11 злотых. По оптимистическим подсчетам это 300 злотых, ибо немного хлеба по карточкам тоже поступает. На продовольственные карточки получают еще немного сахара, мармелада, меда. Примерно такие же продукты поступают еще через юденрат. Таким образом, завтрак и ужин как-то обеспечиваются. Остается обед. Предположим, семья получает ежедневно из общественных организаций четыре порции супа, но к этому супу нужен ежедневно один килограмм картофеля, что составляет 105 злотых ежемесячно. Мяса и

масла не на что купить. Но покупается в месяц один килограмм солонины за 54 злотых, что составляет в месяц 250 граммов на человека, а ведь нет даже десяти граммов жира на человека в день.

После завтрака семья с нетерпением ждет обеда, после обеда - ужина, но по крайней мере не голодает. Квартирная плата составляет 70 злотых. Всего 600 злотых. Нет возможности оплатить непредвиденные расходы, топливо, мыло, стирку, болезни, папиросы, сладости. Трудно выкроить из бюджета 150 злотых, даже 10 злотых, когда 50 процентов расходов падает на хлеб. Но бюджет, составленный в начале месяца, к концу его может измениться".

Далее автор показывает, как это происходит. Побочные доходы вдруг упали с 200 до 80 злотых, вспомоществование, получаемое за какие-то довоенные заслуги, исчезло. А расходы вместе с тем увеличились - поднялись цены на хлеб, картошку, топливо, возникла потребность в лекарстве. И вот уже доходы упали на 165 злотых, а расходы возросли на 210. Дефицит - 375 злотых. Как его покрыть? Семья продает за 400 злотых шкаф (одежду развешивают на вешалки по стенам). Но в следующем месяце из мебели продавать нечего. - Как выглядит бюджет, не опирающийся на постоянный доход, не знаю,- пишет в заключение Ружицкий.

Отец семейства, о бюджете которого идет речь, принадлежал к привилегированному сословию служащих юденрата. Многие десятки тысяч семей не имели никаких средств существования. Как же они жили? Об этом рассказывают опубликованные Рутей Заковской школьные сочинения двенадцати - четырнадцатилетних детей, оказавшихся в так называемом полуинтернате.

М.Рубинштейн. Родился в Варшаве. Отец был столяром антикварной мебели. Имел собственную мастерскую на улице Багно... 1 сентября вспыхнула война. Папа перестал работать, но у нас были запасы. В первые дни голода не испытывали. Досаждали только налеты. Целые дни проводили в убежищах. Отец заболел. В последний день войны, во вторник, когда вся Варшава была в огне, мой любимый папочка умирал, лежа на постели. А в среду, когда люди вышли из убежищ, свет для меня померк. В тот день я стал сиротой. Не знали, что делать дальше. Нами заинтересовался домовый комитет. Ежедневно получали обеды и другую помощь. Мамуся моя все продавала из квартиры. Но и это кончилось. Тогда мамуся стала ходить стирать. Платили мало, но мамуся была измучена, силы ее оставили и она перестала работать. Жили только благодаря помощи домового комитета. Но после того, как закрыли район (имеется в виду создание закрытого гетто - М.Р.-3.) комитет перестал нам помогать. Пришла зима. Тогда мы начали голодать. Никто нам не помогал. Мамуся продала свое пальто, а когда стало еще хуже - стол и шкаф, тем более, что шкаф был пустой. И то надолго не хватило. Лежали, как трупы, на кроватях, на ногах и руках раны от холода. Соседи думали, что уже неживы, такие случаи в нашем доме не были новостью. Были моменты, когда я и мамуся были без сознания. Наверное не выжили бы, если не попали бы в клуб (имеется в виду полуинтернат - М.Р.-3.)

Б. Фрилингштейн. Отец мой изготавливал сумочки в Варшаве и хотя не очень-то зарабатывал голода мы не знали, и было нам очень хорошо... После того, как немцы заняли Варшаву, мой отец начал торговать сладостями и частично изготавливал сумочки, а мои братья - одному было 18, а другому 21 год - ходили на "плацувки"(работа на арийских предприятиях за пределами гетто - М.Р.-3.), и было нам неплохо. Но когда закрыли еврейский район, братья перестали работать. Отец начал терять силы и не мог работать. Зимой же, когда мучили морозы, еще работал из последних сил, но голод брал свое. Отец опух, лежал на кровати и не мог встать. Брат записался в трудовой лагерь и уехал. Сейчас он находится в провинции. Несколько недель спустя после отъезда брата мать, которая была болезненная и исхудавшая от голода, умерла, оставив в наших сердцах печаль и траур... Еще не оправились от одного удара, как отец утром в субботу потерял сознание и несколько часов спустя скончался. Скорбь и жалость по родителям и сейчас живет в моем сердце и, судя по всему, большей скорби не будет в моей жизни. Несколько недель спустя после смерти отца домовый комитет поместил меня и сестру в полуинтернат.

М. Мандра. Перед войной жили в Липне. Было нам очень хорошо. Ходила в школу. 1 сентября 1939 года вспыхнула война. До 23 марта 1940 года жили еще в собственной квартире. В среду 23 марта 1940 года нас выгнали из квартир. Староста созвал всех мужчин на площади и устроили обыск. Тех, кто имел при себе деньги, забрали. В четверг утром дан приказ, чтобы все евреи оставили город. Одни поехали в Блонск, другие - в Казьминск, но большинство - в Варшаву. Жители Варшавы приняли нас плохо. Три ночи скитались по улицам пока нам не сказано было - пойти на Дзельну, где был пункт беженцев. Отец снова достал работу и зарабатывал, как стекольник. Мамуся ходила убирать и стирать. У отца не было больше сил работать. Продавали вещи. Мамуся переутомилась и заболела, и никто у нас уже не зарабатывал. Хотели помочь своей любимой матери, продали оставшиеся вещи и остались без одежды и обуви. Как-то моя старшая сестра подошла к постели матери и хотела дать ей поесть, но мамуся уже не могла глотать. Мы, дети и сестры матери, начали кричать и плакать, но это уже не помогало. Остались мы с сестрой сиротами. Горевали четыре недели. Ничего не хотели делать и опустили во всем. После этого несчастья тетки постарались поместить меня в полуинтернат, где четыре раза в день кормят. Но о нашем горе никогда не забываю.

Г.Шульман. Перед войной, когда была моя дорогая мамуся, было мне хорошо, ибо мамуся работала, а я ходил в школу и учился. Отец умер еще перед войной, а когда вспыхнула война и умерла моя дорогая мамуся, я начал бродить по улицам и опух. Одна женщина опекала меня и постаралась, чтобы меня приняли в полуинтернат. Сейчас мне хорошо, из меня хотят вырастить умного человека.

Е.Рудек. Перед войной было неплохо. Отец работал, зарабатывал на содержание семьи. Я ходила в школу до пятого класса. Школьные годы бежали быстро и приятно. Так бы и ходила в школу, если бы не война, которая вспыхнула 1 сентября 1939 года. Несчастливая это дата. Дата нашей муки... С того времени в нашем доме началась нужда. Отец перестал зарабатывать. Все, что имели в доме, продали. Но уже не было и вещей на продажу. И тогда в нашем доме начался голод. Отец не смог этого выдержать и 29 апреля 1941 года умер."

Эти школьные сочинения открывают многое. В причудливом смешении детскости и взрослости, в амальгаме выражений, позаимствованных из книг - "оставив в наших сердцах печаль и траур" - и невыносимо достоверных деталей быта проступает не только мироощущение подростка, но и воссоздаются типические черты существования средней семьи в условиях гетто.

Словно по дантовым кругам ада ходят люди, опускаясь все ниже и ниже - к самому дну - смерти..

Воспоминание о довоенном житье подернуто ностальгической дымкой: потерянный рай - родители работали, дети учились, ели досыта, жили счастливо. Первый трагический рубеж - "вспыхнула война". Все авторы сочинений употребляют именно эти слова.

Едва успели привыкнуть к новой реальности - второй трагический рубеж: закрытие гетто. И как следствие - потеря работы кормильцем. Далее все в ускоренном темпе - продажа вещей, голод, болезни, взрослые слабеют быстрее, чем дети, видимо, стремятся отдать свой кусок хлеба ребенку. Опухание. Бессильное лежание. Сиротство. Помощь домового комитета. И как спасение - интернат.

Разумеется, мы имеем дело с детьми, к которым пришла-таки помощь. Многие их сверстники погибали, не дождавшись благотворительного даяния.

Гетто было пронизано сетью всевозможных общественных организаций, которые при всех своих недостатках - обилии совещаний, межпартийных дразгах - все-таки действовали.

Они создавались, как правило, в межвоенное двадцатилетие и, располагая немалыми средствами, сумели занять весьма важное место в жизни польских евреев. Теперь в их деятельности был надрыв, ощущение последнего часа, порога между жизнью и смертью. Центр опеки сирот (Центос) вытаскивал детей из ледяных могил, в которые превратились вымершие квартиры, и отправлял их в детские дома. Им

нередко приходилось спать вповалку на голых досках, с которых по утрам смывали экскременты. Но там давали хлеб, суп - и как это было много!

Работница одного из таких домов Рахиль Клейнер описывает, как ценой невероятных усилий удалось наладить более или менее нормальную жизнь, вызвать улыбку на лицах детей. Организовали хор, инсценировали стихотворение Корнея Чуковского "Об украденном солнце" в переводе Броневского (в этом сюжете дети ощущали подтекст: крокодил Гитлер украл солнце, птицы и звери остались в темноте). Удалось даже с помощью юденрата раздобыть для всех новые рубашки.

Одевая эту рубашку, 14-летний туберкулезный мальчик, кашляя, мрачно улыбнулся: "Это наш тахрихим" - саван в переводе с еврейского. Он оказался прав. Месяц спустя в этой рубашке он ушел в детдомовской колонне на сборный пункт для отправки в Треблинку.

Топорол - товарищество поддержки земледелия - пытается создавать огороды в развалинах разбомбленных домов, оберегает каждое дерево для задыхающихся в каменной тюрьме людей. Но что делать Тозу - товариществу охраны здоровья - в разгуле сыпняка, среди умирающих от голода и холода людей, без лекарств, без перевязочных материалов - разве что пытаться защитить жителей домов от бандитизма ганцвайховской санитарной службы.

У всей этой общественной пирамиды есть опора, массовая база - домовые комитеты. Это явление особое, свойственное в столь широких масштабах, пожалуй, лишь варшавскому гетто - самому крупному в оккупированной Европе.

Созданные в сентябре 39-го в осажденном городе для защиты от налетов авиации, они остались во всей последующей жизни гетто до самого конца. Остались как весьма действенная форма низового самоуправления, объединения людей для взаимопомощи - материальной, духовной, социальной. В условиях повальной безработицы, нивелировки культурных, а подчас и имущественных различий дом становился главной ареной жизни. Люди объединялись из страха перед одиночеством, с одной стороны, и коллективной ответственности перед немцами, с другой. Характерно, что в самых трудных, морально неразрешимых ситуациях - уличной ловли людей для отправки в трудовые лагеря, непосильных контрибуций, сбора меховых вещей для нужд немецкой армии - юденрат каждый раз пытается переложить груз ответственности за эти кампании на домовые комитеты. И это, естественно, только усугубляет и без того обостренное противостояние между властью и обществом.

В 41-м в гетто насчитывалось 1100 домовых комитетов. Практически все жилые здания имели такое самоуправление. И Бог мой, каким активным оно было, каким тяжким грузом ложились на жильцов кампании, проходившие под лозунгами: "Помощь больному", "Тарелка супа для голодного", "Помоги ребенку". Или такой, например, девиз: "Не жертва, а складчина, не милостыня, а обязанность!" Казалось, весь общественный темперамент нации уходил в эти страстные призывы о взаимопомощи.

Результаты, с точки зрения нормального существования, были невелики. Так, в праздник хануки 1940 года комитет дома 24 по улице Лешно распределил среди голодающих жильцов 40 килограммов картофеля, 4,5 килограмма жиров, 2,3 килограмма крупы. А на еврейский новый год Рош-Хашана раздал нуждающимся по килограмму хлеба дополнительно. Это на 58 человек. Но картофеля или ложка крупы в тех условиях значила многое.

А детские уголки, где тепло, где игрушки и даже кусок хлеба? А концерты, любительские спектакли, литературные чтения? Находились же организаторы этого пира культуры посреди апокалипсиса, находились и слушатели, участники!

Муни - Эммануил - с нами Бог

Мой друг, американский историк Грегори Фриз всю жизнь изучает русскую православную церковь как социальный слой. Я спросил его, почему именно клир он избрал объектом своих штудий, а не крестьянство или купечество?

-А где ты найдешь столь документально богатую социальную группу? - ответил он. - Попробуй узнай что-либо в архивах о крестьянах. А здесь все документировано - епархия это организация, где фиксировалось каждое проявление жизни.

Может быть, еще и потому так остр и неизбытен интерес историков, писателей и других профессиональных исследователей человеческих сообществ к жизни и гибели варшавского гетто, что это одна из наиболее документированных массовых трагедий.

Продолжая ранее высказанную мысль об эксперименте, который ставит Бог над людьми, думаешь и о том, что он же позаботился, чтобы все детали этого эксперимента дошли до последующих поколений, послав в гетто профессионального историка, всю жизнь исследовавшего прошлое варшавской общины и организовавшего профессиональное изучение ее гибели. Бог оберегал его, пока эта миссия не была закончена, а потом, когда последние обитатели еврейской Атлантиды ушли в воду времени, позволил ему разделить их участь.

Про Эммануила Рингельблюма можно сказать, что он был типичным представителем еврейской интеллигенции Польши. Все в нем характерно для этого социального слоя - восприятие мира в духе исторического детерминизма, вера в идеалы, социалистическое мышление, повышенный общественный темперамент.

Жизнь он провел в интеллектуальной элите польского еврейства, среди функционеров социалистических и сионистских партий, учителей, журналистов, выходцев из польско-украинских и литовских местечек.

Уже после разгрома восстания, спасаясь, как притаившийся зверь, на арийской стороне в бункере в предместье Варшавы, он с лихорадочной конспективностью составляет жизнеописание - коллективный некролог своего окружения. 80 биографий историков, писателей, педагогов, адвокатов...

Рассказывая о близком друге, одном из директоров Джойнта Ицхак Гитермане, застреленном на пороге дома, он пишет: "Во время своего последнего визита ко мне он рассматривал списки погибших и собственноручно вписал новые имена. Теперь он фигурирует в этом списке, как и его собственная подпись - Ицхак Гитерман. Моя рука дрожит при этих словах. Ибо, кто знает, не будет ли в списке будущих историков, просматривающих эти листы, и мое имя - Эммануил Рингельблюм. Что ж, мы привыкли к смерти, и она не производит на нас впечатления. Но если кто-нибудь из нас переживет войну, он будет ходить по свету, как человек с другой планеты. Если мы останемся, это будет чудо или ошибка."

Он родился в 1900-м в Галиции - юго-западном регионе Украины, где сейчас расположены Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Эти земли, всю свою историю переходившие из рук в руки - то в австрийские, то в польские, то в украинские - были одним из крупнейших центров восточно-европейского еврейства. Здесь все его религиозно-политические страсти - сионизм, хасидизм, социализм - кипели особенно бурно.

В родном для Рингельблюма городке Бучаче, бывшем долгое время частным владением Потоцких, евреи составляли больше половины населения. Развивавшаяся в окружении польской, немецкой и украинской культуры и вместе с тем не порывавшая со своими национальными традициями, молодежь галицийских местечек, с переходом региона после Первой мировой войны из Австрии в Речь Посполитую, устремилась в польские города.

То же самое происходило и в России. И здесь волна юных революционно настроенных евреев хлынула в города с тем, чтобы разделить затем судьбу своего поколения - войны, лагеря, расставание на старости лет с иллюзиями молодости.

В шестидесятые годы я познакомился с первым в своей жизни американцем. Это был тридцатилетний литератор и преподаватель русского языка из Лос-Анджелеса по имени Ричард. Мы очень быстро и бурно сошлись, целыми днями бродили по московским улицам, я ввел его в свою компанию, словом, завязалась обычная молодая дружба.

Будучи не в состоянии определить его национальность и почему-то стесняясь спрашивать напрямую, я как-то за столом, чокнувшись, тихонько сказал: "Ле хаим". Это было как пароль. Он восторженно и рассказал, что его отец в начале двадцатых годов

уехал из Гомеля в Нью-Йорк. Я же не без грусти поведал, что мой отец в те же двадцатые годы перебрался из Витебска в Москву. И будь это наоборот - его отец - в Москву, а мой - в Нью-Йорк, он бы принимал меня в Москве, а я, возможно, был бы счастливее. Да и судьба моего отца сложилась бы по-другому.

Примерно в то же самое время, что наши с Ричардом отцы отправились, кто в Нью-Йорк, а кто в Москву, Рингельблюм перебрался в Варшаву. Его учителями в университете были знаменитые еврейские и польские историки Меер Балабан, Ицхак Шипер, Марцелий Хандельсман.

Трагедии двадцатого века не имели своих Несторов, в тиши монастырей пишущих летопись буйного и страшного времени. Историки европейского еврейства погибали в гетто, в лагерях уничтожения.

Автор "Всемирной истории евреев", инициатор национального движения духовной автономии восьмидесятилетний Шимон Дубнов, как гласит легенда, шел на смерть в колонне узников рижского гетто, проклиная смирение своего народа, веками соблюдавшего непротивленческую традицию "идише шем" - самопожертвования ради господ.

Основоположник еврейской историографии Меер Балабан умер от инфаркта в варшавском гетто.

Блистательного Ицхака Шипера - историка-экономиста и политического деятеля сионистского толка - расстреляли в Майданеке.

Ректор варшавского университета Марцелий Хандельсман был, собственно, польским историком. Но, будучи председателем общества друзей Варшавы, содействовал выходу книги Рингельблюма по истории еврейской общины Варшавы, которая в начале тридцатых вызвала нападки антисемитской прессы.

Его еврейское происхождение висело над ним как проклятье. Ни боевое прошлое ( он воевал в польских легионах в Первую мировую), ни высочайший научный авторитет (он воспитал целое поколение польских историков) не спасали его от травли националистов. Почти всю войну он скрывался на арийской стороне, но в конце концов был раскрыт и погиб в концлагере.

В этом созвездии знаменитостей имя Эммануила Рингельблюма казалось малозаметным. Он был сравнительно молод, специализировался в узкой области - истории варшавской общины, хотя периодически и выступал с научными статьями на другие темы, и к тому же слишком много времени отдавал общественной деятельности - входил в актив партии левых поалей-сионистов, редактировал кооперативные журналы, сотрудничал с Джойнт. Долгие годы он учительствовал ради хлеба насущного и только перед самой войной перешел на штатную работу в Джойнт.

В начале 1939 года он возвращается из Женевы со Всемирного сионистского конгресса, пробирается в Польшу кружным путем через Италию, Югославию, Венгрию, взволнованный событиями, пророческой речью Вейцмана, полной ужаса за судьбу европейского еврейства. Он едет через клокочущую Европу навстречу своему звездному часу.

В гетто пишут все. Национальное свойство, выраженное в иронической российской поговорке: "Каждый еврей - прирожденный русский литератор" - проявилось там в огромной дневниковой, мемуарной литературе. Сказывалась и концентрация интеллигенции (одних журналистов 170), раннее рассеянной по Варшаве и другим окрестным городам, а теперь загнанной в гетто, оставшейся без привычных занятий и поставленной в экстремальные условия. Чувство самовыражения мощно прорывалось сквозь страхи, голод, физические и душевные страдания, усугублялось стремлением оставить для потомков след этих страданий, след общей трагедии народа и своей личной судьбы.

Разумеется, все это началось не сразу. В первые месяцы страх парализовал все проявления духовной жизни. Боялись попавшей к немцам картотеки польской охранки, где имелись досье на еврейских общественных деятелей. В преддверии обыска жгли социалистическую литературу, в огонь попадали сочинения немецких писателей-эмигрантов Томаса и Генриха Маннов, Фейхтвангера...



Обыски действительно начались. Но искали не книги и записи, а золото и драгоценности. Аресты и расстрелы производились, но террор был направлен не на отдельные личности, а на целые социальные слои, арестовывали по спискам корпораций, без разбора, независимо от убеждений и политической ориентации.

Постепенно, особенно после создания закрытого гетто, возникало убеждение, что немцам в сущности безразлично, о чем евреи говорят в своей среде. И уж тут общественный темперамент нации начал брать свое. Каждый домовый комитет, каждая народная кухня превращались в клуб. Почти в открытую распространялись издания всевозможных политических партий. Дискуссии, прогнозы, публичные чтения. В этих условиях и был создан центр документации "Ойнике шабес". Рингельблюм вел дневник с первых дней оккупации. Его положение руководителя общества социальной взаимопомощи, ежедневное общение с десятками людей не только из Варшавы, но и из провинции создавали прекрасные возможности для наблюдения. Он, как никто, сознает значение этих записей. Постепенно вокруг него собирается несколько десятков таких же фанатиков документального отображения жизни. Их собрания уже не могут проходить незамеченными. И Рингельблюм легализует подпольный центр, регистрирует его в юденрате как религиозное общество "Радость субботы" - "Ойнике шабес".

Теперь уже подключается Джойнт, финансовая основа деятельности которого подорвана изоляцией от США, но остатки средств первое время еще есть. Выделяются денежные премии для проведения конкурса на лучшую исследовательскую работу. В результате появляются монографии о трудовых лагерях, о жизни семей, о еврейском театре. Разрабатывается план фундаментального исследования еврейской жизни за два с половиной года войны объемом в сто печатных листов.

Задача ставится грандиозная. Серия монографий, посвященных разным реалиям действительности - коррупции и деморализации, школе, еврейско-польским отношениям, молодежному движению, положению женщин, беженцам... Эдакий монументальный памятник, энциклопедия гетто.

Бог не отпустил им времени для реализации этого плана. Но с какой страстью они собирали материалы, с какой фанатической целеустремленностью, преодолевающей инстинкт самосохранения, искали рукописи, брали интервью, записывали последние слова умирающего от сыпного тифа, отдавали последний кусок хлеба голодному беженцу, прорывались сквозь полицейские блокады.

Август 42-го. Казалось бы, конец всему. Массовая депортация. Рингельблюм бежит по пустынным улицам гетто. Вбегает в огромный двор многоэтажного дома, в этот городской колодезь, обычно звенящий звуками жизни, а сейчас мертвенно тихий, глядящий пустыми окнами покинутых квартир. Все увезены в Трешлинку. В этой кричащей тишине он носится по подъездам, отыскивая нужную ему квартиру среди десятков других с распахнутыми дверями, с перевернутой мебелью и разбросанными вещами. Где-то в одной из комнат нужно найти тетрадь увезенного еврейского писателя. Еще один документ для архива.

"Каждый из сотрудников "Ойнике шабес", - запишет он вечером в дневнике, - знает, что его страдания, усилия, риск, которому он подвергает себя, служат возвышенному идеалу. В дни, когда будет завоевана свобода, общество оценит его преданность."

Какая трогательная вера в обязательность воздаяния, в поступательный ход истории! "Всесторонность - главный принцип нашей работы, - пишет он на другой странице, - объективность - второй принцип, которым мы руководствовались. Мы стремились, чтобы в наших работах была отражена вся правда, какой бы горькой она ни была. Фотографии наши верные, не ретушированные."

Они записывали редкие факты гуманного отношения немцев к евреям, старались не упустить ни одного проявления помощи польских семей.

Это потом, годы спустя - аллея праведников на иерусалимском холме в Яд-вашем, теплый ветер шевелит листву деревьев, вереница туристов, панорама вечного города. А тогда - выморочная ледяная берлога беженского пункта, шепот ослабевшего от голода человека, называющего имя того, кто ему помог, уберег, спас, рискуя собственной жизнью.

Они проводили анкеты, упрашивали людей писать, добывали тем, кто брался за перо, лишнюю хлебную пайку из общественных фондов. Они записывали показания умирающих и умирали сами, заразившись сыпным тифом.

"С дрожащим сердцем мы стояли у постели больного мариупольского рассказчика, который после первого сеанса заболел тифом..."

По специально разработанным вопросам писались истории местечек. В результате образовывались целые монографии, составленные из показаний разных авторов. С эпическим спокойствием повествовалось в них о жизни и гибели старинных еврейских поселений. То была последняя весть от ушедших в небытие миров.

Они предпринимали расследования тайн гетто. Историк и педагог Илья Гутков сумел проникнуть в среду валютчиков, день за днем фиксировал колебания курса доллара, узнал, что в гетто, на Павьей, под боком у гестаповской тюрьмы изготавливают золотые доллары и русские царские рубли.

Вместе с тем, их интересовал микрокосм жизни обычного варшавского двора. Историю одного такого двора составил журналист Перес Опачинский. А была еще монография о еврейских семьях времен войны, написанная поэтессой Генриэттой Лазаверт.

Как они сохранили все это? Как архив Рингельблюма дошел до наших дней? В августе 42-го, в разгар массовой депортации, когда стало ясно, что гибель гетто неотвратима, решили спрятать часть документов в подвале школы на Новолипске 68. Другую часть зарыли несколько месяцев спустя на Свентоежской.

В ноябре 46-го в хаосе битого кирпича, который представляла собой территория гетто, начались поиски архива. По едва уловимым признакам определяли местоположение домов, рыли глубокие колодцы. 19 ноября кирка зазвенела, наткнувшись на металл. На поверхность были извлечены молочные бидоны, жестяные ящики. В одном из них нашли завещание людей, зарывавших архив. 19-летний рабочий Давид Грабер писал: "Соседняя улица уже захвачена. Мы готовимся к худшему, спешим. Только бы успеть. Мы уверены: все это кусок истории, и он будет стоить гораздо дороже, чем жизнь каждого из нас."

Портрет Рингельблюма стоит на моем рабочем столе. Строгие черты лица, холодновато отрешенный взгляд из-под широкого лба, черный костюм, рубашка с галстуком - типичный облик интеллигента тридцатых годов. Перечитывая его дневник, я все пытаюсь вообразить себе жизнь его окружения в эти три года.

Вот он описывает последнее собрание актива левых поалей-сионистов в марте 42-го, за три месяца до депортации. Собрались в помещении партийной кухни, где получали пайки, на улице Свободы 96. Расселись за длинными столами за скромной вечерней трапезой. Пытались шутить, вспоминали прошлое, стараясь не обращать внимания на выстрелы, что слышались у расположенной неподалеку стены гетто. Учителя, профсоюзные работники, журналисты, деятели молодежного движения и ветераны, они справляли свою тайную вечерю, не зная еще, что она последняя.

Из недр этой партии некогда вышли Бен-Гурион и Бен-Цви. Сочетание идей социализма и сионизма, социальной революции и национального единения на земле Сиона, положенные в основу партийной программы, рождало гремучую смесь, время от времени своими взрывами сотрясавшую еврейский мир. Одни поалей-сионисты, разделяя коммунистическую идеологию, уезжали в Россию, другие отправлялись в Палестину, третьи - в США. Эти оставались в Польше. Здесь им предстояло дожидаться своего конца, и это ожидание окрашивало собрание тайной горечью, маскируемой нарочитой жизнерадостностью.

Громче всех смеялся и шутил их лидер Шахнэ Саган. Спустя три месяца этот высокий, плотный, громогласный человек, подходя к подъезду своего дома, увидит хвост уходящей на Умшлагплац колонны, в которой шла его семья. Он догонит колонну, встанет в строй, возьмет за руки детей и пойдет с ними на смерть. Рингельблюм дружил с ним всю жизнь.

Его близким другом был и Ицхак Гитерман, один из директоров польского отделения Джойнт.

Рассказано ли где-либо в российской литературе об этой организации, которой, как ребенка букой, пугали русский народ в эпоху дела врачей. А ведь она дала уникальный пример трансконтинентальной национальной взаимопомощи.

Джойнт - по-английски - объединение. Американский объединенный еврейский комитет по распределению фондов - таково его полное название. Он вел огромную работу по социальному развитию нации и оживлению еврейской экономики в Восточной Европе в межвоенное двадцатилетие. Направляя туда ежегодно десятки миллионов долларов, Джойнт использовал для их распределения местные кадры. Польское отделение возглавляли Гитерман, Гузик, Нойштадт. Потеряв источники финансирования, они пытались одалживать деньги у богатых евреев с гарантией возврата в долларах после войны.

У людей этой среды был дар превращать все, к чему бы они ни прикасались, в объект общественного служения. Рингельблюм, если уж учительствовал, то создавал еврейскую школьную организацию, если занимался историческими штудиями, то учреждал еврейскую историческую комиссию, кружок молодых историков, общественный институт.

Вера в необходимость консолидации, социальной взаимопомощи у них была равна разве лишь уважению к печатному слову, которое одно только и увековечивает наше существование, оставляет след для потомства. И то, и другое - типично еврейские черты, предопределившие главные занятия Рингельблюма в гетто - "Ойнике шабес" и общество социальной взаимопомощи.

Это было у них в крови - взять у богатых и отдать бедным. Рингельблюм всерьез сетовал в дневнике на эгоизм еврейских богачей, которые не хотят платить высокие налоги и пускать в свои квартиры беженцев. Саган верил в неизбежность прихода мировой революции. Вторая мировая война должна была по его мнению покончить с капиталистическим порядком, на руинах которого возникнет новый справедливый мир. Сколько поколений предков, лелеявших в своих душах мессианские чаяния, должны были стоять за такой необоримой верой в наступление социальной справедливости! Но если нельзя помочь всем, то вполне допустимо оберегать своих. Отсюда - партийные кухни, пайки для актива, для представителей своего цеха - писателей, актеров, художников. Мотив такой: надо спасти прежде всего цвет нации, ценных людей. Рингельблюм бесстрашно ходит на Умшлагплац "отмазывая" от Треблинки таких людей. Еврейская полиция его не трогает, догадывается или знает, что за ним стоит определенная общественная сила.

Характерно, что молодежь не разделяла стремления спасти избранных. Когда к еврейской боевой организации обратились за содействием для переброски на арийскую сторону группы общественных деятелей, Анилевич отказался принимать участие в этой акции.

Черняков одно время пытался привлекать общественных деятелей к работе юденрата с тем, чтобы хоть как-то очистить там атмосферу. Саган курировал отдел трудовых лагерей, журналист Аккерман возглавлял похоронную службу, адвокат Бойнберг - жилищный отдел. Но одни вскоре уходили, другие превращались в декоративные фигуры. Инстинкт самосохранения, выживания собственного, а не коллективного, общественного, повальная коррупция - все это оказывалось сильнее любых моральных установлений. Власть была не про них. Их уделом оставалась оппозиция.

Как проходили дни Рингельблюма в гетто? В сущности, также как и в довоенные времена - в научной работе, в общественных делах, в политических дискуссиях - только на ином градусе драматизма, в балансировании на краю пропасти.

Возглавляемое им общество социальной взаимопомощи, расположившееся в здании института иудаики на Тломацкой, превращается в клуб интеллигенции. По субботам здесь читает свои сочинения писатель Гильберт. Здесь проходит чтение известного фольклориста Шмуэля Лемана. Долгие годы этот человек колесил по восточно-европейским местечкам, собирая идишистские поговорки, шутки, сказания, песни. Его собрание было подлинным кладом для целого поколения еврейских историков, писателей, педагогов. И вот весь цвет еврейской культуры - 500 человек - собрался в большом зале института, чтобы отметить 55-летие Лемана.

Но здесь же собирался и актив молодежного подполья, те самые парни и девушки, которым весной 43-го суждено будет на баррикадах восстания отстаивать достоинство нации с оружием в руках.

Рингельблюм пережил восстание, сумел с помощью друзей из польского подполья бежать из Майданека, куда его вывезли весной 43-го, около года укрывался в бункере, вырытом в саду в варшавском предместье, и в марте 44-го был раскрыт, отправлен в гестаповскую тюрьму Павиак и там расстрелян вместе с семьей и польскими хозяевами.

Его выводили из бункера 7 марта. В саду оседал, таял и чернел снег, сладко дул сырой весенний ветер. Ему было 44 года. Рядом шли жена и десятилетний сын.

В дневнике, написанном, возможно, из конспиративных соображений в виде писем к отцу, друзьям, он иногда упоминает о себе в третьем лице - Муни. Муни - Эммануил - в переводе с библейского иврита - с нами Бог. Был ли с ним Бог тем мартовским днем и потом, когда он стоял в Павиаке под дулом автомата?

## Москва-67

Мне подарили двухтомник Рингельблюма в 67-м в Варшаве, в Еврейском историческом институте. Там были дневники, биографии, очерк польско-еврейских отношений. Но тогда я еще не знал этого. Опасливо (что же я буду делать с таким недоступным богатством?) перелистывал страницы, заполненные "квадратными буквочками", под доброжелательными и чуть ироничными взглядами сотрудников института - каждый из них, как правило, владел тремя-четырьмя языками.

- Знаете, а ведь мы находимся в единственном оставшемся после гетто здании - института иудаики. - сказала Рута Заковская. - В этой комнате находилось общество социальной взаимопомощи и за этим столом работал Рингельблюм.

Стол был длинный, покрытый наверное уже после войны зеленым пластиком с кружками от чашек горячего кофе, который то и дело пили сотрудники.

Что и говорить, тогдашние мои знания о предмете, которым я собирался заниматься, были поверхностными. Легче всего усваивались легенды и слухи, окутывавшие жизнь гетто. Перепроверять факты по разным источникам я еще не умел и не мог. То было время эйфорического восприятия материала, когда каждая узнанная история ужасала и волновала воображение.

Скажем, рассказ о мстительнице Тосе Альтман, которая застрелила гестаповского офицера в его кабинете и скрылась. Или о записке, оставленной Черняковым после самоубийства, где имелись всего три слова: "Всех до единого." И Тося Альтман существовала, входила в боевую организацию, только факт убийства офицера нигде не подтверждался. И Черняков оставил даже две записки, только с другим текстом (я приводил его выше).

У себя в Москве я доставал книги на польском, французском, немецком и просил людей, знающих языки, начитывать мне переводы на магнитофон. Это были разные люди. Пожилая женщина-врач, прошедшая войну и не раз выходившая из окружения с оружием в руках. Молодой переводчик, ценитель Джойса и Пруста, в раннем детстве вывезенный из осажденного Ленинграда по ладожскому льду полумертвым от голода. Восьмидесятилетний старик, организатор бундовских кружков на западе России, участник еврейской самообороны против черной сотни.

Студией нам служила то тесно заставленная комнатка в арбатском переулке, то огромная коммунальная квартира на Чистых прудах. И звуки окружавшего нас быта, фиксируемые магнитофоном, входили в запись. Голоса детей, вернувшихся из школы, и обрывки чужих телефонных разговоров - о театральной премьере, об очереди за дамскими сапожками, - шум летнего дождя за окном. Пестрые звуки нашего мира, трепет и гул нашей жизни служили фоном для рассказов о гибели целого народа.

Двухтомник Рингельблюма ставил все на более серьезную основу. Это был основной источник для всех специалистов по гетто. И переводить его предстояло не в отрывках,

а в полном объеме - две эдаких увесистых книги. Польский я уже начал изучать, но идише... Здесь ушли бы годы.

Обзвонив друзей, я вышел на некоего отставного профессора. Профессор был стар и болен. Родившись в Одессе и в юности принадлежав к сионистскому движению, он всю оставшуюся жизнь преподавал политэкономии, изоцряя свой наследственно склонный к талмудическим толкованиям ум в лабиринтах этой науки, специально созданной для экономического оправдания социализма.

В 40-е его сослали в Псков в педагогический институт. Была такая форма ссылки еврейской интеллигенции в провинцию. Одновременно укреплялись квалифицированными кадрами местные вузы. Но после смерти Сталина он вернулся в Москву и теперь, выйдя на пенсию, переживал возрождение национального мироощущения своей юности, переводя для себя с иврита изданную в Израиле книгу о библейских пророках.

Идише он знал еще лучше, чем иврит. Мы быстро сошлись, сговорились о весьма умеренной плате. Я привез к нему магнитофон (тогда они были, не в пример нынешним миниатюрным "Сони", довольно громоздкими), оставил книгу, запас пленки и дважды в неделю забирал надиктованное им, расшифровывая у себя с другого магнитофона на машинку.

Дело подвигалось, рукопись росла и пора было думать об оплате. Жил я не то, чтобы бедно, но как и другие - от зарплаты к зарплате. Все, кто меня окружали имели дополнительные источники заработка, к которым они прибегали в случае нужды. Кто переводил, кто шабашничал на стройке во время отпуска, кто давал уроки. Журналистам было проще - гонорар. "Хочешь заработать - пиши",- говаривал отец - старый журналист в начале моей профессиональной карьеры. Я только что "выписал" себе кооперативную квартиру, год сидел ночами, публикуясь всюду, где мог - от "Нового мира" до "Пионера". В данном же случае гонорар требовался хотя и не очень большой, но быстрый. И ничего не оставалось, как прибегнуть к одному малопочтенному способу.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Особенность российской общественной жизни всегда заключалась в том, что каждое последующее поколение не могло понять, как и чем жило предыдущее. Перелистывая газеты тридцатых годов, я с ужасом думал, как можно было существовать в этом смешении чудовищного славословия и свирепого террора. Но ведь и молодые российские журналисты девяностых не могут понять, как мы переносили ту смесь недомолвок и демагогии, которая заполняла издания шестидесятых.

Слово "рынок" считалось едва ли не ругательным. Брошюра Геннадия Лисичкина "План и рынок", где с положенными по ритуалу ссылками на Ленина доказывалось, что эти два понятия не противоречат друг другу, воспринималась как откровение. К слову "предприимчивость" полагалось добавлять прилагательное "социалистическая"

Шла косыгинская реформа - робкая попытка тогдашнего премьера стимулировать промышленное производство рыночными методами. Но вместе с тем продолжало цвести социалистическое соревнование - этот фантазмагорический театр теней, за десятилетия обретший зловещую реальность. Отделы на заводах, институты, журналы, система управления - от ВЦСПС до заводского цеха... И все это рухнуло в одночасье, исчезло, смылось в тартарары, как будто и не было, стерлось из памяти людской.

Только цинизм мог спасти в том мире перевернутых понятий. Веселый, легкий, молодой цинизм. А мы и были веселы, молоды и циничны.

Я заведывал тогда отделом промышленности московской городской газеты. Мы называли его починой мастерской, так как в нашу обязанность входило придумывать почины, считавшиеся важным элементом социалистического соревнования. Выдумывалась некая формула, скажем: "С помощью научной организации труда к высшей эффективности производства!" Что это такое, никто толком не понимал. Да и не надо было ничего понимать. НОТ - научная организация труда служила модной общественной игрушкой и считалось, что мы таким образом доводим ее до каждого рабочего места.

Затем режиссировался целый спектакль. Брели какого-нибудь передового рабочего, который обращался к своим собратьям с этим призывом. Они откликались, делали расчеты, проводили собрания, принимали обязательства - словом мельница работала... Зачем, почему - никакой здравый ум не поймет.

Помню я пришел под утро домой со свежей, только что изготовленной газетой, украшенной этим призывом: "С помощью НОТ к высшей эффективности производства!" Моя тогда еще молодая жена проснулась, увидела газету, прочитала призыв и сказала: "Вы теперь их учите играть на фортепьяно?" - Я не понял. - "Ну, как же, с помощью нот," - и она пошевелила в воздухе пальцами, изображая фортепьянную трель. "НОТ - это не ноты, а научная организация труда", - наставительно разъяснил я. - "А-а, вот оно что", - сказала жена и заснула крепким молодым сном.

Так вот, возвращаясь к нашему основному сюжету, скажу, что самым быстрым и легким способом дополнительного заработка считалось изготовление брошюры о соревновании. И мы изготовили ее с моим другом и заместителем (в одиночку такое дело делать скучно), вырезая из газеты отрывки статей и соединяя их мостами-вставками. Рукопись отправили в издательство, а вскоре я смог вручить моему профессору конверт с деньгами.

Таким образом, цель была достигнута. Папки с переводом двухтомника Рингельблюма лежали на моем столе. К тому времени я уже в какой-то мере владел польским, во всяком случае читал книгу за книгой, работал с привезенными из Варшавы журналами Еврейского исторического института. Но чем глубже я окунался в тему, тем больше ощущал свою неполноценность. Невозможно было понять менталитет обитателей гетто без знания национальной культуры, религии, истории - всего того, что составляет еврейскую цивилизацию.

Главный источник здесь - выпущенная перед Первой мировой войной в Петербурге русскоязычная еврейская энциклопедия. Я неоднократно видел в московских домах разрозненные ее тома, листал их, поражаясь глубине и полноте этого свода знаний о еврействе, естественно, мечтал иметь его в полном объеме, ходил по букинистам, опрашивал знакомых, но тщетно - то был раритет.

И вот как-то мой сослуживец сказал, что знает человека, который продает еврейскую энциклопедию. Об этом сослуживце - звали его Яков Ильич - надо говорить особо. Мы познакомились давно, когда он работал редактором многотиражки крупного военного завода, расположенного на московской окраине. Как-то он показал мне подшивку своей газеты и, полистав ее, я понял, что ему удалось создать иллюзию подлинного общественного центра этого жесткого, засекреченного заводского мира. На газетных страницах люди искренне и умно обсуждали и заводские, и семейные дела, жили полной и интересной жизнью.

Он вообще был великий иллюзионист. Его визиты на московские заводы, куда он приходил уже как работник партийного отдела городской газеты, вызывали у партийных секретарей счастливую улыбку. Прожженные мордовороты, погрязшие в бюрократических интригах, они испытывали состояние близкое к эйфории при виде этого худенького, сутулого пожилого еврея с грустными, опущенными долу глазами и вечно дымящимся в руке "Беломором".

Его появление означало для них знак судьбы, ибо их завод превращался в арену блестяще поставленного спектакля, где рабочие обладают государственным мышлением и полны заботы об общественном благе, а начальники мудры, дальновидны и демократичны. Удачное изображение такого спектакля на страницах газеты предвещало рывок в карьере партийного секретаря. Сам же Яков Ильич не получал ничего, кроме своей скромной зарплаты и благодарностей редактора. Дома его ждали жена и сын. Их тяжелые болезни составляли его вечную муку.

Мы приятельствовали. Жившему в нем национальному чувству ничуть не мешали партийные игры, в которые он так успешно играл с молодых лет. Он-то и рассказал мне историю мужа своей сестры, всю жизнь читавшего еврейскую энциклопедию. Умирая, он завещал жене передать ее в хорошие руки.

- Как же мне доказать, что у меня хорошие руки? - растерянно спросил я. Яков Ильич лукаво усмехнулся: "Поехали. Поговорите с ней."

На всякий случай я взял фотографию своего пятилетнего сына. Моя теща, такая же старая еврейка, как та, к которой мы ехали, недавно водила его в фотоателье, нарядив в кокетливую беретку и яркий шарф. Снимок получился, как в витрине провинциального фотографа: упитанный, холеный, нарядный малыш.

В набитой мебелью комнате нас встретила старая печальная женщина. Я услышал уже знакомую историю о завещании. Что я мог сделать, какие доказательства чистоты своих намерений привести? Рассказать о гетто, о книжке? Поймет ли? Я вынул фотографию сына.

- Какой ребенок! - проворковала хозяйка дома.

- Вы хотите, чтобы этот ребенок был воспитан, как еврей, чтобы он, подрастая, читал вашу энциклопедию?

Конечно, я понимал: это удар ниже пояса. Но надо было действовать наверняка.

- Берите даром,- пылко сказала женщина, открывая дверцу шкафа, где рядом один к одному, потрепанные, зачитанные, но еще в хорошем состоянии стояли все шестнадцать томов.

Это было уж чересчур. Я просил ее назвать цену. Она отказывалась. Наконец, Яков Ильич предложил оценить книги у букиниста с тем, чтобы я выплатил назначенную сумму.

Энциклопедия поселилась у меня на полке. Я присовокупил к ней "Историю" Дубнова, тома Греца, а впоследствии кое что из "Библиотеки Алия" и на долгие годы отправился в путешествие по дорогам еврейской истории. Я плясал вместе с хасидами, верил в приход Мессии вместе с саббатанцами, созерцал величественное здание космогонии Исаака Лурии, приближаясь к конечной и одновременно начальной точке моих странствий - к варшавскому гетто.

Все замыкалось и сплеталось в этих странствиях. Время то раздавалось необъятно, то сужалось, концентрировалось в одной точке, где нет ничего кроме страдания и безысходности. Внуки тянули руки к дедам, и история повторялась, плыла в бликах подобий.

Весенним утром 1993 года я шел по улице восточного предместья Иерусалима с внучкой моего давно умершего переводчика двухтомника Рингельблюма. Стройная молодая израильтянка вела в школу двух своих дочерей. У входа в школу сидел патлатый парень с автоматом на коленях. Он охранял детей от возможного насилия. Этому насилию нет исхода, как нет исхода противостоянию наций, которым оно порождено.

## Семь цветов политического спектра

В политическом смысле гетто являло собой типичнейший сколок еврейской цивилизации, в котором отразились все оттенки духовной жизни нации, осененной в двадцатом веке тенью двух великих бородачей - Герцля и Маркса.

Классические компоненты еврейской ментальности - сионизм, социализм, иудаизм - в тех или иных пропорциях проявлялись в партийных программах, дававших представление о способах реализации национальной идеи.

Я не могу удержаться от соблазна дать хотя бы краткое описание этого политического спектра. Тем более, что русскоязычному читателю он скорее всего неведом. Между тем, речь идет об идеологиях, определявших внутренний мир миллионов людей, рассеянных по континентам, об их надеждах, страстях и конфликтах.

Начнем с левого фланга - с коммунистов. На переднем плане знаменитой скульптурной группы, изваянной сразу после войны Натаном Раппопортом в Варшаве,- памятника героям гетто на улице Заменгофа - мускулистая обнаженная фигура лысого бородатого человека, окруженного юношами и девушками. Считается, что облик этого могучего старика навеян образом Юзефа Левартовского (Финкельштейна), члена ЦК распушенной в 1938 году польской компартии, пытавшегося воссоздать коммунистическое движение в гетто.

Он не мог принимать участия в восстании, так как погиб в Треблинке в августе 42-го. Но в годы коммунистического режима его роль в общественной жизни гетто всячески приподнималась, хотя, собственно-то, и в Варшаву из Белостока он вернулся лишь весной 42-го, взявшись, правда, сразу же за создание антифашистского блока.

Нет надобности теперь впадать в обратную крайность и преуменьшать роль коммунистов в жизни и в восстании гетто. Их боевые группы мужественно сражались, их ячейки были на предприятиях, занимая, как правило, активную позицию в попытках сопротивления.

Организованная в 1918 году в ходе воссоздания польской государственности на базе левых течений социал-демократов и социалистов, эта партия по своему этническому составу на 20 процентов была еврейской. Немало евреев насчитывалось и среди ее лидеров. Они погибали в подвалах НКВД, как Варский и Ленский, или застенках гестапо, как секретарь подпольной ППР Павел Финдер. Они послушно выполняли директиву Москвы о самороспуске и также послушно следовали ее указанию о восстановлении партии уже в оккупированной немцами стране.

Одних из них, как Левартовского, засылали в Польшу с целью организовать вооруженное сопротивление. Без надежных связей и прикрытия, они, как правило, быстро погибали. Другие мирно работали в сибирских городах с тем, чтобы вернуться на родину в обозе советской армии и стать партийными функционерами, прокурорами, судьями, приняв на себя затем гнев толпы и ответственность за преступления режима. Одинокие и оплеванные, они доживали свой век на пенсии, или уезжали с детьми в Израиль.

Всю жизнь они считали себя "поляками еврейского происхождения." Но и для поляков, и для немцев, и для русских они оставались евреями. Пленившись в дни своей юности социалистической идеей, где "несть ни эллина, ни иудея", а лишь великая освободительная миссия пролетариата, они на старости лет осознали себя евреями.

А бундовцы никогда с этим осознанием не расставались. "Бунд" на идише значит - союз. Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России. Ему суждено было стать повивальной бабкой российской социал-демократии - трое из девяти делегатов первого съезда РСДРП принадлежали к Бунду. Но они считали себя евреями и требовали признавать за ними право быть полноправными представителями еврейских трудящихся, что и послужило причиной их обособления от социал-демократов.

С другой стороны, для Бунда не существовало Палестины, иврита - всего сионистского духовного антуража. То был социализм черты оседлости, его предстояло строить не в земле Ханаанской, а в 24-х губерниях Российской империи, куда История загнала еврейскую массу. Строить в рамках идишистской культуры, идишистской народной традиции. Никакого халуцианства - пионерского духа - никакого устремления в Палестину, никаких религиозно-исторических аллюзий. Все - сейчас, здесь, на месте. Их герой - не Иосиф Трумпельдор, погибший в Палестине со словами: "Как сладко умереть за родину", а Бонзя-молчальник - забитый бедняк, Акакий Акакиевич Башмачкин идишистской литературы.

Бунд - это марксистские кружки, отряды самообороны при погромах, создание своих еврейских профсоюзов, борьба за места в парламенте. Конечно же, они были популярны в еврейских массах. В Польше эта популярность достигла пика в предвоенные годы. Бунд имел большинство голосов в Национальном совете еврейских профсоюзов, объединявших сто тысяч рабочих, опережал другие еврейские партии на муниципальных выборах. Он не выдвинул столь ярких личностей, как сионистское движение, но среди его лидеров был мученик совести Шмуэль Зигельбойм, представлявший свою партию в польском эмигрантском парламенте в Лондоне и покончивший жизнь самоубийством в знак протеста против молчания мира во время уничтожения его народа.

Сдвинемся чуть правее по оси национального самосознания - Поалей Цион. Как перекачивается в горле это ивритское - Поалей. Как гордо и многозначно звучит: Цион (Сион) - буквально скала, священная гора, на которой был расположен храм и замок Давида. В каких только сочетаниях не использовалось это слово - в религиозных песнопениях и легендах, в политических декларациях и названиях партий.



Политическому сионизму с самого своего возникновения в конце девятнадцатого века, как массового народного движения, были свойственны центробежные тенденции. Сказывалась ли здесь особенность еврейского духа, замешанного на антиномическом сочетании дисциплины и страстности, коллективизма и индивидуализма, но на каждый серьезный жизненный вызов сионизм отвечал расколом.

Возможно, по-другому и быть не могло, если учесть, что это движение объединяло практически все социальные слои мирового еврейства. Тем не менее, будь то выбор места переселения (Палестина - Уганда), или отношение к культурному наследию, или наконец, восприятие российской революции семнадцатого года - все приводило к ответвлению от основного древа новых и новых побегов - движений и партий.

И Поалей Цион был результатом прививки на это дерево социалистических течений. Он отличался стремлением строить "светлое будущее" не в диаспоре, как у Бунда, а на земле Сиона. Эту прививку в начале века совершил в России блестящий публицист и общественный деятель Бер Борохов. Стремясь найти выход из противоречия между сионизмом и социальной революцией, он выдвинул концепцию, согласно которой еврейские массы, вытесняемые капиталистическим развитием и экономическим антисемитизмом, должны концентрироваться в Палестине. Именно им предстоит создавать национальную экономику, которая станет основой классовой борьбы еврейского пролетариата. Оставаясь же в плену чужих экономических отношений, народ обречен на то, чтобы вечно быть бессильным национальным меньшинством.

Я уже писал выше, какую гремучую смесь представляла собой такая программа, как сотрясала она своими взрывами еврейский мир. Поалей Цион, в свою очередь, раскалывался на территориалистов и автономистов, а затем на левых, стоявших ближе к коммунистической идеологии, и правых, сотрудничавших с "буржуазными" сионистами и впоследствии породивших правящие социалистические партии Израиля.

В довоенной Польше Поалей Цион был очень силен, имея массовую поддержку среди молодежи, ориентированной на отъезд в Палестину. Внушительную силу он собой представлял и в гетто.

Наиболее последовательными выразителями идей Герцля в этом национально-политическом разноцветье оставались общие сионисты - либеральный центр движения.

Как-то я спросил своего дядю, мать которого - родная сестра моей бабки - вместе с детьми в двадцатые годы эмигрировала в Палестину, к какому крылу сионизма принадлежала его семья.

-А к никакому, - горделиво ответил он. - Мы были просто сионистами, чистыми, без подмеса.

Он, видимо, имел в виду тот самый внефракционный центр Всемирной организации сионистов, который присвоил себе название "общие", видел своими целями поощрение частного предпринимательства, оказание помощи переселенцам в Палестину и полагал, что общенациональные интересы должны иметь приоритет над групповыми и классовыми.

Этот приоритет разделяли и ревизионисты, только их позиция была более агрессивна, а патриотизм - наступателен. Они ревизовали общий сионизм, пытаясь вдохнуть в него бурный темперамент и одержимость своего лидера Зеэва Жаботинского, отмечая всякие иные цели кроме Тхад нес -только одного знамени, которое должно развеяться над еврейским государством по обе стороны Иордана.

Все партии, о которых шла речь выше, действовали однако на поле Тгаскалы - просвещения, в рамках секуляризированного сознания. Для сионистов всех оттенков религия воспринималась через призму национального единения, как корневое народное начало, дающее ощущение непрерывности национального существования, отличия еврея от не еврея. Компромисс с религиозной ортодоксией являла собой идеология Мизрахи (анаграмма термина "духовный центр" и одновременно буквальный смысл слова "восточный").

В девиз "Земля Израиля - для народа Израиля", под которым смело могли подписаться и ревизионисты, и общие сионисты, Мизрахи добавляла: "согласно Торе Израиля". Мизрахисты в силу своей исходной концепции больше, чем представители

других сионистских течений, претендовали на монополию в культурном строительстве. И потому, если молодежная организация ревизионистов представляла собой военизированные охранные отряды, то молодые мизрахисты создавали религиозные школы и киббуцы под лозунгом "Тора и Труд".

Но подлинное политическое представительство ортодоксального иудаизма взяла на себя партия Агудат Исраэль (братство Израиля). Для нее всякая попытка создать еврейское государство на Святой земле без божественного вмешательства казалась кощунственной. Как святотатство воспринималось и возрождение иврита в качестве светского языка. Это была партия, где лидировали раввины и цадики, весьма активно влиявшие на жизнь еврейской массы в предвоенной Польше.

Итак, семь партий.словно семь свечей в меноре горят они, освещая проявления еврейского духа, еврейского мирозерцания. Все эти движения в полной мере реализовали себя в жизни гетто. После растерянности, наступившей вслед за оккупацией Варшавы и осознания того, что первый эшелон лидеров растворился в эмиграции, для партий наступают мучительные попытки найти свое место в новой действительности. Какое же это могло быть место?

Заботы о том, где строить социализм - в Палестине или в диаспоре, дискуссии о том, может ли быть создано еврейское государство без божьего соизволения - все это уходит в прекрасное довоенное прошлое, заслоняется реалиями новой жизни, где есть только одна цель - уцелеть, выжить. Но выжить легче в клане, в среде, в привычном сотовариществе. И под лозунгом сохранения ценных кадров идут распределение пайков, организация партийных кухонь, консолидация с Джойнтом, у которого на первых порах еще есть деньги, налаживание связей с юденратом.

Сколько не заявляй о приоритете общественных интересов над партийными, сколько не декларируй идею социального равенства, попробуй реализуй эту идею, когда твоя собственная жизнь зависит от количества хлеба, супа и угля. И этого хлеба, супа и угля, хоть расшибись, на всех не хватает. И вот, опустив глаза, поглубже спрятав под пальто свой партийный допнаек, выходишь на улицу, полную голодных взглядов. А дойдя до дома, благословляешь судьбу, что не оставила тебя в лихой час одного, без товарищеской поддержки и взаимопомощи, ибо одиночки в гетто умирают первыми.

Однако, как ни страшна жизнь, но и она на какое-то время стабилизируется. Не хлебом же единым... И вот уже после раздачи супа на партийной кухне собирается ячейка для обсуждения текущего момента, а вечером здесь - литературное чтение или юбилейный вечер. Отсюда же тайно выносят пачки партийного издания, каждый экземпляр которого пройдет через десяток рук.

О чем пишут газеты? Естественно, о военных действиях, о последствиях для еврейского народа, проистекающих из этих действий. О политике западных стран. До лета 41-го - о пакте Молотова-Риббентропа. Сионистская пресса много места уделяет Палестине, коммунистическая - Советскому Союзу. Одна из главных тем бундовских газет - польское социалистическое подполье. Так постепенно все становится на свои места - позиции, споры, интересы, оценки.

Например, левый Поалей Цион и идущее в его идеологическом фарватере молодежное движение Хашомер Хацаир определяют национал-социализм прежде всего, как капиталистический режим. Для них, также как и для коммунистов, фашизм - наиболее жестокий этап "эры заката капитализма", а война по крайней мере до вступления в нее Советского Союза - империалистическая.

Орган молодежного движения левого Поалей Цион "Призыв молодых" пишет в январе 1941 года: "Идеологические мотивации двух воюющих лагерей это не более чем обман, маскировка, камуфлирующая истинные капиталистическо-империалистические мотивы и стремления... Должен ли рабочий класс полагаться на одну из двух воюющих сил, стремиться к победе одного из воюющих блоков?" Газета полагает, что час рабочего класса пробьет, когда "обе воюющие силы побьют друг друга". Тот же самый совет дается и СССР, который должен подождать, когда возникнет революционная ситуация, и тогда выйти на мировую арену, как "независимая революционная пролетарская сила".

Газета бундовской молодежи "Голос молодых" отвергает такую

жесткую позицию. Давайте вообразим ситуацию, в которой пролетариат говорит себе: Так как империалисты борются друг с другом и никто из них не намерен содействовать интересам рабочего класса, пусть они разобьют свои головы о стену. Нам, рабочим, до этого дело, как до прошлогоднего снега. Каковы могут быть последствия такого подхода? Вооруженная до зубов Германия начинает атаку на Англию. Британский рабочий класс мог бы принести такое отношение к войне в армию (ведь большинство армии состоит из рабочих). Наиболее вероятный результат такой позиции состоит в том, что эти люди оставят армию. И это даст быструю победу Германии над Англией. (Падение Франции - живое доказательство этому. Несчастливая роль коммунистов и пацифистская позиция некоторых социалистов несомненно сделали свой вклад в быструю победу Гитлера). Это правда, что в результате британский империализм мог бы быть разрушен. Но на его место пришел бы другой империализм, гитлеровский, более жестокий и тираничный, чем его британская версия. И с его приходом свобода слова и права рабочего класса Европы были бы уничтожены.

Вот какие геополитические споры вели эти голодные люди, сидя в своих холодных жилищах зимой 1941 года.

Я цитирую столь пространно, чтобы дать представление о словаре и менталитете общественных движений. Каждому из них приходилось и наступать, и обороняться от соседей слева и справа. Тот же Бунд, с одной стороны, выступал против жесткого классового ригоризма коммунистов и левых поалей-сионистов и, вместе с тем, утверждал общность судеб еврейских и польских рабочих, демонстрируя верность своим интернациональным идеалам.

"Каждый раз, как для еврейства наступают трудные времена, - пишет в июле 41-го бундовская "Молодая гвардия", - еврейский национализм пытается повлиять на боевой дух еврейских масс, которые интегрируются в общую борьбу за свободу против реакции. Еврейский национализм заявляет, что мы в изгнании, и до тех пор пока мы в изгнании мы будем терпеть. Все народы, поработанные Гитлером - в изгнании. Австрийцы, чехи, поляки и голландцы чувствуют себя притесненными. У них та же судьба, что и у евреев, несмотря на то, что они в собственной стране".

Смысл ответа сионистов на эту интернационалистскую эскападу таков: у евреев своя судьба, их ноша тяжелее. "Весь мир открыто допускает, что к евреям применяют совершенно другой стандарт, чем к другим", - пишет орган правого Поалей Циона.

Стандарты и в самом деле были разные и не только, когда речь шла о масштабе репрессий. Самое поразительное, что политическая активность в гетто практически не вызывала преследований со стороны немцев.

Здесь был какой-то иной мир, живущий по другим законам, чем вся остальная Варшава и Польша. За его пределами всякое проявление национального самосознания, всякая политическая деятельность, какие бы формы она не носила - будь то дискуссия о "текущем моменте", собрание или выпуск подпольного издания - приравнивалась к преступлению против рейха и каралась беспощадно.

В гетто газеты, трактующие немцев как оккупантов, врагов еврейства, распространялись почти легально. Политические собрания проходили под эфемерным прикрытием. А уж культурная деятельность носила такой размах, что когда в феврале 41-го отмечался юбилей классика еврейской литературы Менделя Мойхер-Сфорима, состоялось более девяноста собраний, посвященных его творчеству. Могли казнить за кусок хлеба, тайно пронесенный в гетто. Это считалось делом. И за дело казнили. А слово их не волновало.

И ведь не могло это слово не доходить до них. В гетто имелось немало информаторов гестапо. Достаточно вспомнить отчеты Ганцвайха. Если экземпляр газеты проходил через десятки рук, то уж "тринадцатка" имела возможность его получить и довести до сведения своих хозяев.

Такой либерализм был следствием не уважения, а как раз наоборот презрения к нации, дошедшего до высшего градуса. Поляков следовало разделить, поставить на колени, лишить воли к сопротивлению. Евреи же воспринимались как единая отвратительная масса. Нельзя им дать выжить - есть досыта, "плодиться и размножаться", а болтать - пусть себе болтают, все равно скоро пойдут под нож. У них

нет и не может быть будущего. Их надо герметически изолировать, а что там внутри, какие у них надежды и планы, никому нет дела, лишь бы они не оказывали своего развращающего влияния на остальной мир.

Примерно тот же самый подход к проблеме наблюдался и в Германии тридцатых годов, где евреи в отличие от всех других слоев общества имели определенную культурную и духовную автономию, обладали возможностью выражать свою точку зрения в национальных изданиях, распространяемых в рамках общины. Все это нисколько не помешало их преследованию и уничтожению в свой час.

Вернемся однако в гетто. Идеинная разобщенность и партийное разноцветье не способствовали объединению общественных сил в целях антифашистского сопротивления. Разумеется, это была не единственная причина отсутствия активного отпора. Страх перед репрессиями, боязнь коллективной ответственности и массового террора среди населения тоже играли здесь не последнюю роль.

Тем не менее уже незадолго перед депортацией была предпринята первая попытка создать антифашистский блок партий. Инициаторами выступили коммунисты, что вполне соответствовало логике развития событий. Активизация коммунистического подполья на территории оккупированных немцами стран стала частью боевых действий Советского Союза. Именно с этой целью прибыл из Белостока в Варшаву Левартовский, для этого же вместе со сформированной в Москве группой поляков-парашютистов был сброшен в окрестности Варшавы бывший офицер интернациональной бригады в Испании Анджей Шмидт (Пинкус Картин).

С предложением о создании единого фронта Левартовский обратился прежде всего к представителям партии, наиболее близкой по идеологии к коммунистической - к левым поалей сионистам. Вместе с ними в союз вступило их молодежное движение Хашомер Хацаир. Затем присоединились правые поалей-сионисты со своим молодежным движением Дрор Хехалуц.

Сделали они это не без колебаний. Если для коммунистов решающим фактором сопротивления было вступление в войну Советского Союза, то для поалей сионистов существовали еще национальные цели и идеалы. Для некоторых же других движений советско-германская война вообще была борьбой двух хищников. Решающую роль при возникновении блока сыграло представление о том, что коммунистическое подполье на арийской стороне располагает достаточными ресурсами денежных средств и вооружения, чтобы помочь гетто.

Это оказалось иллюзией. На единственный пистолет, доставленный в гетто молодым коммунистом Генрихом Котлицким, смотрели, как на чудо. Им хвастались, тщательно заперев двери, его использовали для обучения будущих боевиков.

Ждать помощи от Армии Крайовой, которая имела тайные склады оружия еще с сентября 39-го, не приходилось, там видели в начинающемся еврейском сопротивлении "руку Москвы". А польская рабочая партия, как называли себя теперь коммунисты, только возрождалась со своей Гвардией людовой, и особых материальных связей с Москвой у нее не имелось.

Антифашистский блок просуществовал всего три месяца - с марта по май 1942 года. В его руководство вошли Юзеф Левартовский от коммунистов, Шахнэ Саган - от левого Поалей Циона, Иосиф Зак - от правого, Цивья Любеткин - от Дрор Хехалуц и Мордехай Анилевич - от Хашомер Хацаир. Программа действий намечалась такая: во-первых, организация объединенных сил для политической и пропагандистской войны против фашизма и реакционных сил внутри гетто; во-вторых, организация антифашистского боевого подразделения.

Много споров было по поводу того, где бороться - в гетто, или в лесах, вместе с партизанскими отрядами. Коммунисты настаивали на отправке боевиков в леса, и подготовка первых таких групп уже началась, как вдруг произошла катастрофа. 30 мая Анджей Шмидт вместе с группой коммунистов был арестован в кафе в гетто во время встречи со связными с арийской стороны. Как выяснилось позднее, в коммунистическое подполье Варшавы гестапо внедрило своего агента, и арест Шмидта стал частью провала всей варшавской сети.

Как бы там ни было, паника началась страшная. Шмидт находился в центре событий, как знать, выдержит ли он пытки гестапо? На какое-то время всякую деятельность решили прекратить. А там приближались июль, массовая депортация, когда многие иллюзии оказались развеянными и начинала рождаться новая, на гибели сотен тысяч людей замешанная решимость к отпору.

Отдадим должное двум первым организаторам сопротивления. Как ни относишься к их убеждениям, в жертвенности им не откажешь. Левартовский, верный своему долгу, понимая, что идет почти на верную смерть, отправился в Варшаву, оставив в Белостоке беременную на последнем месяце жену. В 42-м ему было 46. С величественным старцем в скульптурной группе Раппопорта его роднят разве что залысины да крупные черты лица.

У Шмидта на фотоснимке - утонченное красивое лицо. Ему в 42-м - 30. В 36-м он был в Испании капитаном польской интернациональной бригады имени Домбровского. После победы Франко работал на Коминтерн во Франции. Что это значит? Возможно, разновидность разведывательной работы. Затем Москва, спецподготовка для засылки через линию фронта, парашютный прыжок и несколько месяцев подполья в гетто, закончившегося гибелью на аллее Шуша - в резиденции варшавского гестапо. Вот и вся эта недолгая жизнь.

Трудно сказать, как сложились бы судьбы Левартовского и Шмидта, доживи они до коммунистического режима в Польше. Вошли бы они в ряды партийных функционеров и гэбистов и добросовестно укрепляли бы уже свой тоталитарный коммунистический режим? Во всяком случае в гетто они жили и погибли, как герои.

## Цивья и Ицхак

Меня охватило ощущение курорта. Мягкое тепло солнечного дня, свежесть морского побережья. Люди в шортах и майках привольно и неторопливо шли по бетонным дорожкам среди южных деревьев. Легкие аккуратные домики, где в тени открытых веранд стояли шезлонги. Все это напоминало Сочи или Ялту, санатории прошлых советских времен.

И девушка в шортиках с полотенцем через плечо тоже, видно, спешила в бассейн или на пляж. Она вежливо отвечала на наши вопросы о том, когда вернется ее отец, в каком доме жили покойные дедушка и бабушка и что она сама собирается делать после школы, в какой институт поступать.

Это была воспитанная смышленная девушка. Она привыкла к расспросам невесть откуда взявшихся людей о ее бабушке и бабушке.

Стояла пятница - первый день израильского уик-энда. В этот день полагалось поздно вставать, неторопливо завтракать в семейном кругу, а затем отправляться на рынок - на роскошный южный базар - запастись продуктами на неделю. В пятницу желательно сделать все хозяйственные дела ибо впереди суббота - день отдыха и благочестивых размышлений.

И мы неторопливо завтракали с моим другом юности, его женой и сыном, а потом сели в его "Субару" и съехали с горы Кармель по улицам Хайфы на побережье Средиземного моря. А еще через полчаса шли по улицам киббуцного поселка, впитывая в себя его мирную благодатную атмосферу.

Разумеется, жители этого поселка умели не только отдыхать. Пять дней в неделю они выращивали фрукты, разводили птицу, ловили рыбу, собирали электронные приборы. Киббуц назывался "Лохамей ха геттаот" - "Борцы гетто" и основали его в 49-м дедушка и бабушка девушки, которую мы остановили по дороге на пляж.

Вот что говорила ее бабушка сразу же по приезде в Палестину 7 июня 1946 года на конференции одного из киббуцных объединений. "Грустно мне на этой встрече. Двенадцать лет я мечтала о ней... И все же я не могу сказать, что на сердце у меня радостно. Передо мной проходят образы людей - близких и совсем незнакомых - образы сотен, тысяч, миллионов евреев, которых больше нет. Эти испепеляющие душу воспоминания сопровождают меня на каждом шагу.

Печально. Не думала я, что так мы встретимся, что я буду единственной из миллионов, кто уцелеет. Не думали мы и о том, что даже тех немногих, кто уцелеют, не будет здесь с нами. Мы не предполагали, что, выйдя из подполья на волю, застанем мир таким, каков он сегодня.

Тяжело мне говорить. Есть, видимо, какой-то предел для переживаний и потрясений, которые человек может вобрать в себя. Не верила я, что смогу нести все это в своей душе и продолжать жить. В той действительности, где нас окружали развалины и гибель, где не оставалось ни малейшего признака того, что есть еще на земле люди, сохранившие человеческий облик, где мы уже потеряли способность чувствовать и испытывать потрясения - единственной силой, которая нас поддерживала и укрепляла, были вы: страна, рабочее движение, киббуц, наш дом".

Я показал ее портрет в молодости своей жене, прикрыв подпись.

- Что можно сказать об этой женщине, судя по внешности?

- Фанатична. Добра. Пожалуй, привлекательна. Умна. Решительна. Ярво выраженный командир. Лидер. Кто это?

- Цивья Любеткин.

Невозможно себе представить, чтобы на долю одного человека, к тому же женщины, смогло выпасть столько испытаний, столько невероятных и трагических приключений. До приезда в Палестину была Бриха. В переводе с иврита это означает побег. Так называлась подпольная организация молодых сионистов, созданная в конце войны для переправки евреев из Восточной Европы в Палестину.

В январе 45-го в недавно освобожденном Люблине собрались несколько молодых евреев. У каждого из них позади была лесная партизанская война, участие в восстаниях гетто. Каждый считал себя чудом уцелевшим, отмеченным и сохраненным Господом для некой цели.

Долгие годы они мечтали попасть в Палестину, видя смысл своего существования в диаспоре лишь до той поры пока другие их молодые единоплеменники не были готовы отправиться вслед за ними. Теперь им предстояло собирать остатки своего народа, рассеянные по лагерям, тайным убежищам, и выводить через границы многих государств на черноморское и средиземноморское побережья для последнего тайного броска на незнакомую родину.

На этом январском совещании были Цивья Любеткин и ее муж Ицхак Цукерман, руководитель боевой организации Виленского гетто Абба Ковнер, партизанский командир из-под Ровно Элизер Лидовский и другие уцелевшие молодые сионисты. Именно они и создавали Бриху.

Уже в марте Цивья вместе с Ковнером оказались в Румынии, оттуда они установили связь с подпольной организацией солдат еврейской бригады британской армии. Эти молодые сабры, упорно добивавшиеся и добившиеся наконец права воевать с немцами, были потрясены встречей с евреями, пережившими Холокост.

Вместе с активистами Брихи и представителями палестинских тайных служб они направляли потоки репатриантов по дорогам Восточной Европы в порты Италии, Румынии и Болгарии. Они снабжали их фальшивыми документами, помогали переходить через еще зыбкие военные границы, учили говорить на иврите, который пограничники принимали почему-то за греческий, создавали специальные пограничные киббуцы, которые в полном составе переходили на другую сторону. Они собирали детей, выходивших из леса, укрывавшихся в христианских семьях, монастырях и вели их по тайным тропам к морю.

Когда после погрома в Кельцах, евреи, вернувшиеся из Советского Союза, стали массами покидать Польшу, Ицхак Цукерман по поручению Брихи вел переговоры с правительством Польши о беспрепятственном их выезде. Это задержало его в Варшаве, и он прибыл в Палестину год спустя после Цивьи.

К этому времени и Цивья, и Ицхак широко известны в еврейском мире. На XXII сионистском конгрессе в 46-м году Цивья была удостоена одной из высших почестей - права сидеть в кресле Теодора Герцля. В 61-м она стояла перед микрофоном на свидетельской трибуне. Напротив, в пуленепробиваемой прозрачной клетке сидел теперь уже немолодой австриец, который так талантливо создавал систему

уничтожения ее народа. Показания на процессе Эйхмана давали и Цукерман, и Абба Ковнер.

И Цивье, и Ицхаку суждено было прожить еще тридцать лет. Он остался хранителем памяти прошлого, создал в киббуце мемориальный музей Варшавского гетто имени своего друга, поэта Ицхака Кацнельсона, составил антологию восстания. Она работала в Еврейском агентстве, в объединении киббуцев. Он умер в 81-м, она тремя годами раньше - в 78-м.

Я никак не мог вообразить их в обыденной жизни - ведь они любили, ссорились, воспитывали сына, гуляли с внучкой, жили как обычные, естественные люди. Между тем позади были страдания сверхъестественные, трагедия, масштабы которой не в состоянии охватить человеческий ум.

Впрочем, Израиль в этом отношении общество особое. Тебе могут показать старого грузного приземистого еврея, эдакого дедушку - добродушного или сварливого - и сказать: "Знаешь, кто это? Он воевал в партизанском отряде на Украине, потом в польской, а потом в израильской армии, его засылали с особыми поручениями в Европу..."

Или сидим в Яд-вашем с моим варшавским знакомым, историком Шмуэлем Краковским. День жаркий, он в рубашке с короткими рукавами. На тыльной стороне руки - выцветшая татуировка - номер узника Освенцима.

Прошлое как бы вынесено за скобки. Оно в глубинах памяти, в духовном фундаменте этого общества, живущего, как и положено всякому нормальному обществу, сегодняшним днем. Газа и Иерихон, экономика и политические скандалы, курс шекеля и театральная премьера.

Жизнь идет. По дорожкам поселка киббуца "Лахомей ха геттаот" бежит юная израильтянка в шортиках с полотенцем через плечо - внучка Цивьи Любеткин и Ицхака Цукермана.

Борис и Сусанна

Каждый год в конце марта я отправляюсь на юго-запад Москвы в район проспекта Вернадского. Там на улице Новаторов в хаотическом нагромождении хрущевских панельных и блочных домов отыскиваю квартиру на первом этаже. Дверь не заперта, хозяйка грузновато ходит, опираясь на палку, из кухни в комнату, накрывая на стол. В этот день у нее гости - с десяток пожилых мужчин и женщин.

На пианино стоят три фотографии - три молодых мужских лица. Рядом горят свечи. Ужин. Немного вина. Воспоминания. Слезы. Поминальный вечер.

Потом всей компанией неспешно идем по "городской пустыне" в тревожной московской ночи девяностых годов. В ожидании троллейбуса, в переходах метро - обыкновенные житейские разговоры. О друзьях, разъехавшихся по миру доживать век с детьми. О том, как бедствуют ученые. Об инфляции, преступности, болезнях.

Однажды, посмотрев на хозяйку дома, на то, как тяжело она ходит, трудно дышит, я подумал, что с ней уйдет живая память об истории, представлявшей собой пусть безумную, пусть детскую, но и героическую попытку сопротивления одному из самых страшных тоталитарных режимов века.

Через неделю я приехал в этот дом с диктофоном. Мы просидели весь вечер, вспоминая.

\* \* \*

Москва конца сороковых годов. Страна спешит опомниться от войны, голодает, строит, славословит. У одних моих сверстников отцы погибли на фронте, у других - растворились в просторах Гулага. Мой отец, отсидев пять лет в колымских лагерях, работает грузчиком в бессрочной казахстанской ссылке. Мать - воспитатель детского сада - тянет нас троих и каждый ее день начинается со вздоха: "Чем же я вас сегодня кормить буду?"

Мне 13. По еврейскому религиозному обряду - возраст бар мицва, после которого мальчика считают взрослым и обязанным исполнять заповеди. В этот день юного

иудея впервые приглашают читать Тору. Но я, естественно, и слыхом не слыхал о бар мицве. Днем школа с ее казенным советским воспитанием, а вечером - двор московской рабочей окраины со шпаной, драками и "черным вороном", который то и дело выхватывает кого-нибудь из ребят, пуская по кругу тюремных странствий.

Некий генетический заряд срабатывает во мне, вырывая из обычных дворовых занятий и обращая к запойному, без разбора чтению. В один прекрасный день, томимый духовным одиночеством, я отправляюсь за тридевять земель, в городской Дом пионеров. Он размещался тогда в двух особняках, построенных и отделанных со всей роскошью архитектуры российского серебряного века в уютном заросшем деревьями дворе в переулке Стопани, неподалеку от метро Кировская.

Тем самым реализовывался пресловутый ленинский принцип "Все детям". Мы и были теми детьми, кому принадлежали эти зеркальные залы, скрипящие дубовым паркетом гостиные и кабинеты с мягкими кожаными креслами.

Я был несколько подавлен монументальностью такого кабинета, где за длинным полированным столом весьма серьезные отроки и отроковицы моих лет и чуть постарше строго допрашивали меня, что я пишу - поэзию или прозу. Стихов я определенно не сочинял. Значит - прозу. И я засел за первый в жизни рассказ из жизни северных народов, навеянный Джеком Лондоном и одновременно популярным тогда писателем Тихоном Семушкиным, автором романа "Алитет уходит в горы".

Рассказ был принят благосклонно. Руководительницу кружка Веру Ивановну Кудряшову, пожилую интеллигентную даму, по слухам некогда работавшую с Крупской, нисколько не смущала экзотичность темы. Ее больше занимала идеологическая выдержанность нашего творчества. Обладая выучкой тридцатых годов, она понимала, что такое, казалось бы, невинное в политическом смысле занятие, как руководство литературным пионерским кружком, по существу, дело сложное и опасное. Здесь можно поплатиться головой.

Разумеется, не меня одного занимали экзотические сюжеты. Мой ближайший друг Володя Амлинский прославился рассказом "Наследники миссис Пайк". Взбалмошная американская миллионерша завещала свое состояние собачке. Собачка жила в холе и неге, а у негра, ухаживающего за ней, умирала от голода дочь.

У Гриши Фрумкина действие происходило в Испании. У меня - в Греции, где тогда шла гражданская война. Герой - американский журналист - решил рассказать правду о греческих патриотах. Его похищали и убивали. Сюжет я взял из газет.

Кажется только Саша Тимофеевский избежал этой "импортной заразы". Он писал прекрасные лирические стихи.

Однажды к нам приехал Михаил Аркадьевич Светлов. Долго слушал наши стихи и рассказы. Потом вздохнул и сказал без улыбки: "Конечно, о чем знают, о том и пишут".

Как-то интуитивно, во всяком случае не вполне осознанно, мы полагали: ту жизнь, которая нас окружала, лучше не трогать в своих сочинениях. И не только потому, что она была скудна, скучна и совсем не освещалась волшебным фонарем вымысла, который светил нам в дальних незнакомых странах. Нашу жизнь наполняли опасные и странные тайны, неведомые запреты.

Вроде бы мы знали все, что положено знать о войне и революции, о врагах и друзьях нашего замечательного социалистического государства. Все, что надо, рассказывали нам учителя, радио, книги. Но были еще пыльные, пахнущие тленом книжки в бумажных обложках, которые отыскивались в какой-нибудь арбатской или кировской квартире. Твой сверстник дает их тебе полистать и где-то сорвется со страницы запретное и жуткое имя - Бухарин, но не враг народа, обличаемый в истории партии, а вождь, оратор, окруженный ликующей толпой, автор не совсем понятной, но звонкой, словно выхваченной из мира неведомых тебе страстей статьи. У кого-то отец был толстовец и это почему-то скрывалось. У кого-то дед - меньшевик и депутат государственной думы.

Мы открывали для себя поэтов. Хорошо знакомый нам Светлов, автор "Гренады", в двадцатые годы писал совсем другие стихи, полные трагической иронии. Был полузапрещенный Есенин. И вроде бы не запрещенный, но упоминаемый сквозь зубы Блок. Был не совсем понятный Пастернак. Запрещенный Бунин. Расстрелянный



Гумилев. Мы ловили строчки, обрывки судеб. Мы жили на хрупкой корке повседневности, под которой нам чудилась совсем недавно ушедшая, растворившаяся неведомо где история и культура. Запах этой культуры щекотал ноздри и пьянил, как пьянил запах мартовских московских улиц, по которым мы допоздна шлялись целой ватагой после кружковских занятий.

Мы жили в тесных коммуналках, по семье на комнату, питались в основном картошкой и хлебом, носили одежду, перешитую из взрослых обносков. Кругом гремели фанфары советской пропаганды. В мире начиналась корейская война. В Москве и Ленинграде громили космополитов. Государственный антисемитизм набирал силу. Но мы были счастливы своей начинающейся юностью, первыми романами. Мы открывали мир. Юность самодостаточна, она счастлива вхождением в жизнь.

Мы играли на занятиях в буримэ, писали эпиграммы и пародии, целыми вечерами читали друг другу стихи - свои и чужие. Мы почитали главным Божьим даром не силу, не ловкость и красоту, а талант. Только талантом можно было поразить мир. Мы считали себя частью русской литературы. Далеко не из всех нас вышли впоследствии литераторы, но чувство причастности к культуре сохранилось навсегда.

49-й год запомнился мне 150-летием Пушкина. Мы готовились к этому юбилею, распределив доклады на специальной конференции. Мне досталась тема "Пушкин и декабристы". И я на месяц засел в библиотеке, обложившись пушкинианой.

Сейчас мне кажется, что дух вольнолюбия и игры, свойственный молодому пушкинскому окружению, неведомыми путями передался московским мальчишкам и девочкам той чугунной советской поры. Впрочем, сколько раз в нашей истории он вселялся в российских мальчиков и девочек!

У кружка имелось свое прошлое. Иногда на торжественные вечера приходили взрослые его выпускники - писатели, прошедшие войну. Но нам они были не так интересны, как 18-летние ребята, время от времени появлявшиеся на занятиях в ореоле давних литературных ристалищ, стихов, сделавших им имя, а подчас и трагедий. Глухо ходили слухи о талантливом поэте Толе Лисаченко, покончившем жизнь самоубийством. Иногда появлялся Лева Кранихфельд, читавший своего знаменитого "Дон Кихота". Метеором носился Юра Графский, студент факультета журналистики. Но ближе всех нам, 14-летним, были двое неразлучных друзей Боря Слуцкий и Владик Фурман. Их интерес к нам казался неподдельным, ирония доброжелательной, теплота естественной. Общаясь с ними, мы не чувствовали того, чего больше всего опасаться в том возрасте - снисходительности.

Влюблялись мы в девочек постарше. Мне нравилась староста кружка - десятиклассница Лия Пеньковская. Но что может быть безнадежнее, чем влюбленность 14-летнего мальчика в 17-летнюю девушку?

Очень хороша собой была Сусанна Печуро, с одухотворенным лицом, выразительными полными огня еврейскими глазами.

45 лет спустя я сижу с диктофоном в ее квартире на улице Новаторов, вглядываясь в эти глаза, которые, как мне кажется, сохранили следы того молодого огня.

\* \* \*

- Мы часто гуляли втроем - Боря, Владик и я. Почему-то запомнилось 12 марта. Весна была ранняя, снег таял. Мы бродили по Москве - расстегнутые пальто, непокрытые головы. Топали по лужам, хохотали, стояли у парапета набережной, следя за мутной водой. Это был один из самых счастливых дней моей жизни.

Той весной 50-го я упала с трамвая, получила сильное сотрясение мозга, очнулась в больнице, очень стеснялась своего расшибленного лица. А на следующий день они пришли вдвоем, положив мне на одеяло огромный букет ландышей - купили у старушки всю корзину.

А помнишь наш бунт против Веры Ивановны? Мы считали, что нас ничему не учат - надо изучать технику стихосложения, историю литературы, а не только разбирать наши сочинения. А этот запрет читать друг другу написанное пока не прочла

руководительница. Как? Цензура? А обвинения в упадничестве? Рая Полянкер написала милое девичье стихотворение

После вечера веселого  
Ты идешь домой одна,  
Ты идешь, понутив голову,  
Не глядишь по сторонам.

Скрип снежинок под калошами.  
Ночь спустилась над Москвой.  
Ты скажи, моя хорошая,  
Ты скажи мне, что с тобой?

Нам было сказано, что у советской молодежи не может быть столь мрачного настроения. Мы же заявили, что нам не нужен такой кружок и решили, что можем обойтись без Веры Ивановны и вообще без Дома пионеров. У Бори Слуцкого имелась своя отдельная от родителей комната, туда мы и отправились всей компанией, чтобы обсудить планы, распределить темы и начать занятия. Первым был Борин доклад о русской поэзии серебряного века.

\* \* \*

Нас поразили этот доклад. Он продолжался, как мне кажется, много часов, и мы сидели замороженные в тесной комнатке на Кривоколенном. Бальмонт, Белый, Гиппиус, Северянин. Мы словно бы и раньше слышали эти имена, они доходили до нас из дальней дали отдельными строками, загадочностью судеб, часто эмигрантских. Тут же все приводилось в систему - философское обоснование символизма, смена течений - акмеизм, футуризм, эгофутуризм, имажинизм. То, что с презрением упоминалось в советской истории литературы, как временные заблуждения достойных поэтов (скажем, футуризм Маяковского) или злокозненные измышления буржуазных литераторов, оказывалось поразительной игрой ума и таланта, своеобразным художественным видением мира. И открывал этот мир нам не почтенный академический профессор, а наш товарищ и почти сверстник - 18-летний юноша. От одних цитат - а он цитировал целые стихотворения - можно было сойти с ума, так волновали и пьянили нас эти забытые строки.

Потом распределили доклады. Володе Амлинскому достался Есенин, мне - Блок. К тому времени я знал наизусть немало его стихов, а что касается литературоведческой части, то здесь я не видел затруднений. В изданном после войны двухтомнике Блока имелось обстоятельное предисловие Владимира Орлова. Этого источника, казалось мне, вполне достаточно.

Уже к следующему занятию я заявил, что готов к докладу и получил слово. Но к моему глубокому изумлению и стыду, то, о чем, казалось, можно говорить часами, почему-то уложилось в жалкие 15 минут беглого пересказа биографии и основных этапов творчества. Все это было так по-школьному, так несравнимо с фейерверком мыслей, который являл собой доклад Бориса, что я чувствовал себя убитым.

- М-да, - сказал кто-то из старших. - Но все-таки серьезный доклад о Блоке нам нужен. Может Касперович сделает, когда приедет?

Я постарался незаметно испариться, поклявшись себе, что вернусь на Кривоколенный только с обстоятельным и достойным докладом.

До сих пор не могу понять, как это, забросив школу и недели три бродя по разным читальням, я сумел накопить столько разных сведений о Блоке, что уж недавно купив посвященные ему четыре тома "Литературного наследства", знал многое из опубликованного там.

Наученный горьким опытом, доклад я не только написал, но дважды проговорил, засекая время.

Когда же в обусловленный для занятий день недели явился на Кривоколенный, то застал там одного Борю.

- Понимаешь, Миша, - несколько виновато сказал он - занятия не будет.

- Как не будет? - закричал я. - Я же приготовил доклад!

Он помолчал, как бы припоминая то мое неудачное выступление и осознавая меру огорчения, звучавшего в моем голосе. Потом посмотрел исподлобья поверх очков с доброй полуулыбкой.

- Ну что ж. Сделай доклад мне. Давай пойдем погуляем и ты все мне расскажешь.

Часа два мы бродили по переулкам между Кировской и Покровкой - по Телеграфному и Сверчкову, по Армянскому и Потаповскому, по Чистопрудному бульвару - и читали друг другу стихи, говорили о Блоке. Я выплескивал на него все, что накопил за эти недели, пытаюсь смыть горечь поражения. Потом мы оставили Блока. Он читал своего любимого Надсона. И весь этот вечер я ощущал его искренность и доброту, полное отсутствие дистанции, которая, казалось бы, должна быть между мной 14-летним и им 18-летним.

- Когда же будут занятия? - спросил я напоследок.

- Не знаю, - рассеяно ответил он. И у меня сжалось сердце ибо я понял, что все кончилось, что у них идет какая-то своя взрослая жизнь, куда нас не берут. Они и в самом деле не брали нас с собой, спасая от того, что с роковой неотвратимостью ожидало их впереди.

Правда, был еще прощальный предмайский пикник. Огромной компанией - и старшие, и младшие - мы отправились за город, на станцию Раздоры. Впоследствии, изъездив Подмосковье, я почему-то ни разу не встретил эту станцию и даже не знаю, по какой она дороге - словно провалилась в прошлое, привидевшись в счастливом сне.

Помню весенний лес, деревья с молодой листвой, сухие солнечные поляны, на которых мы жгли костры. Помню, как взявшись за руки, уходили в лес Боря и Сусанна, и мы с Володей со жгучей ревностью подростков смотрели им вслед.

\* \* \*

-А ведь в этот день он впервые сказал мне, что собирается бороться с этим строем, который - диктатура не пролетариата, а новой аристократии, разновидность бонапартизма. Власть в партии и государстве захватили вожди. Понимать, что происходит и бездействовать - значит соучаствовать в преступлениях власти. Кто-то же должен начать. Да, такая борьба губительна. И поэтому он считает, что нам надо расстаться. Он не хочет губить меня. Я моложе его (я была моложе его на год), он обречен, и мне не надо связываться с ним.

Представь себе этот лес в Раздорах, весна, небо бездонное, а на меня будто что-то огромное и страшное надвинулось. Меня так потряс тот разговор, что я несколько дней пролежала в полубреду, со мной было что-то вроде нервной горячки. А когда пришла в себя, отправилась к нему и сказала, что готова разделить его судьбу.

Летом он приезжал ко мне на дачу в Загорянку. Он сдавал экзамены сначала на философский в МГУ, а потом, когда его не приняли, - на истфак, в пединститут. Как-то он сказал мне, что в университете познакомился с очень интересным парнем - Женей Гуревичем (его тоже не приняли на философский), который разделяет наши взгляды. Теперь нас четверо, это уже оргкомитет и можно создавать подпольную организацию. Похоже, что мы будем не единственные. До него доходило, что есть ребята в Московском университете, в Воронеже, Казани, Питере. Со временем можно будет объединиться. А сейчас надо готовить общественное мнение для перемен, которые неизбежно произойдут через десятилетия. Он предложил название для нашей организации - Союз борьбы за дело революции, - а впоследствии написал политическую программу.

\* \* \*

Четыре десятилетия пролежали эти рукописные листки в архиве КГБ, пока Сусанна от имени "Мемориала" не востребовала их, сняв несколько копий.

Судя по тексту, наибольшее влияние на Борю оказал Троцкий. Не знаю, где уж он брал тогда его работы. Только за тень этого имени беспощадно впаивали "десятку". Помню, как отец в промежутке между лагерем и ссылкой, тайно пробравшись на несколько дней в Москву, рвал и жег остатки своей политической библиотеки.

Вся эта терминология в программе - бонапартизм, термидорианский переворот - из Троцкого. Оттуда же и оценка коллективизации, как реформистского мероприятия. Получалось, что приусадебные участки и личный скот сводили на нет "значение объединения хозяйств для поднятия уровня сознательности крестьянских масс". Несознательность пролетариата возникала в результате влияния на него мелкобуржуазных слоев, в частности, "консервативного крестьянства".

Казалось, следы зловещих схоластических игр 20-х годов аукнулись в душе 18-летнего мальчика, одиноко и тайно изучавшего эту революционную догматику в послевоенной Москве. Конечно же, его мышление было социалистическим, так же как и у его сверстников, за семь лет перед тем, споривших о судьбах еврейского пролетариата в катакомбах Варшавского гетто. Только для этого мальчика кумирами были не Герцль и Маркс, а Ленин и Троцкий, врагом - не Гитлер, а Сталин.

С каким темпераментом он обрушивался на сталинский режим - обман, насилие над мыслями, превращение партии в безгласный полицейский аппарат, национальное единство, которое держится на штыках! А заключительные пассажи: "Наш лозунг в будущей войне - лозунг всех интернационалистов во всякой империалистической войне - поражение собственного правительства. Буржуазная война выявит все противоречия обеих систем, вскрыет все их слабые стороны. Союз борьбы за дело революции не сомневается, что эта война явится прологом грядущей мировой революции, в том числе второй социалистической революции в СССР".

Это писалось в Москве 50-го года не в дневник, и такое тогда тоже было бы самоубийством, а в расчете на распространение.

Как преодолевался в нем инстинкт самосохранения? Да, романтика революции. Да, красивая девушка рядом, которая впитывает каждое твое слово, смотрит на тебя любящими восторженными глазами. Да, упоение собственной смелостью. Но ведь не мог же он не понимать, что бросает вызов системе, которая за шутку, за анекдот политический стирает человека в лагерную пыль, системе, для которой слово и дело было одним и тем же, и слово-то еще, может, пострашнее, чем дело.

\* \* \*

-Он принадлежал к числу людей, у которых стремление к правде, это вот "взыскую истины", сильнее, чем инстинкт самосохранения. Как правило, такие люди обречены. И он был обречен.

Собственно, вся наша революционная деятельность продолжалась полгода - с сентября 50-го до февраля 51-го. Чем занимались? Начитавшись всяких книжек о большевистском подполье, сделали гектограф. Это оказалось не так трудно. Только вот типографскую краску в желатин не сразу догадались добавлять, чтобы было больше оттисков. До 250 экземпляров печатали. О чем? Ну, скажем, - наступают выборы, все это ложь, на самом деле никаких выборов нет и тому подобное. Мы их не разбрасывали, а раздавали - в школе, в институте. И что самое поразительное - в КГБ попала только одна прокламация. А говорят, народ стукачей. Никто не донес.

Затем занимались философией, историей. Маркса, Ленина конспектировали. Семинаром опять же руководил Борис, давал задания, и раз в неделю мы собирались, обсуждая прочитанное.

В соответствии с правилами детской конспирации взяли себе псевдонимы. Каждый в меру своей юной фантазии. Борис - Лев Славин, Владик Фурман - Владимир Кремнев. Я - Саша Рейц. Почему такое имя? Где-то услышала - понравилось.

Конечно, игры. И вовлекали мы в них, кого могли. Я привела из своего класса Ирэну Оргинскую и Катю Панфилову. Боря - своего двоюродного брата Гришу Мазура. Женя Гуревич - Владика Мельникова. На суде фигурировали 16 человек. Правда, были и такие, которые практически ни в чем не участвовали. Скажем, Тамара Рабинович. Как только узнала от Жени Гуревича, сказала, что не может, боится. Ее тоже причислили к организации и посадили.

В октябре у нас, как и положено по революционным традициям, наметился раскол. И предмет-то спора тоже классический для подпольщиков. Допустим ли политический террор? Женя Гуревич считал, что в экстремальных ситуациях допустим. Боря говорил, что Ленин был против терактов, как формы борьбы, и мы не можем не согласиться с ним.

Ох, как впоследствии следователи плясали вокруг этой темы, как добивались признаний - было намерение террора. И в названии нашей организации помимо всех прочих эпитетов - молодежная, контрреволюционная, еврейская (просто по национальной этнической принадлежности большинства участников) - вписали, то, после чего можно подводить под расстрел, - террористическая.

А был спор двух пылких мальчиков. Женя сказал, что мы просто-напросто боимся, и ему с нами не по пути. Он ушел и увел Владика Мельникова. Дело, разумеется было не в отношении к террору. Просто Борис и Женя оказались несовместимы, оба чувствовали себя лидерами и главными теоретиками. Женя потом сам вел занятия с Владиком Мельниковым и Майей Улановской, как бы создав свое ответвление организации.

Когда о нас узнали в КГБ? Да, думаю, с самого начала. Вера Ивановна, как только мы отделились от Дома пионеров еще с литературным кружком, сразу же позвонила туда, как бы снимая с себя ответственность за возможные последствия, сказала, что мы создали свой кружок. А потом я пыталась вовлечь в Союз одну девочку из своей школы, она доверилась отцу, а он сразу же побежал в КГБ.

На Кривоколенном была подслушивающая аппаратура, мы знали это и научились ее блокировать так, что когда потом на следствии нам пытались продемонстрировать наши разговоры, временами шел сплошной шум. А топтуны! По два человека на каждого из нас. Это, правда, незадолго до ареста. Ну, представь, мы идем гулять втроем как обычно - Боря, Владик и я, - а за нами шесть молодцов.

\* \* \*

Они пасли их с самого начала, пестовали и оберегали, давая плоду созреть, занимались своими паскудными агентурными разработками, потирая руки от возбуждения, что не туфта, не анекдотцы, а настоящая молодежная, террористическая, да еще еврейская... В разгар-то борьбы с низкопоклонством Вот пофартило мужикам! Как там шли по каналам донесения: от оперативной службы вверх к Абакумову, а там, может, и к самому... Сколько золотых погон, мундиров, мясистых затылков. Через какие лубяньские кабинеты шли те донесения. Сколько здоровенных откормленных парней задействовано - габардиновые плащи и надвинутые на лоб шляпы, синие пальто и сапоги. И где-то у самого истока этого длинного коридора людей, образов, учреждений гуляют по осенним московским улицам два мальчика и девочка, говорят о мировой революции да читают стихи.

\* \* \*

-На самом-то деле мы понимали, что играем с огнем. Но возраст, романтическое мироощущение брали свое. Опасность пьянила нас. Мы уходили от слезки, играли в партийные клички, гордились своей жертвенностью, тем, что мы настоящие революционеры, что бросаем вызов этому строю.

Временами нас охватывали страх и отчаяние, ощущение жуткой тревоги. Помнится, как-то Гриша Мазур сказал мне: "А вот через два месяца..." Я закричала: "Гришка, о чем ты говоришь, может через два месяца нас возьмут".

В январе 51-го медицинский институт, где учился Владик Фурман, перевели из Москвы в Рязань. Это стало для нас страшным ударом. Мы были неразлучны. Владик писал нам каждый день письма полные таких излияний: "Давайте поклянемся: жить вместе и умереть вместе". Потом на суде, когда они брали все на себя, я сказала: "Ребята, мы же поклялись жить вместе и умереть вместе!" - и Владик сказал: "Ты должна жить".

Он пытался в Рязани создавать кружок. Привлек несколько студентов. Кстати, была такая молодежная организация, кажется, она называлась "Коммунары", которая работала одновременно в Рязани, Москве и Воронеже. Владик связался с ней в Рязани. Ее возглавлял Виктор Белкин, он недавно умер в Томске. Они продержались года три, с 47-го, а взяли их одновременно с нами.

Так что не верь, когда говорят: никакого антисталинского сопротивления не было. Было. Как правило, молодежное. Только знают о нем мало. В глухоте, в безвоздушном пространстве жили. По городам российским, по институтам, молодежным кружкам теплилось что-то. Разгореться-то не давали. Если брали кого, так рубили под корень, и родных, и знакомых и тех, кто знал, и кто не знал. Люди выходили, если доживали, в послесталинское время постаревшими, нередко сломленными, не желая вспоминать прошлое. Хотелось просто жить, работать, растить детей. Правда, потом приходили другие поколения, больше знали, больше понимали. Но это уж другой разговор. А огонь сопротивления никогда до конца не затихал.

В январе ощущение тревоги стало особенно мучительным. Мы понимали, что каждая наша встреча может стать последней. И это придавало отношениям невыносимую остроту.

Новый 51-й год мы встречали с Борисом на Кривоколенном. А 2 января я проводила его в Ленинград. Он поехал туда, досрочно сдав экзаменационную сессию, нащупывать связи. Кого-то он знал, с кем-то хотел познакомиться.

18-го вечером раздался телефонный звонок. Мама сказала: "Тебя Борина мама". Пока я подошла, трубку повесили. Перезвонила. Незнакомый мужской голос: "Кто ее спрашивает? Она не может подойти". Уже потом, после ареста, я сообразила: там шел обыск, и второй раз ее к телефону не подпустили.

Села в своем углу к столу, где я всегда занималась, начала конспектировать статью Ленина - задание Бориса. Вечер поздний. Все спят. Мы жили вчетвером в одной комнате. Резкий длинный звонок в дверь. Соседи открывают. Топот по коридору. Стук в дверь. Проверка документов. Мои стали одеваться. А я так и не выходила из своего угла. Ко мне подошел начальник группы Самохвалов (их трое было - Самохвалов, Блинов, Никитин) и протянул ордер на обыск и арест: "Распишись". Я ему тихо сказала, благо, он заслонил меня от других: "Только не говорите родителям, что арест, скажите пока - обыск!" Он отпрянул: "Так, значит, ты все понимаешь..." Они привыкли, что люди обычно выражают недоумение даже несколько демонстративно: "За что? Это ошибка. Я ни в чем не виноват." Только когда уже уводили, я сказала зарывавшей маме традиционное: "Разберутся, не плачь."

Напоследок захотелось взять что-нибудь на память о доме. Взяла маленькую куколку, что лежала у зеркала. Их это почему-то взбесило (может самим как-то неловко было девчонку брать. Ведь люди все же, у них наверное дети моего возраста были). Заорали: "Ты что детский сад здесь устраиваешь! Не понимаешь куда идешь?" Конфисковали они после обыска Бог знает что. Борино издание Ленина, разную художественную литературу, мои школьные тетради. Пишущую машинку отца прихватили, не внеся ее в акт - то-есть попросту украли.

Привезли меня на Малую Лубянку, в областное управление. Ощущение от личного осмотра и обыска унижайшее. Это Солженицын в своем "Круге" точно описал. Ледяной пол, на котором долго стоишь босая. Офицер, молодой совсем парень, беря отпечатки пальцев, погладил по ладони. Я ударила его по руке. Он хмыкнул: "Ну, здесь тебя обломают".

Посадили в бокс. Тишина. Мысли все об одном: взяли других или нет? Спать хочется. Свернулась калачиком, задремала. Разбудили. Наконец, стали выводить на фотографирование. И тут ребята стали нарочно подавать голос: "А куда меня ведут? А зачем?" Ага, ясно. Владик здесь. Боря. Ирэна. Женя. Кто-то совсем как в революционных фильмах запел: "Вихри враждебные..." Крик: "Молчать!"

В камере я поразила женщин своими первыми вопросами. Представление о тюрьме у меня было по художественной литературе о революционерах. Я полагала, что попала в политическую тюрьму, где сидят представители различных партий, устраиваются побеги. Словом, все, как в книжках. Поэтому представь себе изумление моих сокамерниц, когда я спросила: "Можно ли отсюда бежать?" Они в свою очередь спросили меня: "Девочка, а ты сама-то кто?" На что я гордо ответила: "Подпольщица".

Все они были намного старше меня. Нина Круковская сидела за то, что жила в оккупации, Анна Михайловна Гумилевская за то, что брат когда-то считался сионистом. Потом мы вместе с ней оказались в лагере. Какая-то пожилая женщина сошла с ума, все время плакала, ей грозили, что возьмут сына. Малярша из Подмосковья на последнем месяце беременности, за что ее взяли, невозможно было понять. Обычная советская камера тех лет.

Они научили меня многому, что положено уметь советскому эку - перестукиваться, делать иголку из рыбьей кости, добытой из супа, обходиться без шнурков, резинок, пуговиц. Майя Улановская сразу же попала в одиночку, ее никто не научил этому, и она очень мучилась без таких навыков.

Вообще камера хорошо относилась ко мне - оставляла еду, когда я приходила от следователя, заслоняла от бдительного ока надзирателя, смотрящего через глазок, давая вздремнуть после допросов.

Надо сказать, что и допросы на Малой Лубянке были довольно либеральные. Областные следователи не орали, не матерились, не били. Все было спокойно и даже как-то доброжелательно. Когда мы поначалу упорно отнекивались, они иногда говорили: "Ну, это-то вы что уж... Это-то мы знаем..." Может быть, сыграло роль отношение начальника областного управления Герасимова. Первый раз он сам меня допрашивал - средних лет, на вид довольно интеллигентный. Потом мы узнали, что в молодости он учился английскому языку в военной академии у матери Майи Улановской Надежды Марковны и, говорят, был даже влюблен в нее. Во всяком случае нам казалось, что областные следователи пытаются если не спасти, то как-то смягчить нашу участь. И не случайно, первое, о чем нас потом спрашивали в Лефортово - так это о том, как нас допрашивали на Малой Лубянке.

В Лефортово нас перевели через две недели. Это было уже серьезно. Новый следователь мне так и сказал: "Это вам не Малая Лубянка. Здесь особая военная режимная тюрьма". Но сначала-то, пока не начались допросы, я и не знала куда попала. Привезли в одиночку. Глухой темно-зеленый цвет стен. Окно вверху за двойной решеткой, намордник, цементный пол. Столик. Койка не убирается, но лежать днем нельзя. Нельзя даже прислониться к стенке. Подъем в 6. Отбой - в 10. Книг первые полгода не давали. Холодно. Жутко. И все время гул каких-то моторов, от которого сходишь с ума. Тебе кажется, что моторы заглушают крики. И временами ты слышишь эти крики - наяву или галлюцинируешь, - но их глушат.

В общей сложности я провела в Лефортовской одиночке полтора года. Через полгода я просто умирала, галлюцинации замучили, не могла ходить, отекала, сердце болело. Следователь Константин Смелов перевел меня в камеру на двоих. Интересно, что к Майе Улановской он относился очень плохо, а мне пытался помочь.

Но Смелов в Лефортово был исключением. Сначала меня допрашивал Федор Овчинников - садист, сволочь. Бил, конечно. Но не это самое страшное. Он нащупал мое слабое место - Борис. Говорил о нем чудовищные вещи. Только больное воображение сексуального маньяка могло такое придумать. Или так: "Значит, не будете подписывать? Хорошо. Сейчас я вас отправлю и вызову Слуцкого... И знаете, что я с ним сделаю..." И далее подробное описание пыток, которым он подвергнет Борю. И я верила - они все могут.

Или еще такой прием, который действовал на всех. Ведь среди нас были девочки, которые практически ничего не знали - Тамара Рабинович, Алла Рейф. Им давали подписывать протокол, говоря, что это означает лишь то, что им показали этот текст. Они подписывали. После этого нам говорили: "Они-то подписали. А вы говорите, что ничего такого не делали. Значит, они получают высшую меру, а вовлекли-то их вы, они за вас будут отвечать". И ужас от того, что за нас погибнут невинные люди, заставлял говорить: "Да, я это делала".

Борис сломался в одиночке. Он сказал: "Я подпишу это вранье с тем, чтобы скорее кончилось следствие и можно будет попасть в лагерь. Там будут люди, возможность работать, читать". В высшую меру он не верил.

Один мой мемориальный друг так объяснил перемены в нашем деле. Сначала ему не придавали такого большого значения. Даже Абакумов не был склонен его раздуть. Уж больно по-детски все это выглядело. Но потом, когда Абакумова самого арестовали и когда шла подготовка к процессу врачей, появилась идея большого еврейского дела. Вот тогда-то они стали лепить нам терроризм и "погнажи ребят под расстрел".

Мы это почувствовали, когда очень ужесточились допросы и от нас всеми методами стали добиваться признания в террористических планах. Первым признался Женя, потом, чтобы он не шел под террор один, - Боря и Владик.

Смелов устроил нам свидание с Борисом. Считалось, что это очная ставка, но он не задавал нам никаких вопросов, а просто вызвал в воскресенье к себе в кабинет, сел к нам боком, отвернувшись, и мы сумели поговорить с Борей. Потом встал и сказал: "Все, ребята, прощайтесь, вам может быть не придется больше увидеться". Он когда-то жил в районе Арбата, в соседнем от меня дворе. Говорил, что помнил меня ребенком. Я-то его не помнила, он был старше лет на десять, воевал, такого возраста ребят я не могла знать.

Следствие продолжалось год. И еще месяц после его окончания нас продержали в ожидании суда. В этот месяц, за неделю до суда вернули смертную казнь. Так что у судей руки оказались развязаны.

Суд проходил неделю - с 7 по 13 февраля 1952 года. Представь себе зал или вернее большую продолговатую комнату в подвальном помещении Лефортова. За длинным столом лицом к нам трое пожилых мужиков в генеральских мундирах - военная коллегия Верховного Суда СССР. Председательствовал генерал-майор юстиции Дмитриев.

Мы на стульях - четыре ряда стульев по четыре человека в каждом. В первом ряду Борис, Владик Фурман, Женя Гуревич, Владик Мельников. Я во втором ряду вместе с Гришей Мазуром и Инной Эльгиссер. По бокам конвоиры. Больше никого - ни адвокатов, ни прокуроров. Называется: процесс без участия сторон.

Боря совсем седой и почти ослеп. Он и всегда-то был сильно близорук, а тут... Я думаю, к нему применяли пытку светом. Ставили яркую лампу перед глазами. Мне тоже это делали, и я потом долго ничего не видела. Владик Фурман - наголо стриженный, щеки запали, глаза страшно измученные. Они сидели рядом и держали руки сзади, обхватив спинки стульев, и я взяла их за руки. Так мы и сидели, держась друг за друга, втроем, как когда-то, гуляя по московским улицам.

Приговор объявили в ночь с 13 на 14 февраля. Слуцкий, Фурман, Гуревич - к высшей мере наказания. Мне - высшая мера, но с заменой на 25 лет. Девяти из нас - 25 лет. Трем - 10 лет.

Когда объявили приговор, мы стали кричать Боре, Владике и Жене: "Пишите на помилование". Женя обернулся и сказал: "Не будем". Боря схватил меня за руки: "Прощай". Я вцепилась в него, конвоиры бросились к нам, а у меня пальцы свело - не могу разжать. Я видела, как их уводят, слышала их крики: "Прощайте, помилования просить не будем!". Потом меня повели, и я видела, как в коридоре Женя остановился, пошатнулся и упал бы, если б его не поддержали конвоиры. Видимо, до него только в этот момент дошло.

Два дня спустя мне показалось, что я ехала с Борей в одной машине, голос его мне слышался. И все лагерные годы я жила с мыслью, что была с ним рядом, и мне



казалось по голосу, что он нашел какую-то точку, поняв, что он за чертой жизни. Потом уже, посмотрев документы, я узнала, что этого не могло быть. То была галлюцинация. Их казнили 26 марта.

\* \* \*

Те, кто уцелели вернулись весной 1956 года. Мы трое - Амлинский, Тимофеевский и я - встречали их студентами, и это была, пожалуй, счастливейшая весна моей жизни. Опьяненные своей молодостью, мы огромной компанией бродили ночи напролет по Москве, читали стихи, спорили, влюблялись. Романы пошли уже взрослые.

В мае 56-го праздновали мое двадцатилетие. Отец, к тому времени уже реабилитированный и два года работавший в Москве, вернулся из редакции поздно, поздоровался с компанией, пошел в другую комнату, но замер на пороге.

- Сначала я не понял, о чем говорят, - вспоминал он впоследствии.- Думал: так себе щебечет молодежь. А потом услышал: девушка рассказывает о восстании в карагандинских лагерях.

У этой девушки был шрам на голове от удара солдатской саперной лопаткой.

Но жизнь шла своим чередом. Учились. Работали. Женились и расходились. Рожали детей. Уезжали в Израиль. По-моему половина тех, кто слушали приговор в Лефортовском подвале в ночь с 13 на 14 февраля 1952 года, живут теперь в Израиле. Знали бы о будущем своих подопечных те, кто формировали дело, назвали бы организацию не просто еврейской - еще и сионистской.

Сусанна закончила историко-архивный вуз, стала матерью двоих дочерей. Работала в институте Африки. Но, по-моему, что-то не очень занимала ее эта самая африканистика. Тянуло к детям, хотелось работать в школе. Ее бы не остановило требование специального диплома - закончила бы и педагогический институт. Но ее, как всех остальных, не реабилитировали, а амнистировали. То-есть факт преступления оставался. Как же можно было такому человеку доверить наших детей? В самом деле, как?

Помню, в 53-м я стучался в московские вузы, пытаюсь поступить хоть куда-нибудь. В МГУ мне не светило - еврей, да еще сын врага народа. В соответствии с юношескими романтическими представлениями пытался стать геологом. В институте цветных металлов и золота почтенный господин в мандатной комиссии доброжелательно разъяснял: "У нас ведь работа, связанная с разведкой запасов ценнейшего сырья. А у вас отец репрессирован. Ну как мы вам можем доверить такую работу?" Очень убедительно говорил: в самом деле, вдруг возьму да и продам врагу данные об этих запасах.

Так и с Сусанной. Чему может научить детей, человек, состоявший в контрреволюционной молодежной террористической организации? Между прочим, понадобился полный переворот в общественном сознании, чтобы ей аж в 89-м выдали справку о реабилитации.

В школе работать ей не позволили, но дети так и вились вокруг нее - и свои, и чужие. В квартире был какой-то перманентно действующий кружок - подобие нашего. Одни вырастали - превращались в программистов, биологов, историков. Их сменяли другие.

В конце 80-х она с головой окунулась в мемориальскую деятельность. Стала одной из основательниц, членом рабочей коллегии этого движения. Отвечает на тысячи писем, работает в архивах, участвует в правозащитных акциях. Видимся мы не часто. Все немолоды, замордованы житейскими заботами, жизнью на этом сумасшедшем корабле, именуемом Россия. Но 26 марта собираемся.

Горят свечи. Колеблется пламя у трех портретов. Лица юные, полные ума и жизни. Им по 18. Нам по 60. Надолго же мы их пережили. Они словно внуки наши, навеки оставшиеся молодыми.

Выбор пути

Еврейское молодежное движение Польши в межвоенное двадцатилетие было проникнуто духом халуцианства. Халуц - значит пионер в первоначальном смысле этого слова - первопоселенец, первопроходец. Собственно, такими первопроходцами были уже билуйцы - несколько десятков еврейских студентов с Украины, высадившихся в Палестине в начале восьмидесятых годов прошлого века и положившие начало первой алии. О них я писал в первой части этой книги.

Политический сионизм десятилетия спустя оснастил еврейскую молодежь Восточной Европы, одержимую теми же, что и билуйцы устремлениями, более сложным и богатым идейным багажом. У нее имелась возможность усваивать мировоззрение различных партий, разумеется, не вступая с ними в те вассальные отношения, в которых с компартией находился комсомол. Это были самостоятельные организации, уважавшие своих старших духовных патронов и воспринимавшие европейский интеллектуальный потенциал в разных его проявлениях, будь то марксизм, толстовство или скаутизм.

В конечном счете, халуцианство, как и многие другие реалии современной еврейской цивилизации, породила эмансипация. Ее мощный импульс, возникший в период Великой французской революции, воспринимался в еврейском мире со всей страстностью национального темперамента, рождая разные степени восприятия или отрицания религиозно-патриархального прошлого. От полного его усвоения у хасидской ортодоксии, тем более неистовой, что она как бы бросала вызов веку светского просвещения, до полного иудаистического нигилизма, атеизма и слияния с другими народами - у коммунистов.

У еврейского юноши, рожденного в Польше в начале века, было несколько вариантов пути. Духовное воспитание в рамках национальной религиозной традиции, которое давали молодежные движения Агудат Исраэль и Мизрахи, объединяли с миром талмуда, авторитетом раввина и прочими реалиями классического иудаизма. Этот путь выбирало меньшинство. Остальных манил социалистический идеал в том или ином его претворении - коммунистическом, бундовском или сионистском.

Между тем халуцианско-сионистские организации при всей их социалистической подоплеке сохраняли уважение к традиции, семье, национальному прошлому. Разрыв предполагался не с традицией, не с национальным существованием, а с диаспорой - местом унижений и опасностей. Впереди была земля Сиона, на которой и предстояло строить социалистическое будущее. Но туда надо было попасть образованным, физически сильным и морально чистым, со знанием иврита и воспитанным чувством коллективизма. Там болота, пустыни, жара, тяжкий труд. Но там тебе никто не скажет: жид, убирайся домой. Ибо там ты дома.

Всем массовым политическим движениям свойственен романтизм. А уж у сионизма его было больше, чем достаточно.

Половина еврейской молодежи Польши до войны состояла в тех или иных организациях. И самыми многочисленными были халуцианские. Хехалуц, Хашомер Хацаир, что означает Юный страж. (некоторые переводят это название, как "Молодая гвардия"), - разделяли идеологию Поалей Циона. Гордония объединяла молодых людей, исповедующих толстовское учение Аарона Давида Гордона с его центральной идеей труда и прежде всего земледельческого, восстанавливающего разорванную связь с природой.

Халуцианские центры распространились по всей Европе. В Польше насчитывалось более ста халуцианских киббуцев-хахшара ("хахшара" значит - подготовка), где молодые горожане учились возделывать землю, доить коров. Летом они жили в палатках, пели еврейские песни, учили иврит, занимались спортом. Там царил культ здоровья, чистоты, силы. Были свои форма, знамена, значки. Сказывалось влияние скаутского движения.

В конце летнего сезона совершался горный переход, выбирали вершину повыше и покруче, чаще всего в Закопане, и шли. Такой переход назывался "восхождение в Эрец Исраэль".

Халуцианское движение формировалось и развивалось в расчете на отъезд в Палестину. Но вот ведь какой трагический поворот сделала История: использовать накопленный опыт, идеологию, навыки коллективизма и дисциплины пришлось в оккупированной Польше. Цивья Любеткин писала после войны: "Тогда мы еще не представляли, что эти особые по моральному климату островки, эти "киббуцы", созданные для воспитания молодежи в духе любви к человеку, уважения к труду и к миру, впоследствии станут базами Еврейской боевой организации."

В начале сентября 39-го Цивья, как и Рингельблюм, возвращается из Женевы, с XXI сионистского конгресса. (Могла ли она представить себе, что семь лет спустя, на следующем конгрессе ее будут чествовать как национального героя?). Ситуация требует немедленных решений. Страна разламывается на части. Одни халуцианские центры оказываются теперь в Советском Союзе, другие - в Литве, третьи - в Польше, четвертые - в Вартегау.

Всю осень Цивья мечется по городам и местечкам Восточной Европы, направляя принадлежащих к движению молодых людей на север, в сторону Вильнюса, на юг, к румынской границе, откуда прокладывается путь в Палестину.

В канун 40-го года во Львове собирается подпольная халуцианская конференция. За новогодним столом, между тостами и песнями, обсуждается, как жить дальше, как сохранить сионистские идеалы в условиях чрезвычайных законов и репрессий. На этой конференции решено добавить к названию движения "Хе халуц" слово "Дрор" - свобода.

На следующий день Цивья отправляется в Варшаву. Она описывает свои ощущения при столкновении с новой польской действительностью. Границу ей приходится переходить вместе с группой студентов-поляков, предпочитающих немцев большевикам. После ночи блужданий по приграничным тропам по колено в снегу, они оказываются в германской зоне, на маленькой железнодорожной станции, заполненной беженцами. В зал ожиданий врывается немец и набрасывается на евреев: "Вам здесь не место, с поляками и немцами". Спутники Цивьи, которые еще вчера были так учтивы и доброжелательны, показывают на нее: "Это тоже еврейка".

Ночью она едет в поезде. В вагоне - плотная толпа. В темноте кто-то горестно вздыхает. Все тотчас же догадываются: это еврей. И сразу крики: "Среди нас еврей. Он занимает наше место." Еврея избивают и выбрасывают из вагона.

"Только вчера я шагала по улицам Львова и Белостока с высоко поднятой головой, - пишет Любеткин. - Я была там гордой девушкой. А тут, с первой же минуты мной овладело чувство подавленности и унижения. Тогда-то я поняла, что понадобится много сил, чтобы в этом враждебном окружении сохранить человеческое достоинство и тоже шагать с поднятой головой."

Примерно в это же время в Варшаву из Литвы, с советских территорий возвращаются Ицхак Цукерман, Мордехай Анилевич, Иосиф Каплан - все те, кому суждено было впоследствии встать во главе восстания.

Характерно, что молодежные лидеры возвращались чаще, чем их старшие товарищи. Смена партийных руководителей стала дополнительным фактором деморализации гетто, приводила к утрате связей с польскими общественными организациями.

Уже в начале 40-го года в Варшаве вновь образовались штабы молодежных движений. На Дзельной 34, неподалеку от старинной варшавской тюрьмы Павиак, расположился центр Дрор Хехалуц. На Налевках разместились Хашомер Хацаир, Гордония, Акива. То были коммуны, где молодежь жила, училась, проводила собрания.

Разумеется в этих коммунах-киббуцах размещался актив. Численность участников молодежных движений измерялась тысячами. В варшавском Дроре - тысяча человек. В Хашомер Хацаир - восемьсот. В бундовской молодежной организации - пятьсот.

Рингельблюм с восторгом описывает собрание варшавского Хашомера, проходившего в иудаистическом институте под прикрытием литературно-художественного вечера. Белые блузы девушек, спортивные костюмы юношей, подтянутость, чистота устремлений - все это вселяло надежду в эту молодежь.

На вечере присутствовала одна из руководителей польских скаутов Ирена Адамович - личность в высшей степени примечательная. По просьбе халуцианских организаций

она специально ездила в Вильнюс и Каунас узнавать о судьбах местного еврейства. Она же как-то привела в гетто своего друга, в прошлом польского скаута, благодаря немецкому происхождению мобилизованного в качестве врача на Восточный фронт. Встретившись с активистами молодежных движений, он рассказывал о катастрофе, которую пережила немецкая армия в России зимой 1941-42 годов, о приезде в его часть Гитлера. По словам Рингельблюма, один из молодых людей воскликнул: "Если ты видел его так близко, почему же ты его не застрелил?" Потом о пребывании в гетто немецкого офицера, о встрече его с руководителями сионистского подполья ходило немало смутных легенд,

Устраивал семинары и Хехалуц. Отделения этой организации восстанавливались во многих городах Польши, культурно-воспитательная работа шла полным ходом, и решено было собрать инструкторов на специальные курсы. Для докладов привлекли лучшие интеллектуальные силы гетто. С особым вниманием слушали Януша Корчака и его помощницу по приюту Стефанию Вильчинскую. Это были первые в их жизни люди, побывавшие в Палестине.

Под боком у эсэсовской тюрьмы, в квартале, где то и дело слышались выстрелы, где нищие вопили "а штикеле бройт!" ("кусочек хлеба!", за двойным, тройным кордоном, отделяющим их от мира (стены гетто, границы Варшавы, генерал-губернаторства) эти пятьдесят молодых евреев грезил об Эрец Исраиль, о стране, которую почти никому так и не доведется увидеть.

## Царица-суббота

Поселок назывался Таль-Эль - Божья роса. Они были поэты - эти русские академаим, построившие свои виллы на холме неподалеку от Хайфы среди арабских деревень.

Мы сидели на просторной веранде, мраморный пол отдавал тепло жаркого дня. На небе показались первые звезды. Хозяйка зажгла свечи. Наступала суббота. Царица-суббота.

Мы ели печеную картошку, овощи, травы, выращенные здесь же на участке - на усадьбе, как сказали бы в России, пили сладкое вино местного производства и умиротворенно беседовали.

Я не видел этих людей около двадцати пяти лет. Четверть века назад это были активисты зарождавшегося в России в очередной раз сионистского движения. Они распространяли "Эксодус" и Жаботинского, изучали иврит, собирались у синагоги и у ОВИРа, некоторые водили за собой "хвосты" по московским улицам, кого-то тягали на допросы, кого-то пропускали через психушку.

Хозяин дома - коренастый, плотный, сдержанный человек - в юности отсидел за попытку побега в Израиль. Вместе с двумя такими же мальчиками он решил на лодке уплыть из Батуми в Турцию... Попал же на Колыму, где, отсидев срок, работал архитектором в Магадане. Мы познакомились с ним в Москве в конце шестидесятых. К тому времени он являл собой законченный тип политического деятеля - "мы", "наше дело", "наши задачи".

Помню очередной кухонный диспут на тему - объединяться евреям с российским правозащитным движением или самостоятельно добиваться своих целей? Извечная дилемма российского еврейства, впервые поставленная Жаботинским в русскоязычной прессе еще в начале века. Сколько раз потом сотрясались стены гостиных, а в шестидесятые годы занявших их место московских кухонь от столкновения страстей - уж чего-чего, а темперамента здесь хватало - сколько раз призывались тени Троцкого, узников 37-го как пример воздаяния за участие в чужой драке, сколько раз выкрикивалось утверждение особенности, отдельности еврейского пути, ведущего не в сибирскую тайгу, а на холмы Сиона...

И здесь, помнится, все, устав от исторических параллелей, самоутверждающего крика, взаимных обвинений, слушали в конце концов старого грузинского еврея, доселе, как и положено авторитету, молчавшего и теперь выносившего свой вердикт, полный

библейских цитат, произносимых с кавказским акцентом, вердикт гласивший: не объединяться, не смыкаться, отвергнуть предложение московской диссиды.

А в диссиде той и Якир, и Якобсон, и еще много других еврейских имен... И значит, история повторяется.

Боже мой, ведь их давно уже нет в живых. Якир, сломленный в КГБ, после позорного своего отречения опустил, спился, грязный и пьяный бродил по улицам Москвы. А Якобсон, пылкий, романтический Якобсон, уехав в Израиль, покончил собой. Отчего? Кто знает? Ностальгия? Невозможность расстаться с тем, чем жил всю жизнь?

Я был у его вдовы и друга всей его жизни Майи Улановской в Неве Иакове - иерусалимских Черемушках, в доме, в подвале которого Толя сунул голову в петлю.

Тех, кого я встретил в Таль Эль, история пощадила. Пылкие мальчики пятидесятых, пламенные московские сионисты конца шестидесятых, превратились в степенных пожилых израильтян - математиков, журналистов, врачей.

Хозяин дома, некогда застраивавший Магадан, спроектировал дома поселка, где мы находились. То были, как бы у нас сказали, частные виллы людей интеллигентных профессий, объединившихся ради совместного житья. Такие поселки здесь называют мицпэ - возвышенность, холм. Но не просто возвышенность - стратегическая точка в арабском окружении, элемент политики евреизации Израиля. Я видел такие поселки и под Иерусалимом. Они выдвигались дальше новых городских кварталов, клиньями разрезавших окрестные арабские поселения.

Жизнь в мицпэ благостная. Сюда приезжают по скоростной магистрали после дня, проведенного в городском офисе, возвращаются в прохладу просторных комнат, к семейному ужину на открытой веранде... Дети, взяв мамину или папину машину, уезжают на вечеринку, родители сидят допоздна под звездным небом, иногда забредет на огонек сосед, такой же русский еврей из Ташкента или Киева... Но оружие есть почти у всех. К оружию здесь вообще быстро привыкаешь и уже не пялишь глаза на маленький изящный Узи, висящий на ремне между целующимися парнем и девушкой. Когда темнота сгустилась, соседний холм заблистал огнями.

-Это арабская деревня Кфар Иосиф,- сказал архитектор.- Кфар -деревня. А Иосиф - Иосиф Флавий. Здесь была его ставка, когда он во время Иудейской войны командовал еврейскими войсками Галилеи.

Заговорили об Иосифе Флавии. О том, что, судя по всему, у него был нелегкий характер, о его конфликте с центральным руководством. Начали спорить, но уже далеко не с тем жаром, что тогда в Москве. Казалось, что события Иудейской войны были вчера - десять, пятнадцать лет назад, а те московские дискуссии - вступать или не вступать в российское правозащитное движение - бесконечно давно.

Все перепуталось в этой жизни. История и современность. И депутат Шабат, депутат, носящий имя царицы-субботы, в 92-м лезет в драку в российском парламенте, защищая российские либеральные идеалы.

## **ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕПОРТАЦИЯ**

День икс

Пока гетто мечется, переходя от отчаяния к надежде, пока оно пытается усмотреть в мировых событиях знаки своего будущего, а в ничтожном смягчении тюремного режима предвестие благотворных перемен, его судьба определяется на высших этажах рейха.

В очередной раз заглядывая туда, мы окунаемся в мир секретных бумаг ("Мой фюрер!") и доверительных писем ("Дорогой Генрих!"); поэтических кодовых названий - "Хрустальная ночь", "Мрак и туман"; хорошо сшитых мундиров, дивно выделанной черной кожи и рыцарской нагрудной символики; парадных съездов и интимных ужинов "на бивуаке"; партийного братства и земляческих связей - австрийцы, баварцы, кружок друзей Гиммлера; многочасовых совещаний и инспекционных поездок в кавалькадах машин.

И над всем этим миром реет образ истинного нациста - романтического мистика, патриота, семьянина, любителя природы и всяческих божьих тварей.

"Он к товарищам милел людскою лаской. Он к врагу вставал железа тверже."

Эмиграция прекратилась летом сорокового года. Если германский еврей еще мог до того лета выйти из эмиграционного бюро хоть и ограбленным, с заблокированным банковским счетом, с конфискованной квартирой, но все же с зарубежным паспортом, то в Польше это удавалось лишь единицам. Оккупация Польши поставила перед немцами столь знакомую им еврейскую проблему в невиданных масштабах. Можно было принудить к отъезду 100 тысяч австрийских евреев, но что делать с тремя миллионами польских?

В июне 40-го Гейдрих писал Риббентропу, что из-за колоссального увеличения еврейского населения, подпавшего под германский контроль, эмиграция больше не может рассматриваться как способ решения еврейского вопроса. Решиться однако на уничтожение миллионов людей не просто даже и для нацистов. И наступает кратковременный период игр в территориальные проекты - мадагаскарский вариант, создание люблинской резервации...

Поворотным пунктом в судьбе восточно-европейского еврейства стало 22 июня 1941 года.

Отношение к этой дате у поляков и евреев было разным. Для поляков Россия оставалась извечным врагом и похитителем независимости Речи Посполитой, подтвердившим свою враждебность в сентябре 1939 года. В войне двух агрессоров они желали гибели обоим.

Для евреев, с весьма распространенными в их среде социалистическими настроениями, СССР был страной, уничтожившей у себя традиционный антисемитизм. Просоветские симпатии не умерялись даже рассказами о терроре НКВД, обращенном в том числе и против сионистов. Кратковременный союз Гитлера и Сталина воспринимался, как искусственное политическое образование, а война с СССР - как логическое столкновение полярных мировых начал, фашистского и социалистического. Столкновение, где Гитлера ждет судьба Наполеона. Подпольная пресса гетто полна такого рода историческими аллюзиями. Ухудшения своей участи в этой ситуации никак не ожидалось. Здравый смысл подсказывал, что опасность поражения (а не могли же немцы совсем исключать такой вариант развития событий) должна напоминать о послевоенной ответственности за участь евреев. Победа же давала немцам возможность спокойно заняться этой проблемой после войны (до того ли сейчас?) - концентрировать, высылать... К тому же сейчас нужна рабочая сила, а нормальная организация еврейского труда - огромный производственный резерв.

Все это перемалывалось в разговорах, на страницах газет, в партийных клубах с одним и тем же рефреном - уцелеть, выжить, сохранить достоинство, интеллектуальный потенциал нации... Однако на высших этажах германской власти руководствовались совсем иной логикой - не утилитаризма, не здравого смысла, а логикой идеи.

Официальными германскими документами, зафиксировавшими дату и обстоятельства решения о тотальном уничтожении евреев, историки не располагают. Единственное, что имеется - директива Геринга от 31 июля 1941 года как уполномоченного по четырехлетнему плану и председателя совета министров, направленная Гейдриху. В ней указано на необходимость приготовлений для общего разрешения еврейского вопроса в пределах германской сферы влияния в Европе. Но этому должно было еще что-то предшествовать со стороны Гитлера.

Предполагается, что такое указание было сделано в рамках плана Барбаросса, где говорилось об окончательной, не на жизнь, а на смерть борьбе с еврейско-большевистским врагом, стремящимся установить иудейский контроль над миром. Это была логика последнего и решающего боя. И с таких позиций нападение на Советский Союз виделось как самый подходящий момент для уничтожения восточно-европейского еврейства.

То обстоятельство, что обычное человеческое сознание не вмещает в себя, как бы не воспринимает масштаб этого действия - физическую ликвидацию миллионов

беззащитных людей - говорит лишь о неощутимости для этого сознания поэтапной нравственной трансформации фашизма.

Ведь и у нас не сразу наступил 37-й год. Ему предшествовала моральная деградация миллионов людей в ходе революции и гражданской войны, когда они привыкали убивать своих соотечественников, и последовавшее идейное ослепление одних и развращение других... Человеческая жизнь обесценивалась, барьер, отделяющий ее от смерти, становился легко претупаем, образ врага мгновенно, по команде воссоздавался в безрелигиозном сознании.

Когда-то, исследуя такое общенародное российское действо, как коллективизация, я задался вопросом, каким образом можно было его произвести? Как удалось буквально в считанные дни по всей огромной сельской стране включить столь эффективно действующий механизм массовых репрессий? И ответ нашел в материалах знаменитого Смоленского архива, в той его части, где рассказывается о жизни рядовых сельских "партейцев".

Со времен гражданской войны, в течение десяти лет их воспитывали определенным образом. С юных лет им объясняли, что есть две правды - бедняцкая и кулацкая, что классовый подход заменяет все моральные категории человечества. Их учили не щадить ни отца, ни матери, ни друзей, ни соседей; доносить о настроениях, слухах; отнимать в интересах класса чужое имущество, а если надо и жизнь.

Конечно, это были обыкновенные малограмотные парни, с трудом владевшие политической терминологией. По-настоящему научились они одному - выполнять любое указание, преступать по этому указанию любую человеческую норму. Эти-то парни и провели геноцид в российской деревне тридцатых годов.

Но и Германия сороковых тоже не сразу подошла к геноциду евреев. И там были война и революция, унижение и развращение, жесткое идеологическое воспитание. Только вместо слова "класс" стояло слово "нация". Там тоже были активные молодые немцы, конечно же, внешне куда более цивилизованные, чем сельские российские парни, но также, как и они, готовые преступить любую моральную норму.

Массовые расстрелы евреев начались в украинских и белорусских местечках по мере наступления германской армии. Их проводили специальные эйнзатцгруппы, что шли в фарватере войск. Слухи об этих расстрелах доходили до Варшавы, но они воспринимались как обыкновенные бесчинства наступающей армии.

К зиме такого рода убийства прекратились. Трудно стало проводить захоронения - копать огромные рвы. К тому же проведение массовых расстрелов населения, и в том числе женщин и детей, дурно действовало на психику немецких солдат.

Требовались иные методы и средства, соответствующие огромным масштабам поставленной задачи. И выполнять ее должны люди, специально подготовленные для этой грязной, тяжелой, но очень важной для рейха работы. К этому времени в недрах СС уже имелись такие специалисты. Их возглавлял способный молодой австриец, за шесть лет сделавший стремительную карьеру, пройдя путь от унтершарфюрера (капрала) в Дахау, этой кузнице охранных эсэсовских кадров, до начальника секции в центральном аппарате гестапо.

Его сравнительно скромное звание - оберштурмбанфюрер, что соответствовало армейскому подполковнику, не отражало меры его влияния и могущества, обусловленных деликатностью, секретностью и масштабами порученного дела. Он вхож к министрам, имеет право прямого доклада Гиммлеру, располагает территориальной сетью сотрудников, действующих в региональных округах СС (в Варшаве это Брандт и Менде).

Осенью 41-го молодой австриец, а читатель без сомнения понял, что речь идет об Эйхмане, особенно деятелен и мобилен. Он летит в Киев к Гиммлеру, колесит по Польше, приезжает в Освенцим к Рудольфу Гессу. Тот в свою очередь предупрежден о визите Эйхмана Гиммлером, вызывавшим коменданта Освенцима для строго конфиденциальной беседы, где все говорилось прямым текстом, без эвфемизмов. "Всех без исключения евреев, находящихся в пределах нашей досягаемости, надо уничтожить сейчас во время войны. Если нам теперь не удастся разрушить биологические основы еврейства, то когда-нибудь евреи уничтожат германский народ..."

Вам предстоит выполнить эту задачу. Это трудная работа, требующая полного самопожертвования. Все подробности Вы узнаете от оберштурмбанфюрера Эйхмана..."

Они ходили и ездили по огромной лагерной территории, обсуждая все детали выполнения порученной им задачи. Разговаривали доброжелательно и откровенно, испытывая удовольствие от общения. Два подтянутых, еще молодых немца в черных эсэсовских мундирах. Их роднило многое - общая среда, воспитание, культура. Впоследствии, когда Гесса повесят в том самом лагере, по территории которого они разгуливали, Эйхман в своем аргентинском подполье расскажет о том, какой чистый, искренний и благородный человек был Гесс, как легко и приятно было с ним работать. Но пока до этого далеко, и они поглощены деталями предстоящей акции.

Окись углерода не подходит. Нужен какой-то быстродействующий эффективный газ. Надо найти помещение для камер, подходящее место для длинных и глубоких рвов, куда предстоит складывать трупы. О сжигании тел они тогда еще не думали, это потом, после перелома войны Гиммлер отдаст приказ выкопать и сжечь тела. Пока же предстоит найти место для рвов.

Больше всего им понравился старый крестьянский двор в северо-западном углу лагерной территории. Здесь имелась просторная луговина для захоронений, помещение, где можно умерщвлять газом одновременно восемьсот человек.

Они долго стояли на этом месте, которое еще хранило память о недавней мирной крестьянской жизни и которому суждено под именем Бжезинка войти в историю Холокоста, радуясь тому, какой удачный выбор они сделали.

Скоро они встретились снова. Гесс был вызван в Берлин на совещание возглавляемой Эйхманом еврейской референтуры гестапо. И здесь тоже шли разговоры в основном о делах хозяйственных, организационных - емкости помещений, графиках движения товарных поездов. Дата начала акции пока не называлась. Это был день икс, к которому надлежало подготовиться как можно скорее.

В декабре 41-го опробовали экспериментальный полигон в Хелмно в пятидесяти километрах от Лодзи. То была первая попытка уничтожения евреев не на месте жительства, а свозя их в специальный лагерь, оборудованный для этих целей. Железнодорожная рампа, у которой выстраивали обреченных людей, дорога смерти, еврейская зондеркоманда для уборки трупов - весь этот дьявольский колорит, свойственный потом Треблинке, Освенциму, Майданеку, уже имелся в этом уединенном старом замке. Впрочем, газовых камер кажется не было. Пользовались душегубками, привезенными из Минска. Газовые камеры, сумочки и абажуры из человеческой кожи - все это было еще впереди. Система совершенствовалась постепенно.

О Хелмно знали в Варшавском гетто. Якову Грояновскому удалось сбежать из тамошней зондеркоманды и добраться до Варшавы. Но что давало это знание, что оно могло изменить? Черняков заявил, что, по заверению генерал-губернатора Франка, три гетто - в Варшаве, Кракове и Радоме - уцелеют обязательно. Тем оставалось и утешаться.

В самом конце 41-го у Эйхмана возникли трудности в высших эшелонах власти. Так, министр оккупированных территорий Розенберг в указаниях для подведомственных ему чиновников написал, что "еврейская проблема будет разрешена во всей Европе после войны". То был разноречивый, непорядок. Имелась недвусмысленная директива Геринга. Решили собрать совещание представителей разных министерств причастных к делу - оккупированных территорий, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, народного хозяйства, партийного аппарата.

Это совещание, также вошедшее в историю Холокоста по имени берлинского предместья, где оно проходило как конференция в Ваннзее, в сущности было обыкновенным бюрократическим толковищем с долгим и нудным словоговорением, с подтекстами, за которыми легко угадывалось соперничество ведомств.

Председательствующий Гейдрих напомнил, что Геринг именно его назначил на должность уполномоченного по подготовке окончательного решения еврейского вопроса в Европе, но тем не менее требуется совместная работа заинтересованных



ведомств. Проект должен быть проработан всесторонне с учетом всех аспектов - материально-технического, финансового, организационного. Затем он сделал обстоятельный доклад с историей вопроса, с раскладом еврейского населения по тридцати трем странам и территориям Европы и даже с исследованием профессиональной занятости советских евреев. Анализировались обстоятельства предстоящей эвакуации - где легче, где труднее ее проводить.

Секция Эйхмана здорово поработала над этим докладом - все было продумано, конкретно и обстоятельно расписано. Тщательно обсуждался вопрос о детях от смешанных браков, о том, в каких случаях применять стерилизацию.

Четырнадцать господ в хорошо сшитых мундирах и цивильных костюмах сидели за длинным полированным столом в изящной вилле и мирно, многословно, с вежливыми оборотами речи, взаимными комплиментами обсуждали некую организационную проблему. И цифра, определявшая масштаб этой проблемы - 11 миллионов людей, подлежащих уничтожению, - лишь изредка мелькала среди прочих других цифр.

В фашизме есть и театральность, и будничность. Но театральность его в сущности смешна. А будничность страшна по-настоящему.

Потом были еще совещания. Проект прорабатывался всесторонне. День икс все не наступал.

Среди многочисленных мероприятий, проводимых в его ожидании, было и строительство секретного объекта на востоке варшавского дистрикта.

У концлагерей свои судьбы. В превращении десятка гектаров соснового леса неподалеку от железнодорожной станции Треблинка в место самого массового в мире уничтожения людей - 800 тысяч за 16 месяцев - случайность переплелась с закономерностью.

Началось с того, что некий германский чиновник по имени Эрнст Граммс проявил деловую предприимчивость. Он вознамерился приватизировать гравийный карьер, созданный перед нападением на Советский Союз для строительства оборонительных укреплений. Армия ушла далеко на восток, грех было не воспользоваться государственной собственностью, и Граммс организует небольшую фирму по производству бетона.

Требовалась рабочая сила. Граммс, возглавлявший в Соколове Подляском районную германскую администрацию, предлагает организовать на базе карьера трудовой лагерь. Эсэсовские власти пошли ему навстречу (не исключено, что пришлось "подмазать" - люди всюду люди). Словом, в ноябре 41-го в Треблинке действовал лагерь, куда евреи попадали в порядке трудовой повинности, а поляки за различные проступки.

Дальше на сцену выступают силы куда более серьезные, чем провинциальная германская администрация. В своих вояжах по Польше Эйхман был не только в Освенциме. Треблинка устраивала его по всем параметрам - близость к самому крупному резервуару еврейства - Варшавскому гетто, лесная глухомань, соседство с трудовым лагерем, который может поставить рабочую силу для возведения лагеря уничтожения.

Весной 42-го Варшавский юденрат неоднократно получал требования о незамедлительной поставке строительных материалов на некий объект на востоке Варшавского дистрикта. Ничего необычного в таких требованиях не было. В юденрате никому и в голову не могло придти, что на сей раз речь идет о строительстве могилы для варшавских евреев.

В середине июля лагерь уничтожения был построен. Тринадцать гектаров земли очистили от леса, оградил это пространство колючей проволокой, густо переплетенной сосновыми ветками. Вдоль всего периметра поставили караульные вышки с пулеметами. Большую часть пространства занимали бараки охраны, мастерские, склады, гаражи. Меньшую - просторное кирпичное здание.

Войдя в него, вы увидели бы типичное банное заведение: коридор, с обеих сторон входы в помещения с душевыми рожками, белыми изразцовыми стенами. У этих банных помещений имелись некие особенности - герметически закрывающиеся двери и слегка наклонный к наружной стене пол, выстланный терракотовой плиткой. К этой

стене прикреплялись откидные, открывающиеся наружу плиты. В потолке - отверстия, откуда поступал выхлопной газ от двигателей, установленных в пристройке.

После того, как всякое движение в камере, плотно набитой голыми людьми, замирало, плиты в наружной стене открывались, газ улетучивался, смешиваясь со смолистым лесным воздухом, а обнаженные трупы крючьями вытаскивали и сжигали на костре. Затрат на крематорий здесь не предусматривалось.

В те же самые июльские дни, когда в Треблинке завершалось строительство лагеря, в северо-западном углу варшавского гетто, на улице Ставки, там, где проходили железнодорожные пути, ведущие на Гданьский вокзал, очистили школьные здания и глухо отгородили примыкающий к ним просторный двор. Этому месту, называвшемуся Умшлагплац, суждено было стать сборным пунктом для отправки в Треблинку.

## Конвейер

Нет сил писать об этом. Перед каждой главой я снова и снова просматриваю документы - фотографии, дневники, отчеты, мемуары. И словно падаю в глухую темную бездонную пропасть, где нет ничего, кроме душного запаха смерти.

Польский писатель Богдан Войдовский в своей книжке "Хлеб, брошенный мертвым" показывает колонну на Умшлагплац.

- Мама, далеко еще идти?

-Пустите меня. У меня швейцарский паспорт! Господин жандарм, у меня швейцарский паспорт!

-Хаим, ты взял термос с чаем?

-Марширен, марширен!

- Мама, я хочу писать.

- Дорогой мой, мы должны быть вместе. Бела, Регинка... Возьми их за руки.

- У кого есть "свинки"? Быстро на левый тротуар. Быстро.

- Ты взял зонтик, Арон? А если дождь?

- Рыбонька, золотая. Иди, иди. Так надо.

- Марширен, марширен!

-Господин жандарм, дорогой, минуточку. У меня официальный сертификат на выезд в Палестину. Почему же я должен ехать с вами?

- Шма Исроэль, Адонай Элогенум, Адонай эхад! (Слушай Израиль, Господь наш Бог - Бог единый)

- Кто там плачет? Ты, Розочка? Не надо, не надо.

22 июля - 6250... 23 июля - 7300...1 августа - 6220...15 августа - 3633...8 сентября - 13596...

Каждый день из Варшавы в Берлин шли сводки. Почти два месяца с небольшими перерывами. В Берлине непосредственный контроль за акцией осуществлял начальник личного штаба Гиммлера Карл Вольф. Он находился в постоянном контакте с имперским министром транспорта Теодором Ганзенмюллером. За подачей вагонов и прохождением составов на стокилометровом отрезке пути от Варшавы до Треблинки следили, как в дни стратегических сражений.

Вольф был любимцем Гиммлера. Он называл его "мой Вольфик". Вольф - волк.

Вольфик - волчок, волченька... Им были свойственны обычные человеческие чувства - преданность, нежность по отношению к друзьям.

Фотообъектив поймал их поднимающимися по лестнице втроем. В центре - Гиммлер в форменном пальто черной тонкой кожи, переливающейся мягчайшими складками.

Слева - Вольф в эсэсовском мундире - железный крест, шпага, перчатки. Справа - Гейдрих. Куда идут они по этой лестнице в сопровождении свиты?

На снимке мальчик лет семи с поднятыми руками. Пальтишко, кепка, рюкзак. Холеное, красивое лицо. Этот снимок обошел мир. Он воспроизводился сотни раз. Он стал символом варшавского гетто. И мать с повернутой головой. И солдат с наставленным

автоматом. Фотограф выстроил мизансцену. Заставил мгновение остановиться. И оно остановилось. Навсегда.

28 июля - 5020... 6 августа - 10085... 26 августа - 6430

Непередаваемо выражение глаз мальчика. В них предсмертная тоска и печаль. Точно такое же выражение глаз на старом портрете Корчака - узкое лицо, аккуратно подстриженная борода и этот взгляд - будто наперед знает, что его ждет.

За два дня до ухода вместе с детьми на Умшлагплац он записывал в своем дневнике: "Я полил цветы, бедные растения сиротского приюта, растения еврейского сиротского приюта. Спекшаяся земля вздохнула.

За моей работой присматривал часовой. Раздражает его или умиляет это мое мирное занятие в шесть часов утра?

Стоит и смотрит. Широко расставил ноги...

Я поливаю цветы. Моя лысина в окне - такая замечательная мишень.

У него карабин. Почему он стоит и спокойно смотрит?

Нет приказа.

Может быть до военной службы он был сельским учителем, а может быть нотариусом, подметальщиком улиц в Лейпциге или официантом в Кельне?

Интересно, что бы он сделал, кивни я ему головой? Махни ему дружески рукой?"

Для Варшавы день икс настал 22 июля. И для всякого человека, знающего еврейскую историю, в этом заключено поразительное мистическое предзнаменование. Ибо на 22 июля в тот 1942 год выпало Девятое ава - Тиша бе-Ав - традиционный день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. В этот день "соблюдаются все знаки печали по умершим" - постятся, босыми сидят на полу, читают скорбные талмудические тексты, спят, подложив под голову камень. К двум величайшим трагедиям еврейской истории, произошедших Девятого ава, присоединялась третья - начало уничтожения крупнейшей в Европе еврейской общины.

За неделю перед этим днем в Варшаву из Люблина прибыло подразделение эйнзатцгруппы под командованием штурмбанфюрера Германа Хефле в составе пятидесяти эсэсовцев и нескольких сотен украинцев, литовцев и латышей. Хефле непосредственно подчинялся руководителю СС и полиции безопасности Люблинского округа генералу Одилю Глобчнику. И эйнзатцгруппа, и сама акция назывались "Рейнгард" в честь только что убитого в Праге Рейнгарда Гейдриха. Таким образом, склонность к мрачной и торжественной символике, свойственная немцам, проявилась и здесь.

22-го в 10 утра Хефле явился в юденрат и уведомил Чернякова, что все варшавские евреи, независимо от пола и возраста, с определенными исключениями депортируются на восток. Первый контингент в составе шести тысяч человек отправляется сегодня в 16.00.

В середине дня на стенах домов гетто появилось соответствующее объявление. В нем сообщалось, какие категории жителей освобождаются от депортации. Это работники немецких предприятий, служащие юденрата и еврейской полиции, штат госпиталей и санитарных служб с семьями, к которым относятся жены и дети.

Первые эшелоны комплектовались в основном за счет нищих, узников еврейской тюрьмы и особенно беженцев. Беженцы доверчиво шли на Умшлагплац. Их так часто гоняли из одного конца империи в другой, что "езда в незнаемое" стала привычной. Да и что они теряли в Варшаве? Миску супа и место на нарах в убежище? Казалось, что худшего ожидать трудно. А вдруг и в самом деле это очередное переселение на восток означает работу и еду? Слово "Треблинка" им ничего не говорило.

Затем пришел черед "непродуктивного элемента" - тех у кого не имелось заветного документа с печатью СД, удостоверяющего принадлежность к германскому предприятию. Эти предприятия - шопы, - еще недавно ощущавшие острую нехватку людей, теперь задыхались от наплыва желающих работать там. Шопы переставали платить, ограничиваясь лишь скудным пайком, а люди все шли и шли. Требовали взятки за оформление - давали взятки. Ставили условием наличие собственного инструмента - цена швейной машинки на черном рынке взлетала до астрономических

высот - приходили со своими машинками. Число работников пошивочных мастерских Вальтера Теббенса за считанные дни поднялось с 4500 до 12 тысяч.

Кто только не устремлялся в цехи столярных, меховых, металлообрабатывающих фабрик - домохозяйки и адвокаты, мелкие торговцы, ремесленники, предприниматели. В цехах царил невероятная теснота, новички, никогда не занимавшиеся физическим трудом, ломали оборудование. Старые рабочие ополчались на этих "жирных котов", которые только теперь, в минуту смертельной опасности пришли на производство. Из-за них его могут закрыть. Еще одно противостояние возникало в гетто, и без того раздираемого противоречиями.

Заветный аусвайс с печатью выдавался в офисе еврейской полиции, где теперь обосновались руководители еврейской секции варшавского гестапо - Карл Брандт и Гергардт Менде. Теперь это самые известные люди в гетто - от них зависело, жить тебе или умереть. О них знали все - характер, привычки, любимые словечки. Знали, что Брандт переменчив, подвержен вспышкам беспричинной ярости, что судьбу человека решает, не глядя в документы, в зависимости от настроения. Менде же напротив спокоен, никогда не теряет самообладания и аусвайсы выдает более щедро, чем его начальник.

Впрочем, и этот документ не долго служил защитой. Умшлагплац подобно Молоху пожирал все новые и новые тысячи жертв. В августе началась охота за людьми на улицах, осада шопов. К этому времени о цели депортации стало известно все.

С самого ее начала неясные и мучительные предчувствия томили гетто. Куда уходят эшелоны? Что значит - на восток? Дверь товарного вагона на Умшлагплац как бы отрезала людей от земного существования, заставляя лишь догадываться, что происходит с ними в ином мире.

Правда, по рукам ходили письма, которые, казалось бы, должны были вселять успокоение - живем под Брестом или под Белостоком, направили на сельхозработы, еда сносная, есть крыша над головой. Как попадали эти письма в гетто? Какой-то железнодорожник принес, знакомый поляк передал. При этом выяснялось: "Я не читал, но сосед читал собственными глазами."

Политические лидеры знали о Хелмно, о расстрелах в Понарском лесу под Вильно. Но здесь, в Варшаве - другие масштабы. Уже в начале августа вывезли под сотню тысяч человек. Неужто же они все погибли? Бунд, имевший тесные связи с польским социал-демократическим подпольем, решил отправить на арийскую сторону связного со специальной целью - проследить путь эшелонов. Пошел Залман Фридрих, подпольная кличка "Зигмунт".

На фото в моем портретном мартирологе он строго одет - галстук, белая рубашка, костюм. Лицо худое, мужественное, нееврейского типа, как и положено связному. В 42-м ему 31 год. Он доказал свое спокойное мужество и во время путешествия в Треблинку, и год спустя в восстании.

В августе 42-го Зигмунт - на арийской стороне Варшавы ищет выход на железнодорожников, которые помогли бы ему узнать судьбу уходящих с Умшлагплаца поездов. Его выводят на машиниста, с которым он уезжает с Гданьского вокзала по линии Малкия - Соколов.

В Соколове линия раздваивается, и одна ветка идет в направлении станции Треблинка. Именно по этой ветке, по сведениям местных железнодорожников, ежедневно уходит товарный варшавский поезд, набитый людьми. Возвращается он пустой. Доступ гражданского населения в Треблинку запрещен. Все это служит косвенным свидетельством существования лагеря уничтожения. Однако, Зигмунту нужны прямые доказательства. Он бродит по Соколову, осторожно расспрашивая людей, и встречает на базаре двух евреев.

В рассказах об этой встрече говорится: "двух голых беглецов из Треблинки". Наверное все-таки полуодетых. В одном из этих людей Зигмунт узнал знакомого бундовца Узиэля Валлаха, между прочим племянника бывшего советского наркоминдела, а тогдашнего посла в Вашингтоне Максима Литвинова.

Можно себе представить себе эту встречу в провинциальном польском городке и рассказ Валлаха, который по возвращении Зигмунта в гетто, дал возможность бундовской подпольной газете "На страже" открыть, наконец, тайну Треблинки.

Ни рассказ Валлаха, ни статья в газете не дошли до нас. Во всяком случае я не обнаружил эти документы в доступных мне источниках. Есть, правда, другое свидетельство, дающее представление о том, что же происходило с людьми после того, как за ними закрывалась дверь товарного вагона.

"Когда поезд пошел, мысль о близкой смерти охватила всех (действие происходит в конце августа, когда о Треблинке уже было известно - М.Р.-З.), возбуждая ужас со всех сторон слышались слова предсмертной молитвы кадиш."

В архиве Рингельблюма сохранились несколько тетрадных листков, с обеих сторон густо исписанных фиолетовыми чернилами. Показания безымянного варшавского еврея, также бежавшего из Треблинки и, судя по всему, погибшего впоследствии во время восстания. Он описывает чудовищную духоту вагона, обнаженных, покрытых потом людей, теряющих сознание. Долгие остановки. Во время одной из них предпринимается попытка побега через открытое окно, мгновенно пресеченная выстрелами. В какой-то момент в вагоне появляется латыш с пистолетом, требуя отдать деньги и драгоценности. (Солдат национальных подразделений, под руководством немцев проводивших депортацию, почему-то называли аскарары, видимо, от искаженного турецкого - аскер, солдат).

На смену аскарару приходит эсэсовец, который наоборот вежлив и предупредителен. Он сообщает, что их везут в село Треблинка для сортировки и последующей отправки на работу. Так хочется верить этой вежливости и убедительности. А вдруг...

Даже на лагерном плацу, когда женщины и дети уже уведены, а мужчины с ужасом смотрят на окружающие их трупы и горы одежды, им обещают работу и жизнь. "А эти, - эсэсовец показывает на трупы, - эти были бунтовщиками".

Автор рукописи попадает в команду мужчин, которых используют для выноса и захоронения тех, кто задохнулся в вагонах. Проявляя невероятную изворотливость, прячась в кучах тряпья, подкупая охранника найденной золотой монетой и отсиживаясь в уборной, он переходит из одной команды в другую, спасаясь от уничтожения. В конце концов он укрывается в вагоне со старой одеждой, убегает из лагеря и добирается до Варшавы. Вот как он описывает последнюю дорогу обитателей гетто.

"От среднего плаца через лес ведет дорога в "баню". Это небольшое строение, скрытое в зарослях и замаскированное зеленой сеткой, расположенной на крыше. Гонимые в баню люди раздеваются донага, отдавая снимаемые предметы одежды специально для этого предназначенным работникам, расставленным по дороге...

В баню впускают одновременно 800-1000 человек. Никто из нас, работников, не видел однако, каким способом происходит умерщвление. Казалось нам, что около бани носится трудно уловимый запах хлора. Никогда не работали при выгрузке тел из камеры, знали однако, что они переносятся до ближайших рвов, где затем сжигаются вместе с различными лагерными отходами. Перед этим в небольшой, стоящей рядом с баней будке, у трупов вырывают золотые зубы. Занимаются этим специальные привилегированные работники - могильщики, в конце концов осужденные на ту же самую смерть."

Это одно из первых свидетельств о Треблинке. Впоследствии возникнет целая литература. Будет описано все до мельчайших подробностей - как хоронили и выкапывали, чтобы сжечь; как убивали одних, а из других воспитывали рабов новой породы и как рабы восстали и уничтожили лагерь. Все будет запечатлено, и огромный мавзолей станет на том месте - булыжная дорога смерти и лес камней мемориального кладбища. Все уйдет в историю. И предсмертный крик малыша, узнавшего отца среди людей, разбиравших одежду погибших: "Папа, я знал, что найду тебя..."

Все уйдет в историю. А пока гетто загоняют в коридор - из дома, с улицы - в колонну, в стены Умшлагплаца, в вагон, на станционный дебаркадер Треблинки и дальше, дальше по пропитанной сосновым духом дороге в белую изразцовую камеру.

И мне снится сон. Кошунственный сон. Я спускаюсь по эскалатору московского метро, как обычно утром. На перроне - густая толпа. Люди сумрачны, молчаливы. У них какие-

то размытые, серые, почти неразличимые лица. Подходит поезд. Он полон. Толпа штурмует на мгновение раздвинувшиеся двери. Жаркое дыхание, потные тела, искаженные лица, освещенные желтым светом. Мне удается зацепиться рукой за поручень и вдавить себя в крохотное жизненное пространство. Чей-то голос спокойно, размеренно говорит по немецки: "Лебенсраум". Двери смыкаются, отрезав остальных, зажав кончик моего пальто. Почему-то я вижу и лица оставшихся - они также серы, смутны, плывут в сумраке перрона. Я знаю: там - смерть. Здесь, в этой потной духоте вагона - лебенсраум - жизненное пространство. Я уехал от смерти.

В середине августа о Треблинке знали все. Но и это знание не рождало сопротивления. Рингельблум пишет в дневнике о беспомощности человека перед инстинктом жизни. И как же немцы играли с этим инстинктом, с какой плотоядностью, с каким знанием человеческой природы распространяли письма с востока, распускали слухи, что акция вот-вот кончится и те, кто останутся, - уцелеют.

Наконец, когда конвейер Умшлагплаца начал замедлять ход, объявили о выдаче уезжающим продовольственного пайка - трех килограммов хлеба и килограмма мармелада. "Зачем же давать хлеб, если бы хотели убивать?," - думает изголодавшийся человек. Голод побеждает в борьбе со страхом, и Умшлагплац забит добровольцами. Поезда уходят дважды в день, будучи не в состоянии взять всех желающих. Но и этот источник иссякает. Начинается систематическая блокада домов. Вот как описывает ее Марк Эдельман в изданной сразу же после войны книжке "Гетто борется".

"Блокаду проводят жандармы, украинцы и еврейская полиция. Роли поделены так: жандармы окружают улицы, украинцы тесным кольцом окружают дома, а еврейские полицейские входят во дворы и призывают всех выйти. "Все евреи должны выйти вниз с пятнадцатью килограммами багажа. Кто не сойдет, тот будет расстрелян."

Со всех лестниц сбегает люди, набрасывая на себя все, что возможно, некоторые идут так, как стояли, едва успев подняться из кровати. Некоторые с пожитками. Пакеты, узлы, горшки. Другие бросают вокруг беспокойные взгляды. Состоялось. Выстраиваются группами у домов, стремятся расположить к себе полицейских. Но разговаривать нельзя. Из соседних домов выходят такие же группы дрожащих, отчаявшихся людей. Жандарм карабином указывает на случайного прохожего, которого слишком поздно предупредили. Еврейский полицейский тянет его за рукав в группу. Если полицейский более или менее порядочный, то он берет записку с адресом семьи, чтобы сообщить.

Оставленные дома с распахнутыми дверями. Их велят оставлять открытыми. Все это обходят украинцы. Если двери закрыты, их выламывают ударом сапога. Затем два-три выстрела - конец тех, кто не сошел.

Блокада окончена. На столе стынет недопитый чай. Надкусанный кусок хлеба облепляют мухи. Те, кто за пределами блокады, отчаянно ищут близких среди ведомых людей. За ними мобилизованные рикши везут старцев и больных.

Дорога на Умшлагплац недалеко. Площадь переселенцев, место, откуда отходят вагоны, находится на самом краю гетто - на улице Ставки. Ее окружают высокие стены, охраняемые жандармами. Узкий вход. Люди держат в руках документы. Стоящий при входе жандарм бросает на них взгляд. "Рейхс!" - направо - жизнь. "Лингс!" - налево - смерть.

Хотя известно, что слова бесполезны, каждый пытается доказать, что он нужен немцам, и вымолить себе "рейхс". Иногда жандарм отбирает всех низкорослых и говорит: "рейхс!". Иногда отбирает блондинов: "Лингс!" Иногда утром выбирает низкорослых, вечером высоких. Лингс, лингс, лингс...

Человеческая волна заливает всю площадь и три больших трехэтажных школьных здания. Людей больше, чем требуется. Остальные - в запас. По четыре-пять дней ждут вагонов. Жмутся к стенам, разбивают биваки. В залах, коридорах, на лестницах - грязно, липкое болото заливаает пол. Воды в кранах нет, канализация не работает... □

Транспорты уходят утром и вечером, дважды в день. Во время погрузки непрерывная цепь украинцев окружает плац с тысячами людей. Выстрелами их загоняют в вагоны для скота. В зданиях люди бегут на верхние этажи, к дверям госпиталя, прячутся на

крыше, лишь бы переждать транспорт и на день продлить жизнь. Впрочем, украинцы не перетруждаются, людей достаточно для погрузки. Мать не может втиснуться в вагон, ее отрывают от ребенка. Защищаешься? Короткий выстрел. Медленно сдвигаются двери. Прикладами спрессовывают человеческую массу. Наконец, поезд трогается. ...

Блокады становятся все более грозными, так как территория сужается. Но люди начинают скрываться. Поэтому каждый еврейский полицейский обязан привести на Умшлаг семь человек в день.

6 сентября все оставшиеся в живых должны явиться в район улиц Генша, Заменгофа, Любецкого, Ставки. Здесь - последняя регистрация. В четырехугольнике этих улиц собирается все гетто - рабочие фабрик, служащие юденрата, служба здоровья, работники госпиталя. Каждой немецкой фирме, а также юденрату немцы оставляют определенное количество людей. Им выдают номерки. Номерков мало. Но само их существование спутало все мысли, и все, кроме получения этого номерка, перестает быть существенным. Одни борются за него с криками, требуя права на жизнь, другие ждут своей участи в отупении.

В наибольшем напряжении проходит последняя селекция. Избранные уводятся к месту работы. Остальных отправляют на Умшлагплац. Под самый конец туда попадают родственники полицейских.

То, что происходит в это время на Умшлагге, не поддается описанию. Больные, старики и дети лежат в холодных залах в моче и кале. Няньки выкрикивают имена своих близких и с диким блеском в глазах вводят им морфий, чтобы они умерли спокойно. Чья-то милостивая врачебная рука вливает по очереди в воспаленные рты больных детей воду с раствором цианистого калия. Врачи отдают свой циан, а это самая большая драгоценность в гетто.

12 сентября акция закончена. Официально в Варшаве остается 33 400 евреев, работающих на фабриках. Среди них три тысячи работников юденрата. А фактически с теми, кто прячется по подвалам (их называли "дикие коты" - М.Р.-З.), около 60 тысяч человек. Все они сконцентрированы в бараках при местах работы. Новые стены делят гетто. Между блоками тянутся длинные, мертвые в своей тишине улицы со стучащими ставнями открытых окон и ужасным запахом не погребенных трупов."

## Похороны

Живет в пригороде Москвы, в Кусково пожилая женщина. У нее десятиметровая комната в дощатом доме-сараяе, где кроме нее еще обитают пьяница-рабочий с женой и одинокая учительница.

Дом промерзает зимой, сухо тлеет летом. Еду приходится готовить на керосинке, а воду носить через висячий мост над железнодорожным полотном. Поезда идут совсем рядом, так что окна дребезжат днем и ночью. По другую сторону дома - химический завод. Земля кругом замусоренная, исковерканная - скудная ржавая земля городских окраин, где пьют водку на чахлой траве, блюют, матерятся, дерутся.

Она только ночует в этом доме. В шесть утра уезжает в заводское училище, где работает сорок лет, а вечером едет на другой конец города, ухаживать за парализованной сестрой.

Работает она в училище резчицей металла, распиливает круглые литые жерди, которые потом ученики превращают в детали. Она крохотная, худая, ростом с двенадцатилетнего ребенка. Непонятно, как она своими сухими руками поднимает тяжелые металлические болванки, которые едва под силу мужику. Ее сослуживцы сначала удивлялись, а потом привыкли.

Привыкли и к тому, что питается она водой и хлебом, то и другое приносит из дому. Когда угощают, отказывается резко, неприязненно. И к этому привыкли, и потому не угощают. Зарабатывает она семьдесят рублей. В последние два года - сто. Знают, что посылает тридцать - родственникам на Украину. Знают, что кроме парализованной сестры, ухаживает за больной старухой-соседкой.

Она не всегда была такой - сухой, с тусклыми глазами и стародевическими странностями. Говорят, что перед войной был у нее жених. Его убили на фронте. Она замкнулась, ссохлась, ушла в себя, в свое самопожертвование, в неприятие всякой иной жизни, никогда ни у кого ничего не просила, только отдавала. Так было сорок лет. На старой фотографии, чудом сохранившейся после ее смерти, она молодая, с открытым чистым лицом, в группе смеющихся заводских людей, сидящих в развалку где-то в доме отдыха. Одежда, быт - конца тридцатых годов. Скуластые русские лица и среди них ее - узкое, тонкое, заостренное, со смущенными, смеющимися - раз уж всем вам так весело - глазами. Война и послевоенное существование, ссоры и слухи, работа и быт, пьянство и собрания, новоселья и беды - все как бы проходило мимо нее.

Ее любили, но считали, видимо, блаженной. Не совсем, конечно, блаженной, но эдакой - со странностями. Однажды вечером она приехала от сестры, больная, измученная, бесконечно усталая, и заснула, сидя на табурете у горящей керосинки. Она сгорела вместе с нищим своим домом. Соседи выбежали, а она осталась. Ее останки нашли на утро.

Весенним, сияющим днем к лефортовскому моргу подъезжает грузовик, из него выпрыгивает десяток молодых и пожилых заводских людей. Парни в нейлоновых куртках, мужчины в широких драповых пальто, полные сорокалетние женщины с огрубевшими руками. Их ждут старый небритый шамкающий еврей и двое 35-летних интеллигентов - муж и жена, похожих друг на друга городскими еврейскими лицами. Родственники.

На площади разворачиваются похоронные автобусы. Площадь в полдень пустынна, чуть пыльна под весенним, не очень жарким еще солнцем. Крепкий, коротко стриженный молодой санитар, похожий на мясника красным лицом, засученными рукавами белого халата, выдает закрытый гроб. На него кладут венки из искусственных, крахмаленных белых цветов. На широких лентах сквозь сухие зеленые листья лавра видны обрывки слов - "Раечке... сотрудников училища"....

Родственники с гробом - в автобус, сослуживцы - в грузовик. И загромыхали по окраинным будничным улицам в веренице машин, в выхлопах газа. По дороге автобус ломается, мотор безнадежно глохнет и после короткой перебранки с водителем гроб переносят в грузовик. Все втискиваются на скамейки, стоящие вдоль бортов, и мчатся по Рязанскому шоссе, мимо бетонных панорам новых домов, мимо дачных поселков, вдоль чуть влажной, черной, голой весенней земли, покуривая, перебрасываясь словами, шутками. Скорбно молчит, покачивая головой, старый еврей, подпрыгивает гроб, уплывает за борт машины дым сигарет.

Стоят у переезда, проносятся мимо двухэтажного деревянного дома, где рыжий и плотный узкоглазый человек в добротном костюме, местный властитель по имени Федор Никитич Кирпиченко говорил в ответ на униженные просьбы о куске земли на кладбище: "Почему у нас здесь еврейское кладбище? Почему нет узбекского, таджикского, белорусского? Эти родственные связи бесконечны. Хороните по месту жительства".

Он торопился на заседание. Ему надо решать вопросы, проводить мероприятия, составлять планы. Он власть. Высокий, статный, краснолицый.

Посетители входили к нему двух родов - деловые, местные хозяева, громкоголосые, уверенные, весело и приветливо приветствующие - "Ох, и весна у нас в Малаховке, Федор Никитич!" И просители - робкие, с неуверенно протягиваемыми заявлениями, выходящие потом подавленными, униженными, беззвучно, одними губами матерясь. А он звонил, говорил, подписывал, шутил, выбегая иногда во двор, в дощатую будку уборной, рядом с которой дымилась и сияла на солнце мусорная свалка. □

Все это промчалось, осталось позади, и машина ушла по неширокому шоссе, разрезающему дачный поселок, к конечной своей цели, к кладбищу.

За металлической оградой - новый белый домик (старый сожгли во время погрома). Лес памятников, глыб и плит с русскими и древнееврейскими надписями.

Короткая процедура оформления в комнате, заваленной толстыми еврейскими молитвенниками, белыми тряпками саванов. Дебелая женщина в зимнем черном пальто - председатель похоронной комиссии, достает из сумочки документы и деньги.



Бородатый, низенький еврей - комендант и священнослужитель - на диво крепкий и живоглазый для своих восьмидесяти лет - пишет по-русски и по-еврейски, отрываясь для вопросов.

- Сколько вы дадите для общины?

- Как звали покойную?

- Раиса... - отвечает председательница и умолкает, отстраненная рукой старого родственника. - Пиши - и пошли древнееврейские имена, их несколько, куда как много для той, кого хоронят. Она не носила их с детства, с той памятной лишь одному старому родственнику поры, когда их дали ей в сожженном впоследствии немцами местечке под Винницей.

Потом машина медленно едет по кладбищу в самый дальний его конец вдоль мраморных глыб. За машиной идет бородатый восьмидесятилетний человек в серой домашней куртке, и тихо бормочет древнееврейские слова. За ним, в отдалении - негустая толпа заводских людей. Перед могилой гроб несут на руках, ставят на кучу свежего песка.

Человек в коричневом драпе с гладко выбритым, хитроватым лицом, говорит речь. Он парторг училища. Он говорит о том, каким добросовестным работником была покойная и как ее уважали. Он путается в причастных оборотах. Голос его звонок и кощунственен. Потом бородатый комендант произносит молитву. Последние слова комендант произносит по-русски.

- Пусть простит она нам, и мы простим ей.

Глаза его увлажняются. Слезы, звяканье денег в коробке, что держит другой, совсем уже дряхлый старик. Стук земли, бросаемой на гроб. Аккуратный холмик. Веселый голос коменданта, просящего пригласить его выпить, на 150 с прицепом. Короткая деловая суэта - расчеты с могильщиками, договоренность об ограде, и все тянутся назад к конторе, выпить, закусить, помянуть по-русски.

У могилы в шатре венков, под которыми дощечка с надписью, остаются лишь двое молодых родственников - муж и жена. Она плачет, он молчит, курит. Им хочется побыть одним в этой тишине, светоносности весеннего дня. Кладбище - на возвышенности, чуть поодаль железнодорожное полотно, подсыхающее болотце. А здесь песок, мертвая прошлогодняя трава соседних могил и бесконечные ряды надгробий.

Они долго бродят по узким проходам среди оград, читая скорбные и высокопарные надписи, вглядываясь в фотографии, в старые и молодые еврейские лица. Где-то им встречается кусок абстрактной лепной стены - прообраз стены плача, сбоку три древнееврейских буквы и больше ничего - ни имени, ни снимка. Угол, где похоронены дети. Отдельно - мужчины, отдельно - женщины. Темный гладкий мрамор. Голые деревца. Вдали бетонная стена, отделяющая это еврейское - не таджикское, не белорусское - кладбище от русского, православного. В одном из рядов, на плитах - отметины камней, сколотая эмаль портретов - следы надругательств. У самой конторы - памятник погибшей во время погрома еврейской старухе-сторожихе.

И снова шоссе - вдоль пустующих дач на сосновых участках, где летом дремотная знойная тишина, блаженная сушь, покой. Где-то здесь синагога, сожженная и вновь отстроенная малаховская синагога. Грязный проулок, идущий вдоль сараев и будок. Навстречу - мальчик и девочка, бредущие неторопливо рука об руку. Тишина, весенняя грязь, заброшенность. И синее подмосковное небо над головой.

## **ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВОССТАНИЕ**

### **Обитель духов**

После завершения массовой депортации того гетто, которое сформировалось в ноябре 40-го, больше не существовало. Теперь это скорее трудовой лагерь, вернее, несколько лагерей, разделенных мертвой территорией - городом духов.

Откуда бы вы не попадали в гетто - с юга, с аллея Иерусалимских, с востока, со стороны Саксонского парка, или с северо-запада, где расположилось старинное еврейское кладбище, вы должны были пройти этими вымершими кварталами. Хлопающие ставни слепых окон, разоренные лавки, "трупы вещей" - разбитые горшки, громяющие ведра, тряпье...

Обитатели этих кварталов лежали в огромных рвах, выкопанных среди песков Треблинки, а следы их быта еще дотлевали в пустых квартирах и на мостовых. Тысячи евреев, работавших за пределами гетто, так называемых плацовкажей (от польского - "плацувка" - пост, точка), утром и вечером проходили под охраной этот путь, поднимая воротники пальто, угрюмо уставившись в землю.

Четыре территории, занимавшие в общей сложности разве что треть пространства старого гетто, оставались очагами жизни. Полтора десятка улиц на севере составляли так называемое Центральное гетто. Сюда немцы собирали еврейское имущество со всего мертвого города - сортировали, ремонтировали, вывозили для дальнейшего использования. Здесь жили остатки служащих юденрата и еврейской полиции, обитали плацовкажи и "дикие коты". Эти улицы полгода спустя станут главной ареной сопротивления, здесь развернутся главные бои восстания.

Южнее, отделенный шестью мертвыми кварталами, расположен главный резервуар рабочей силы, из-за которого, собственно, и оставили часть гетто. Здесь находятся основные предприятия - Теббенса, Шульца, Шиллинга, Хальмана и других немецких предпринимателей, вовремя сумевших завладеть или, как бы мы теперь сказали, приватизировать еврейское производство. В этом районе - он называется район шопов (шоп - мастерские) - в прифабричных домах живут двадцать тысяч человек.

Ходить из района в район без специального разрешения воспрещено. Все эти анклав отгорожены стенами, колючей проволокой, охраняются фабричной стражей, укомплектованной евреями. Но, конечно же, - ходят. Сначала с опаской, потом смелее, несмотря на охоту, которую немцы ведут на улицах города духов, убивая там, что ни день, до десятка людей.

Формально в гетто - 35 тысяч человек - такая норма была установлена во время депортации: оставить 35 тысяч продуктивных евреев. На самом деле вместе с "дикими котами" и другими нелегалами их вдвое больше - тысяч семьдесят. Точную цифру мы никогда не узнаем.

Внешне все обстоит как раньше. Брандт, который теперь единоличный владыка гетто (никакой гражданской администрации, никакого Ауэрсвальда - все в ведении гестапо), заявил, что "переселенческих акций" больше не будет. Можно жить спокойно, главное - соблюдать требования администрации, быть дисциплинированными и продуктивно трудиться на благо рейха. Даже с существованием "диких котов" немецкая власть примирилась, перестала их преследовать и начала зачислять в команды плацовкажей. Беспощадно карали лишь тех, кого находили в арийском районе. Их уничтожали вместе с хозяевами квартир, где они укрывались. А в гетто... Что ж, живите, трудитесь.

И как прежде работают шопы. В сумрачных цехах стрекочут швейные машины, на которых шьют солдатское белье, чинят рваные, а подчас и обгоревшие мундиры, напоминающие, что где-то идет война. Стучат молотки в столярных мастерских. Вьется сизая стружка из под резцов в металлообрабатывающих цехах. В обед, как и раньше, дают миску жидкого супа и полкило хлеба. Иногда достается ложка свекольного джема или даже яйцо. Конечно, продолжается контрабанда - шмугель. Несмотря на дополнительную стену, в гетто за деньги можно достать все.

В цехах, правда, стало меньше женщин. Их отправляли на Умшлагплац чаще, чем мужчин, представлявших собой более ценную рабочую силу. Но вот чудо - в гетто сохранилось около тысячи детей. Как уцелели они, будучи в течение двух месяцев депортации объектом особенно яростной охоты? Теперь же Брандт рекомендует юденрату создать приют для сирот - не болтаться же им по улицам. И более того, сам приезжает на открытие этого приюта - худощавый, сдержанный, затянутый в черный эсэсовский мундир - и произносит прочувствованную речь о необходимости делать для детей все возможное. Они - наше будущее. Ну, чем не Владимир Ильич с его лозунгом "Все - детям!"

Если бы ничего не осталось от гетто, никаких свидетельств, а только описание этой сцены: гестаповский офицер из ведомства Эйхмана после уничтожения трехсот тысяч евреев, из которых десятки тысяч не достигли шестнадцати лет, на развалинах самого крупного в Европе еврейского поселения произносит речь на тему "Все - детям!" - то и ее было бы достаточно для отображения этого запредельного мира.

Конечно, видимые перемены касаются не только демографического состава населения. Радикальные изменения претерпела экономическая жизнь. Исчезла тайная чердачно-подвальная промышленность. Десятки тысяч ремесленников, изготавливавшие самые разнообразные товары широпотребы - от игрушек до одежды - из сырья, поставляемого черным рынком и черным же рынком сбываемого, растворились в Треблинке. "Если в июле еврейский квартал поставлял продукции более чем, на пятнадцать миллионов злотых, то в сентябре - на 1,1 миллиона", - сокрушенно докладывал в Краков губернатор Варшавы Фишер.

Почти исчезла власть юденрата. Из 31 его департамента действует только один - занятый снабжением. Все остальные направления деятельности - налоги, воспитание, социальная помощь - теперь бессмысленны. Да и сама эта бюрократическая рать думает только о том, как уцелеть. Кто-то чистит улицы, кто-то возводит новые стены или сортирует реквизированное еврейское имущество, кто-то просто пережидает лихие времена, скопив капитал на хлебном месте.

Но подлинные глубинные перемены касаются внутреннего состояния уцелевших обитателей гетто. Первое время после депортации они испытывают чувство душевного истощения и апатии. Мозг перестает воспринимать всю безмерность происходящего. Словно бы вступают в силу некие защитные рефлексии организма. Память изгоняет из себя все эти непереносимые сцены - колонны на Умшлагплац, дети с поднятыми руками, котлы, из которых живой выходит с билетиком, означающим жизнь, а тот, кто остался и смотрит на тебя полными страха глазами, - уже мертв.

Сначала ты не помнишь этого, забыл, ничего нет кроме простых физиологических устремлений. Но постепенно ужасная правда случившегося начинает терзать тебя и всех, кто тебя окружает. Один потерял родителей, другой - жену, третий - детей. И мысль о том, что ты, полный жизненных сил человек, не сумел защитить своих близких, отдал их на съедение этим волкам, не дает жить. Как можно было полагаться на обещания немцев? Как ты мог дать восторжествовать в себе инстинкту самосохранения? Почему не бросился под пулю? Ненависть к немцам, презрение к себе жгут и мучают душу.

Каждый ищет свой выход в этой ситуации. Одни, располагая деньгами, пытаются найти утешение в радостях плоти - в пьянстве, женщинах. "Живи сегодня, завтра тебя не будет." Другие стремятся отыскать убежище на арийской стороне, уйти из гетто, пересидеть, спастись и начать новую жизнь. Третьи - думают о сопротивлении, распаляя воображение картинами убийства, отмщения. Гетто психологически созрело для борьбы. Но пока только психологически.

Особенно мучительно переживают случившееся участники молодежных движений, считавшие себя лучшей, наиболее активной и готовой для борьбы частью нации. И они отдали на съедение свой народ, именем которого клялись, ради блага которого объединялись. Зачем тратили силы и время на культурную работу вместо того, чтобы готовиться к сопротивлению? Зачем слушали старших с их осторожностью, исторической эрудицией, рассуждениями о священных жертвах, которые вынуждена платить нация (погибнет часть, а сердцевина сохранится), верой в божественное чудо, в то, что Бог не попустит уничтожить народ Израиля, призывами к чувству ответственности (за каждого убитого немца придется платить горой еврейских трупов). Все это казалось теперь отвратительной риторикой, проявлением обыкновенного эгоизма, страха за собственную жизнь, нежелания и неумения действовать.

Бездействовали все. Левые поалей-сионисты скрывались на деревообделочной фабрике. Бундовцы прибывались к фабрике щеток на Францисканской, там получая спасительное свидетельство о трудовой занятости. Коммунисты обращались за помощью к польским товарищам по партии на арийской стороне. Лидеры Гордонии

стремились добраться до Ченстохова и Опочно, где имелись местные отделения их организации.

Но что, собственно, можно было сделать? Как действовать в толпах людей, обезумевших от страха? Активисты молодежных движений распространяли листовки с призывами прятаться - их избивали те, кому эти листовки предназначались, так как усматривали в них провокацию. Они поджигали склады и опустевшие квартиры - это усугубляло страх - немцы могут усилить репрессии, хотя, казалось бы, как можно было еще их усилить? Они устроили покушение на ненавистного начальника еврейской полиции Юзефа Ширинского. Его приписали польскому подполью - видели, мол, как террорист бежал в сторону выхода из гетто.

С огромными трудами начали отправлять людей в леса, к партизанам, рассчитывая на зарождавшиеся коммунистические отряды, в меньшей степени зараженные антисемитизмом. Отбирали ребят с христианской внешностью, говорящих по-польски без акцента. Их большей частью вылавливали по дороге. Те же, кто добирались до леса, не находили в обусловленных местах партизан. Если же и находили, то гибли в первом бою, пытаясь раздобыть оружие. Получалось, что и это не лучше, чем выходить на улицы гетто с ножами и палками.

Наконец, раздобыли на арийской стороне пять пистолетов и восемь гранат. Немедленно разрабатывается великолепный план. Небольшие группы бойцов прячутся в домах, на главных улицах, в местах скопления немцев, и из засад открывают стрельбу. В то же время другие бойцы, воспользовавшись смятением, разоружают немцев. Тогда-то и начнется настоящая борьба не на жизнь, а на смерть.

Но словно рок висит над этими ребятами. Гестапо арестует лидера Хашомер Хацаир Иосифа Каплана. Другой шомеровский лидер Шмуэль Браслав весь день мечется по гетто, пытаясь спасти Каплана, пока его не убивает немецкий патруль. Это похоже на разгром Хашомер Хацаир. В тот же день решают перенести оружие из одного укрытия в другое, спасти с такими трудами добытый арсенал. Солдаты хватают на улице связную Регину Шнейдерман, которая несет этот арсенал в кошелке, и она погибает под чудовищными пытками в гестапо, никого не выдав.

Их охватывает отчаяние. Планы один безумнее другого будоражат воспаленное воображение. Одни считают, что надо броситься на стены, прорваться на арийскую сторону, усесться на валах варшавской Цитадели и ждать, когда немцы расстреляют их из пулеметов. Другие предлагают поджечь гетто и сгореть в нем. " Пусть ветер разнесет наш пепел." Третьи говорят, что умирать надо с оружием в руках. Пусть это будут палки, ножи, бутылки с горючей смесью.

Смерть рисовалась им в театральном романтическом обличье. Валы старинной крепости, окруженные варшавской публикой, и пулемет, который косит их ряд за рядом. Или языки пламени, пожирающие дома, и они сами, восходящие на костер, подобно средневековым предкам, не отрекшимся от своей религии. Кто-то более трезвый провидчески заметил: "Зачем же самим поджигать? Уж тут немцы позаботятся..."

Все это ждало их - и языки пламени, куда прыгали с верхних этажей обезумевшие люди, и расстрелы, и гибель с оружием в руках. Только было все буднично, просто, грязно. Кровь мешалась с дерьмом. Пух вспоротых перин покрывал мостовые вместо снега. Вонь каналов и духота бункеров, откуда их выкуривали газом, словно крыс. И вдали - крик заживо горящего товарища, которому никто не может помочь. Смерть стала бытом.

Потом, после смерти будет еще и такое, чего уж никто из них не мог вообразить. И в том числе - овеваемая теплым палестинским ветром бронзовая фигура Мордехая Анилевича в киббуце, носящем его имя.

Постепенно приходило отрезвление. Надо было не умирать, а жить с тем, чтобы умереть в нужный момент, достойно, в бою. Право на такую смерть предстояло заработать, а для этого надо было действовать.

Попытки создания единой надпартийной боевой организации предпринимались не раз. Собственно, это и было главной целью антифашистского блока, инициированного коммунистами незадолго до депортации. В начале депортации такую попытку повторили три сионистские молодежные организации - Хашомер Хацаир, Хехалуц и Акива. Они организовали штаб, но двое его членов - Шмуэль Браслав и Иосиф Каплан - вскоре погибли, да и остальные - Ицхак Цукерман, Цивья Любеткин и Мордехай Тененбаум - ничего серьезного в условиях массовой депортации сделать не смогли.

В октябре предпринимается третья попытка. К этому времени боевые группы существовали в каждом молодежном движении. Предстояло объединить их под общим командованием, разработать планы обороны и главное - вооружить.

Оружие можно было достать только на арийской стороне и стало быть связи с польским подпольем становились задачей первостепенной важности. Между тем представитель боевой организации на арийской стороне Арье Вильнер сообщал: уполномоченный по еврейским делам в штабе Армии Крайовой Генрик Волинский (Вацлав) заявил, что польское подполье не станет иметь дела с отдельными еврейскими группами. Оно будет содействовать лишь движению, консолидированному в такой же степени, как польское.

Волей неволей приходилось признавать политическое руководство партий и ввергать себя в бесконечные дискуссии со "стариками", снова и снова выслушивать размышления о необходимости сохранить мозг и душу нации, пережевывать прежние сомнения - не приведут ли необдуманные боевые действия к преждевременной ликвидации оставшегося гетто. Политическое руководство могло в решающий момент связать руки боевикам, но и обойтись без него было невозможно.

Поэтому кроме штаба боевой организации решили создать Еврейский национальный комитет, куда вошли и левые, и правые поалей-сионисты, и общие сионисты, и коммунисты. Возможно, то был единственный случай объединения сионистов и коммунистов.

Особенно сложно было договориться с Бундом. Обойтись без него представлялось трудным - у бундовцев имелись прочные связи с социалистическим польским подпольем. В боевую организацию они войти намеревались, а вот вхождение в национальный комитет означало для них объединение с партиями, к которым они много лет находились в жесткой оппозиции. Чтобы как-то выйти из этого положения решили создать еще и координационный комитет, координирующий действия Бунда и национального комитета.

В общем-то во всех трех этих организациях оказались одни те же люди. Расклад должностей был таков: шомеровец Анилевич командовал боевой организацией и имел двух замов - Цукермана (Хехалуц) и Эдельмана (Бунд). В штаб входили также Моргенштерн (правый поалей сион), Берлинский (левый поалей сион), Розенфельд (коммунисты). Представитель на арийской стороне - шомеровец Вильнер.

Не вошли в единый блок лишь сионисты-ревизионисты и религиозные движения Агудат и Мизрахи. Над религиозными организациями довлела традиция самопожертвования ради Господа с ее отказом от сопротивления. Ревизионисты и их молодежное движение Бетар наоборот были слишком активны, традиционно военизированы и считали, что именно из их среды должен выйти совместный военный лидер. Не исключено, что здесь сказалось давнее соперничество молодежных сионистских движений, составлявших элиту боевой организации. Во всяком случае, ревизионисты не остались в стороне от сопротивления. Они создали свое боевое формирование - Еврейский военный союз - и храбро дрались на баррикадах восстания.

Консолидация боевых групп не помогла однако решить главную проблему - оружия. Просьбами выделить хоть что-то Вильнер весь конец 42-го осаждает штаб Армии Крайовой. Командующий этой подпольной армией генерал Стефан Ровецкий пишет 3 января 1943 года в Лондон: "Евреи из всех групп, включая коммунистов, обращались к нам с просьбами об оружии, как будто бы у нас полные склады. В порядке эксперимента я предоставил им несколько револьверов, не будучи уверенным, что они будут использованы. Я не буду больше давать им оружие, вы знаете, что мы сами не

имеем его. Ожидаю следующего груза. Сообщите мне, какие контакты наши евреи имели с Лондоном."

Это пишется за две недели до январских боев на улицах гетто и за четыре месяца до апрельского восстания. Что касается пустых складов, то в 43-м году у армии Крайовой насчитывалось 26 тысяч винтовок, 6 тысяч револьверов, 30 тысяч гранат и множество другого оружия. Иное дело, что армия генерала Ровецкого исповедовала тогда тактику "ружье к ноге".

Когда представляешь себе, что было бы в гетто, если бы у боевой организации оказалась хотя бы десятая часть этого арсенала, то понимаешь, что для усмирения восстания германскому командованию пришлось бы снять с фронта солидную войсковую часть.

Оружия в гетто хватало разве что для сведения счетов с предателями. Тут уж отводили душу. Составили список из самых ненавистных фигур. Ненавистных больше, чем немцы. Немцы представляли чужой, исконно враждебный мир. Здесь же свои - те, кто гнал на Умшлагплац, брал взятки, богател и жировал на крови единоплеменников.

Делали все по канонам классических терактов. Прежде, чем убить преемника Ширинского адвоката Якова Лейкина, человека, предававшего своему полицейскому делу с какой-то особой страстью и даже с некой философией - "Жестче террор - скорее рассеются еврейские иллюзии", - изучали распорядок его дня, выясняли маршрут, по которому он ходил домой. Элияху Рожанский застрелил его на пути из полицейского управления.

Следующим стал Израиль Фирст, бывший руководитель экономического департамента юденрата, один из тех скоробогачей, кому "война - мать родна." После этой акции заместитель Брандта - Менде нанес визит председателю юденрата Лихтенбауму и как "в лучших домах" выразил сожаление по поводу смерти "такого замечательного коллеги", как Фирст. Менде сообщил также, что имена убийц известны, это поляки, помогающие евреям, и они не избегнут наказания.

Тем не менее никакого расследования не предпринималось. Судя по всему, немцы не хотели заниматься внутриеврейскими разборками, отделяясь, как обычно, ссылками на преступников-поляков. Все та же позиция: пусть евреи в гетто делают, что хотят, все равно час их близок, зачем же возиться с расследованиями, Треблинка всех уравнивает.

Между тем наступает 1943 год. И боевая организация решает провести демонстрацию по поводу полугодия со дня начала массовой депортации. Предполагается собраться на полчаса вечером 21 января на Мурановской площади у колючей проволоки, декорировав ее венками и знаменами, а в середине площади зажечь костер.

Трудно сказать, чем бы кончилась эта акция, задуманная в традициях скаутского движения. Ей не суждено было состояться.

## Репетиция

Впоследствии хронисты гетто назовут этот день "безмятежный понедельник". Он был безмятежен не более, чем все дни этой зимы. Раннее пробуждение в ледяной утренней мгле, попытка отогреться чашкой кипятку на завтрак, сборы на работу: кому в шоп, кому на плацувку. Плацовкажи и принесли весть о начале второй акции. Их не выпускали из гетто, велели ждать у закрытых ворот, за которыми можно было различить построение солдат. Они немедленно бросились назад, разнося по улицам, домам: "Блокада, депортация, акция!"

Рабочий шопа Иэхиэль Горни записывает в своем дневнике: "5.45 утра. Сегодня 18 января 1943 года. Я оделся и приготовился идти в шоп... Внезапно раздались яростные крики: "Как, вы еще лежите по постелям!? Улица окружена жандармами, плацувка не выйдет из гетто, блокада. Это определено Акция." Крики наполняли дом, и мы поползли в убежище."

Взорванное, расколотое на куски страхом, яростью, бешеным метаньем утро. "И мы поползли в убежище." Каждый раз это неожиданность. Не ждали в июле 42-го, не ждали в январе 43-го, не будут ждать в апреле. Нет, ждали. Конечно, ждали. Как

ждешь революции, войны, социального взрыва, русского бунта - "стремительного и беспощадного".

За несколько дней перед тем "безмятежным" понедельником в национальном и координационном комитетах была дискуссия на тему о необходимости вооруженного сопротивления. К окончательному решению не пришли.

Уже к семи утра улицы оказались перерезанными, кварталы окруженными, связи между боевыми группами прерванными, и каждая из них должна была действовать по собственному усмотрению.

Одну безоружную бундовскую группу застали врасплох, пригнали в общей колонне на Умшлагплац, где люди, опомнившись, попытались оказать сопротивление голыми руками. Принимавший участие в акции комендант Треблинки Ван Эйпен сам расстрелял их всех у дверей вагона.

Анилевич со своей шомеровской группой влился в колонну, идущую на Умшлагплац. Стрелять начали по сигналу на углу Низкой и Заменгофа, каждый избрав в виде цели своего охранника. Колонна, мгновенно превратилась в обезумевшую толпу. "Бегите!" - кричали боевики. Толпа побежала тем не менее на Умшлагплац, полагая, видимо, что если они сами придут туда, их помилуют.

Оправившись от изумления, немцы начали отстреливаться, перебив почти всех боевиков. Анилевичу, когда у него кончились патроны, удалось выхватить у солдата винтовку и пистолет, и укрыться в близлежащем доме.

На следующий день на шомеровской базе он с восторгом показывал Гершу Берлинскому отбитые винтовку и парабеллум, и опьяненный первым отпором, собственным подвигом, рассказывал, как опешившие немцы изумленно кричали: "Евреи стреляют!"

С не меньшим восторгом и очевидными преувеличениями описывала десять дней спустя этот бой польская подпольная газета "День": "Двенадцать жандармов и эсэсовцев убиты и десять (или более) ранены. Потери среди бойцов - девять. Взяты три винтовки и четыре пистолета. Все это время немецкая "скорая помощь" сновала туда и обратно между гетто и немецким госпиталем".

Группа Хехалуц, возглавляемая Цукерманом, находилась неподалеку от того места, где шомеровцы вели свой первый бой - на той же улице Заменгофа. Вечером засиделись допоздна. Гостем коммуны был ее любимец - поэт Ицхак Кацнельсон, которого молодые халуцим почитали наследником Бялика и Черняховского.

Год назад Кацнельсон преподавал в подпольной халуцианской гимназии, выступал на семинарах движения. После депортации, потеряв в Треблинке жену и двоих сыновей, он вместе с оставшимся сыном работал в мастерских Шульца и жил на территории шопов. Вечером 17-го он, преодолев мертвую зону, пришел к ребятам в Центральное гетто - отогреться душой, узнать новости. И всю ночь они слушали его стихи, рассказы о Палестине, где он бывал до войны, грезил, вспоминали.

В эти утренние часы они сидели в холодной комнате, прислушиваясь к столь знакомым им звукам шагающих на Умшлагплац колонн. Крики взрослых, плач детей, лязгающая немецкая команда: "Ляуфен, шнеллер ляуфен!" - "Бежать, быстрее бежать!"

Из соседнего дома пришли ребята из Гордонии. Теперь их было сорок. На всех - четыре револьвера и столько же гранат. У остальных железные прутья и недавно изобретенное ими оружие - лампочки с серной кислотой.

Решили на улицу не выходить. Ждать, когда немцы явятся сами, и здесь дать им отпор. Кацнельсон по праву старшего говорил об Израиле, о судьбах народа, его истории полной драм и героизма. Его слова, словно молитва, падали в гнетущую тишину, не разгоняя оцепенения.

Наконец, на лестнице послышался топот сапог. В первой комнате квартиры в углу сидел Зхарьяху Артштейн, будто бы погруженный в чтение. Эдакий благочестивый молодой еврей, которого даже приход немцев не может оторвать от Священного писания.

Этому двадцатилетнему парню, которому суждено было стать одним из самых отчаянных командиров восстания, пришлось пережить все, что могло выпасть на долю

обитателя гетто, - голодную смерть родителей, беженские пункты, трудовой лагерь и издевательства охраны. Он мог говорить и думать только об одном - отмщении.

Возможно, немцы не заметили его. Они стремительно прошли в другую комнату, и тут Зхарья, оказавшись в тылу, выстрелил солдату в спину. Это послужило сигналом. Из-за шкафов, из соседних комнат выскакивают другие. Выстрелы, крики обоженных серной кислотой, удары прутьев. Через несколько минут остатки патруля выбегают на лестницу.

Разбогатеv на несколько винтовок и револьверов, спрятав раненого товарища, группа халуцим уходит по чердакам и заснеженным крышам, направляясь на Мурановскую улицу. Только присели отдохнуть в брошенной квартире, как по лестнице опять топот подкованных сапог. Все повторяется. Выстрелы. Взрыв гранаты. Теперь уже уходят, дождавшись темноты, на халуцианскую базу на Милой. Там - переломанная мебель, пол покрытый пухом вспоротых подушек. Хозяев забрали на Умшлагплац.

Но ребята не могут горевать в такую ночь. Во дворе отыскивают дрова, где-то находят немного водки, топится печь, они сидят в отблесках ее пламени, мирного домашнего пламени, и поднимают стаканы. Впрочем, они пьяны и без вина. Их возбуждает самое сладостное, что есть в человеческом сознании, - чувство отмщения. "А помнишь, как корчился тот немец в луже крови?" - "А как кричал тот, кого мы сбросили в лестничный пролет!" Они переживают эту ночь как время своего торжества. Десятки тысяч их единоплеменников дрожат от страха в укрытиях, и лишь они одни смогли преодолеть страх и заставить немцев бежать под их пулями. Пусть это пир во время чумы, но это пир победителей.

Утром во двор на Милой входят эсэсовцы. "Юден, раус!" - "Евреи, выходите!" Крик, который будет преследовать тысячи обитателей бункеров в течение всех дней восстания. Вскоре грохот солдатских сапог, и все повторяется. Тот же Зхарья Артштейн в коридоре с поднятыми руками пропускает вперед солдат. И выстрелы из-за шкафов.

Акция продолжалась четыре дня. И все четыре дня шло сопротивление. Группы Арье Вильнера и Элизера Геллера в Центральном гетто применяли ту же тактику, что и отряд халуцим под руководством Цукермана, описание действий которого нам оставила Цивья. Группа Израйля Канала держала оборону на территории шопов. По данным Эдельмана из существовавших тогда пятидесяти боевых групп сопротивлялись пять. Остальные оказались безоружными. Этим пяти группам, насчитывавшим в лучшем случае сотню боевиков, противостояли двести жандармов и восемьсот "оскаров" - литовцев и латышей.

## Война плакатов

29 января акция была приостановлена. Почему? А почему она началась 18-го? Что стояло за этим вторжением в гетто, которое воспринималось его обитателями, как проявление непознаваемого абсолютного зла, всего того беспросветно черного, неумолимо безжалостного, что ассоциировалось с понятием немецкая власть. Казалось, все свойственное человеческой природе - сострадание, жалость, познание другого как самого себя - исчезало в этой непроницаемой мгле. Отдельные личности - Брандт, Менде, Теббенс - внешне напоминавшие людей, ничего не поясняли своим поведением и только лишь усугубляли непредсказуемость, алогичность зла.

Почему 18-го снова начали вывозить в Треблинку? Выхватывать без всякого толку кого ни попадая, окружая шопы, отрывая людей от станков, в ущерб производству, столь важному по их же заверениям для рейха.

Ну, а начав, почему, набрав несколько тысяч людей, прекратили? Убоялись пистолетных выстрелов боевиков? Даже в состоянии эйфории, в котором ребята находились после первых стычек, трудно было объяснить прекращение акции подобными аргументами.

Отправимся, однако, туда, где можно получить ответы на подобные вопросы, - на верхние этажи германской власти. Как, на первый взгляд, ни странно, одни и те же



представители этой власти попеременно выступали то страшными гонителями варшавских евреев, то как бы даже их защитниками, во всяком случае, противниками их немедленного физического уничтожения.

Взять хотя бы Одиля Глобочника, одну из самых зловещих фигур в фашистской элите генерал-губернаторства. Именно ему, руководителю СС и полиции безопасности Люблинского дистрикта, подчинялась команда "Рейнгард", проводившая летом 42-го массовую депортацию в варшавском гетто. Но он же в начале 43-го настаивал на добровольном переселении остатков варшавских евреев вместе с оборудованием фабрик под Люблин. Причины такой перемены позиции, такого стремления "поступиться принципами", которому были подвержены и Кейтель, и Франк (разве что Гиммлер всегда оставался непримиримым борцом за чистоту расовой идеи) не понять без анализа длительного конфликта, который шел между ветвями германской власти по поводу использования еврейского труда.

Мяч этой проблемы летал по кругу самых разных ведомств. Среди них были экономическое управление СС под началом обергруппенфюрера Поля (ему с марта 42-го подчинялись все концлагеря), ведомство, ответственное за использование иностранной рабочей силы, руководимое гаулейтером Заукелем, вермахт во главе с фельдмаршалом Кейтелем, наконец, правительство генерал-губернаторства во главе с Франком. И у каждого имелись свои интересы.

Генерал-губернаторство отправляло польских рабочих в Германию. Сотни тысяч славянских парней и девушек стояли у станков военных заводов рейха, работали в имениях германских помещиков. В Польше их приходилось замещать евреями. В этом был интерес Франка. Региональный интерес. Он был заинтересован еще и в том, чтобы как можно больше еврейского имущества, оставшегося после депортации, осело в Польше, а не ушло в общегерманский котел, которым в данном случае ведал Польша. И здесь тоже была линия конфликта с СС.

У Кейтеля была своя линия конфронтации с ведомством безопасности. Многие предприятия с еврейской рабочей силой работали на военные нужды. Между вермахтом и СС имелось соглашение, оговаривающее, сколько еврейских рабочих должно быть на том или ином заводе. Но каждый тянул одеяло на себя. Директора заводов содержали больше евреев, чем им разрешалось. А СС, в свою очередь, забирали их во время депортаций (у эсэсовцев, как у советских чекистов 37-го года, имелся план уничтожения людей), не согласовывая с военным ведомством. О массовой депортации в варшавском гетто вермахт узнал только за три дня перед ее началом. Естественно, шли взаимные жалобы, предпринимались попытки найти компромисс.

У Гиммлера характер был покруче, чем у Кейтеля. И он нередко переигрывал соперника. В сентябре 42-го Кейтель, видимо, опасаясь обвинений в недостаточной последовательности при проведении расовой политики партии, отдает приказ заменить всех евреев, занятых в производстве вооружения, поляками. Но фельдмаршалу вольно было отдавать такие приказы, демонстрируя идеологическую лояльность. А его подчиненные на местах отвечали за дело. И командующий германскими войсками в Польше генерал фон Гейнце направляет в генштаб записку, где утверждает, что вывод евреев с оборонных предприятий "снижает военный потенциал рейха". Что же касается использования поляков, то фон Гейнце сообщает, что в этом случае не состоится отправка в рейх 140 тысяч польских рабочих по уже составленным спискам.

Конфликт настолько обостряется, что становится предметом обсуждения на совещании высших нацистских чинов с участием Гитлера в конце сентября 42-го. Здесь Гиммлеру противостоял уже не Кейтель, а сравнительно новая и наиболее перспективная фигура фашистской элиты, любимец Гитлера министр вооружений Альберт Шпеер. И Гитлер соглашается с предложением разрешить евреям квалифицированным рабочим оставаться в генерал-губернаторстве.

Гиммлер делает ответный ход. 2 октября он издает секретную директиву, предписывающую концентрацию всех еврейских рабочих оборонных предприятий генерал-губернаторства в трудовых лагерях, созданных в Варшаве и Люблине.

Ей-богу, им казалось, что они создают нечто новое. Но право же, наши родимые советские энкаведэшники их опередили. В Советском Союзе уже давно действовали концлагеря-заводы и фабрики, где за производство отвечали специалисты, а за режим - НКВД. Завод-лагерь, шахта-лагерь - любимое детище тоталитарного режима. В том же самом 42-м году мой отец, 35-летний советский еврей добывал золото в колымском лагере-прииске, созданном еще в тридцатые годы.

В директиве Гиммлера ничего не говорилось о том, каким образом в кратчайшие сроки, в условиях, когда продукция заводов остро необходима вермахту, и каждое изделие на счету, без ущерба для производства переместить оборудование, людей и заново наладить дело. Впрочем, шла типичная аппаратная игра, где интересы дела отступали на второй план, а главным становилась борьба карьер, самолюбий, авторитетов, властных амбиций.

Варшава занимала особое место в амбициях Гиммлера. 9 января он приезжает сюда. Его лимузин пронесется по улицам гетто. В тот же день в Варшаве проходит совещание. Участники - начальник личного штаба рейхсфюрера СС обергруппенфюрер Вольф, руководитель СС и полиции безопасности варшавского дистрикта штандартенфюрер Заммерн фон Франкенег, руководитель варшавского подразделения министерства вооружения оберст Фретер.

Гиммлер выразил возмущение по поводу того, что стиль жизни гетто далек от условий трудового лагеря. Фабрики одежды, кожаных, столярных изделий нельзя считать работающими на оборону. К тому же они управляются немецкими собственниками с помощью еврейских мастеров и охранников. Прямой эсэсовский контроль - одно из неперемных условий существования трудового лагеря - не реализуется. По расчетам Гиммлера на предприятиях ведомства Фретера должно быть занято не более 20 тысяч человек.

Заммерну приказывалось ликвидировать гетто к 14 февраля, то-есть в месячный срок, переместив предприятия вместе с рабочими в эсэсовский трудовой лагерь под Люблином. Немецких собственников, контролировавших производство, предлагалось отправить на Восточный фронт.

Итак, "диких котов" - в Треблинку, остальных - в Люблин. Немецких предпринимателей - на фронт. Заммерну ничего не оставалось делать, как начинать акцию.

Жандармам и "аскарам", входившим в гетто 14 января, было приказано отправить на Умшлагплац 8 тысяч человек. Но это оказалось не так просто. Люди разбегались, прятались. Трудно было разобраться, где "дикие коты", где рабочие. Хватали всех, кто попадался - не успевших спрятаться плацовкажей, работников учреждений юденрата, уверенных в своей неприкосновенности, больных госпиталя на Геншей. 18-го с трудом набрали три тысячи человек. И к тому же началось сопротивление. Пришлось окружать шопы, вести дикую охоту за людьми. Около тысячи человек было застрелено на улицах.

За четыре дня удалось вывезти около пяти тысяч человек. И как всегда, когда начальство ставит трудно выполнимую задачу, в ход идут приписки...

Вагоны с Умшлагплаца уходили полупустыми, что, правда, еврейские хронисты объясняли особым садизмом немцев - мол, летом, в жару шли переполненные, так что люди задыхались, а зимой - в мороз - полупустые, чтобы замерзали.

Таковы были мотивы январской акции и способов ее проведения, скрытые от взглядов обитателей гетто. Неизвестно, докладывали Гиммлеру о сопротивлении или нет. Если докладывали, то могли списать на польских "бандитов", вступивших в альянс с евреями. Признать факт организованного еврейского сопротивления было не так-то просто для службы безопасности. Впрочем, могли и не доложить. Но если бы январскую акцию выполнили, как говорится, на все сто и полностью очистили гетто от всевозможных нелегалов, это было бы еще полдела. Предстояло эвакуировать оборудование вместе с рабочей силой. Только тогда можно было считать варшавское гетто уничтоженным.

Между тем после поражений под Сталингардом и Эль Аламейном в недрах СС начинает создаваться экономическая империя, призванная играть немаловажную роль в жизни рейха. Такая империя необходима и в случае победы, а тем более в случае

поражения, когда эсэсовские капиталы будут спасением руководителей ведомства безопасности.

В марте 1943 года в Берлине основывается так называемая восточная компания "Ости", которая ставит своей целью концентрацию еврейской собственности в руках СС с конфискацией ее у немецких хозяев. Компания должна владеть всеми предприятиями с еврейской рабочей силой на территории генерал-губернаторства, превратив их в концлагеря. По мере постепенного уничтожения еврейских рабочих они будут замещаться арийскими.

В руководство "Ости" вошли Польш, Крюгер, Заммерн фон Франкенег и , конечно, Глобочник - мозг всего дела. В конце января он приезжает в Варшаву для переговоров с Теббенсом, как с наиболее крупным владельцем еврейских предприятий и лидером немецких собственников в гетто.

Теббенс, едва пережив угрозу Гиммлера отправить его на Восточный фронт, чувствовал себя ягненком в когтях льва. Он понимал, что его звездный час прошел и собственность уплывает из рук. Но лучше уж сделать хорошую мину при плохой игре ( тем более, что сотрудничество с СС могло сулить в будущем неплохие выгоды ) и согласиться на переезд в Люблин, где уж, конечно, предприятия, которые он привык считать своими, будут переданы в "Ости". Он принимает титул комиссара по эвакуации и обещает Глобочнику сделать все возможное для добровольного ( "гуманист" Глобочник настаивал на соблюдении принципа добровольности) переезда еврейских рабочих вместе с оборудованием в люблинские лагеря.

Наступил черед гласности. Встретившись с рабочими, Теббенс подробно и убедительно рассказывает, для чего нужен переезд. Это прежде всего - спасение остатков гетто. Единственный шанс пережить войну. Более того, понимая меру недоверия ко всяким обещаниям германской власти, Теббенс, посылая в Травники оборудование своего предприятия, распорядился о возвращении в гетто нескольких сопровождавших это оборудование еврейских работников с тем, чтобы они засвидетельствовали: все готово, и цехи, и жилье ждут варшавских евреев.

16 февраля первый эшелон с евреями отправляется в Травники. 23-го другой - в Понятов. Но это лишь сотни людей, а для запуска производства нужны тысячи. Большинство не верит ни аргументам комиссара, ни свидетельствам его посланцев. К тому же действует боевая организация, ставшая подлинным хозяином гетто. Она распространяет листовки, развешивает прокламации, призывающие не верить немцам, убегать, прятаться. Теббенс пытается отвечать тем же оружием контрпропаганды. Он вывешивает свое воззвание.

"...Евреи, рабочие! Не верьте тем, кто вводит вас в заблуждение и подстрекает оказывать сопротивление, это неизбежно повлечет за собой репрессии. Убежища не гарантируют безопасности, и жить в них невозможно. Никого не спасет и пребывание на арийской стороне. Неопределенность положения и вынужденное безделье подорвут силы и сломят дух рабочих, привыкших трудиться. Я вас спрашиваю: почему ко мне приходят богатые евреи с арийской стороны с просьбой взять их на работу? У них достаточно денег, чтобы жить на арийской стороне, но они не в силах вынести тяготы такой жизни. Искренне советую вам: поезжайте в Травники, поезжайте в Понятов, там можно жить. Там вы пробудете до конца войны. Еврейская боевая организация вам не поможет. Ее обещания лживы. Вам за большие деньги предлагают убежище, а затем выгонят на улицу и предоставят самим себе. Вы уже научены горьким опытом и знакомы с таким обманом. Верьте только руководителям немецких предприятий, которые хотят с вашей помощью наладить производство в Понятове и Травниках. Возьмите с собой жен и детей, мы и о них позаботимся..."

Этот призыв свидетельствует о достаточно глубоком понимании еврейской ситуации (за убежище у вас возьмут деньги, а потом выгонят на улицу) и главное - о признании боевой организации реальной силой, противостоящей германской власти.

Но дальше - больше. По мере подготовки предприятий к эвакуации боевики начинают поджигать их. Февральской ночью запылали столярные мастерские Хальмана. В марте сожгли склад с имуществом депортированных евреев. Немцы, а вернее "аскары"

- украинцы и прибалты - начали ловить людей на улицах - в ответ боевики напали на пересыльный пункт, освободив пленников.

Стоит двум немецким солдатам захватить вооруженного боевика, как его товарищи убивают солдат и освобождают захваченного. Правда, эта стычка дорого обошлась гетто. Немцы ответили классической акцией устрашения - окружили район, где произошло событие, и на месте расстреляли двести человек. То была извечная моральная дилемма, стоявшая перед участниками одиночных актов сопротивления. За одного убитого солдата немцы расстреливали сто евреев.

Моральная дилемма заключалась и в другом. Руководители боевой организации понимали: Теббенс прав, утверждая, что они препятствуют переселению евреев в трудовые лагеря из опасения потерять идейную основу своих действий. В самом деле, если все рабочие уедут, кого же им тогда предстоит защищать кроме самих себя и некоторого количества "диких котов"?

Боевики не исключали, что Теббенс говорит правду и в основном своем утверждении. Предприятия вместе с рабочей силой и в самом деле перебазируются под Люблин. Нынешняя депортация отнюдь не означает гибели в газовых камерах Трешлинка. Остаться же в гетто значит, непременно подвергнуться уничтожению, которое произойдет, как бы они сообща не сопротивлялись. Нравственно ли удерживать десятки тысяч людей на месте их скорой и неминуемой гибели? Остроту этого мучительного вопроса уменьшала уверенность в том, что немцы рано или поздно ликвидируют и еврейские лагеря. И в этом руководители боевой организации не ошиблись.

Рабочим варшавских шопов, согласившимся уехать в Травники, довелось там прожить немногим более полугода. 3 ноября 1943 года в Травниках провели операцию под кодовым названием "Эренфест" - сбор урожая. Это мирное сельскохозяйственное название означало расстрел десяти тысяч содержащихся в лагере евреев. После чего лагерь ликвидировали.

Как бы там ни было, и Крюгер, и Глобочник, внимательно следившие за событиями в варшавском гетто, по мере приближения весны все больше убеждались в том, что Теббенс со своей миссией не справляется. Добровольности не получалось. Предстояло применить силу.

К оружию!

После января боевики поняли: выхода нет. Или они вооружатся, или их возьмут голыми руками, как тех бундовских ребят, которых Ван Эйпен расстрелял на рампе Умшлагплаца. Бундовцы едва успели броситься со своими ножами и палками на украинцев, как автоматная очередь скосила их у входа в вагон. И те несколько пистолетов да небольшой запас бутылок с горючей смесью и лампочек с серной кислотой, которые имелись в распоряжении боевиков, в сущности не меняли положения..

Можно было раз-другой напасть на охрану колонны, как это сделала группа Анилевича; устроить свалку в квартире, выбросив на лестницу несколько искалеченных солдат, как это удалось группе Цукермана... Что дальше? В январе сработал эффект неожиданности. Но немцев можно было удивить однажды. Без оружия о реальном сопротивлении, о достойной смерти, и думать было нечего.

Они продолжали бомбардировать командование Армии Крайовой запросами, призывами к антигерманской солидарности, теперь уже получая кое что в ответ. Январь произвел впечатление не только на немцев, но и на поляков. В реакции польского общества ощущалась смесь внезапно возникшего уважения и с трудом изживаемого презрения. Уважения к действию, которое невозможно было отрицать, и презрения к образу бессловесной жертвы, жившего в массовом польском сознании веками. Оставался простор для толкований: "Если уж евреи... То что же мы?.." Настоятельнее стали требования отказа от тактики "Ружье к ноге!"

Вещественным признаком уважения стала присылка Армией Крайовой пятидесяти револьверов, такого же количества гранат и нескольких килограммов взрывчатки. Еще недавно боевики и мечтать не могли о таком арсенале. Теперь же понимали, что этого ничтожно мало.

Нужны были деньги. Много денег. Они приходили к еврейским богачам в лучших традициях российских дореволюционных эксов - маска, наставленный пистолет: "Лайдак! Немцам ты отдал бы все, а для братьев, которые хотят спасти честь народа, скупишься." Человек бледнел, пугался и выдавал требуемые сто "кусков".

Иногда облагали налогом жильцов богатого дома. Тех, кто отказывался платить, держали под замком. Для этого создали специальную тюрьму. То был настоящий рэкет, правда, прибегали к нему со святой целью. От юденрата потребовали четверть миллиона. Председателю Марку Лихтенбауму пригрозили убить сына, если деньги не поступят в срок. Деньги были собраны в течение трех дней.

Кое что перепало из тех долларов, что сбрасывались с самолета для еврейских общественных нужд. Доходила из этих сумм в лучшем случае половина. Остальное брало себе польское подполье.

За три месяца между январем и апрелем собрали 10 миллионов злотых. Эти миллионы уходили на черный рынок оружия. Немецкий солдат, нахлебавшийся лиха на Восточном фронте, возвращаясь через Варшаву домой на поправку после ранения или в отпуск, продавал пару гранат или парабеллум, чтобы расслабиться, погулять в варшавских кабаках. Польский люмпен, принимавший участие в грабеже военных складов в сентябре 39-го, сбывал припрятанную на черный день винтовку.

Револьвер, в зависимости от калибра и сохранности, стоил от пяти до двенадцати тысяч злотых, винтовка - двадцать-двадцать пять тысяч. Месяц жизни в укрытии на арийской стороне стоил от двух до пяти тысяч злотых. Здесь, как и при покупке оружия, имелись свои градации: похож человек на еврея или нет, с акцентом говорит или без акцента, мужчина это или женщина.

Но тех, кто покупали оружие, не интересовали убежища на арийской стороне. Сидеть, как крысы в подполе, в тесной квартире, в запахе немытых тел, в урчанье уборной, умирая от страха при звуке шагов на лестнице, опасаясь шантажистов, пересчитывая оставшиеся злотые, означающие число отмеренных тебе дней жизни - это было не для них.

Они сознательно отрезали себе путь к спасению. "Мы боялись оставлять себе щель для отступления,- писал потом Цукерман,- Мы боялись самой мысли о том, что можно спастись, не сопротивляясь. Поэтому мы не готовили себе убежищ на арийской стороне, не изучали каналов. Мы видели себя еврейским подпольем, чья судьба трагична, подпольем, отрезанным от внешнего мира, мы ощущали себя первыми не только в еврействе, но и во всем сражающемся мире. Наш час пришел без всякой надежды на спасение".

Борьба стала их всепоглощающей страстью. Анилевич писал во время восстания, что бой был подобен "последнему желанию жизни" Конечно же, они переоценили свою победу над инстинктом самосохранения. После первых недель восстания они искали пути спасения, бились в стены гетто, отыскивали проходы, обращались к польскому подполью.

Но это было в мае, а в феврале, марте, апреле они упивались своей обреченностью, которая тем не менее не рождала депрессии, а наоборот вызывала ощущение подъема. Лишь они являлись силой и реальностью в смутном и хаотичном мире, который представляло собой тогда гетто.

Одни благословляли их. "Боже, благослови эту молодежь!"- писал в своем дневнике на третий день после завершения январской акции сотрудник "Ойнике шабес" Шмуэль Винтер. Другие их проклинали. Сильная личность последнего состава юденрата Альфред Штольцман передавал польскому подполью: боевая организация - это кучка террористов, не имеющая общественной поддержки. Тем не менее реальная власть была у них. И председатель юденрата Марк Лихтенбаум сообщал немцам в ответ требование воздействовать на рабочих, чтобы они ехали в гетто: "Я не власть в гетто. Есть другая власть - еврейская боевая организация".

Они жили на казарменном положении в бункерах и брошенных квартирах, где словно бы стояли еще тени их погибших хозяев. Близость смерти доводила все ощущения до предельной остроты. Умирать предстояло весной. Гетто очищалось от снега, обнажались мостовые, заваленные всяким хламом. Мартовский ветер и такая щемящая заброшенность, отъединенность от всего мира, от войны, от Польши. Свет заливал гетто. Беспощадный свет весны. Они влюблялись, урывали частицы несбывшейся жизни. Они были детьми города, и сражаться, любить и умирать им предстояло в развалинах города.

Опыт января показал необходимость создания единого фронта обороны, превращавшего гетто в крепость. За каждой группой был закреплен дом или несколько домов. И если, скажем, Захария Артштейн со своей группой находился на Налевках, 33, то Мордехай Гровас располагался на Налевках, 35.

Отлучиться с тем, чтобы навестить близких, можно было только с разрешения командира. Здесь же, на позициях спали, ели (питались, в основном, хлебом с джемом и чаем с маргарином), чистили оружие, проводили политзанятия, будучи ежедневно готовыми вступить в бой.

Разрабатывалась тактика этого боя - партизанской борьбы в городских условиях, где хорошо вооруженному, обладающему огромным численным перевесом противнику можно было противопоставить мобильность, знание города, каждого подвала, чердака, проходного двора, умение быстро нападать и еще быстрее исчезать. Эту тактику на глазах моего поколения полвека спустя будут демонстрировать чеченские боевики в Грозном.

Группы формировались по партийному признаку. Считалось, что единомышленники скорее притираются друг к другу, у них выше дисциплина, авторитет командира. Но если в начале в боевую организацию входили лишь представители двух движений - Хе-Халуц и Хашомер Хацаир, то после января сформировались боевые группы почти всех политических партий.

Решили создать три фронта обороны. В центральном гетто под командованием Израиля Канала - девять групп. В секторе шопов Теббенса - Шульца - восемь. Здесь командующим сначала был Ицхак Цукерман, а затем, после его ухода на арийскую сторону в качестве главного представителя боевой организации в польском подполье, - Элизер Геллер. На фабрике щеток пятью группами командовал Марк Эдельман. Штаб всей организации находился в центральном гетто на Милой.

В каждой из двадцати двух групп насчитывалось от двенадцати до двадцати человек. Всего получалось от 260 до 440 бойцов. Разные исследователи называют разные цифры. Боюсь, что точную мы не узнаем никогда.

К весне на каждого боевика приходилось по пистолету с небольшим количеством патронов и по несколько гранат. На всю организацию - десять винтовок, а одна группа имела даже пулемет.

Потом, уже во время восстания они поняли, что пистолет - ничто против немецкого шмайсера, против всей той лавины огня, которая была обращена на них. Но тогда - как они гордились этими пистолетами, как холили и берегли их, какой культ оружия был в гетто!

Вот как Рингельблум описывает свои впечатления от арсенала боевиков. "В тот раз я видел арсенал еврейского военного союза. Он был расположен в необитаемой шестикомнатной квартире на первом этаже, на Мурановской, 7, в так называемом диком блоке квартир. В комнате командования имелся первоклассный радиоприемник, принимавший новости со всего мира, а в другой комнате стояла пишущая машинка. Я разговаривал с людьми из командования несколько часов. У них были револьверы засунутые за ремень. В большой комнате лежало оружие разных видов: блестящие пулеметы, винтовки, различные револьверы, гранаты, сумки с патронами, немецкая униформа и т.д."

Эта квартира в мертвой зоне гетто воспринимается Рингельблумом как пещера Али Бабы. Решительные молодые люди с пистолетами за поясом в комнате, набитой оружием, видятся островом силы и мужества в океане отчаяния

Полвека спустя Эдельман вспоминает себя в апрельские дни 43-го года в красном джемпере, найденном в вещах богатого еврея, перепоясанным крест на крест двумя ремнями, с фонариком на груди и двумя револьверами. "Это был высший шик - револьверы на ремнях. Нам тогда казалось: у кого есть два револьвера, у того есть все."

Они чувствовали себя хозяевами гетто. Комендантский час для них не существовал - ходили хоть днем хоть ночью, как в мирное время. Немцы же не решались появляться поодиночке на улицах гетто даже вечером. Не было тогда в гетто более популярного и грозного слова, чем Организация.

## Юрек и Хенек

В центре эпопеи с вооружением стоял худощавый голубоглазый блондин двадцати пяти лет отроду по имени Арье Вильнер. Его окружала команда еврейских парней и девушек, обладавших арийской внешностью и связями в Варшаве. Но он считался главным представителем еврейской боевой организации в польском подполье, и лучшую кандидатуру, пожалуй, трудно было подобрать.

Подпольную кличку Юрек (его так и называли - Юрек Вильнер) ему дала настоятельница доминиканского монастыря в окрестностях Вильно Анна Борковская в честь своего угнанного в неволю брата. В кругах еврейской молодежи ее называли Има, что на иврите означает мама. Они познакомились в конце 41-го года, когда Арье приехал в Вильно для упрочения связей с местными шомеровцами. Как Анилевич и другие лидеры Хашомера, он много ездил по стране. К Име его направила Ирена Адамович, в прошлом одна из лидеров польского скаутского движения, с которым у шомеров имелись давние и тесные связи.

Борковская, прятавшая группу евреев, устроила Вильнера неподалеку от монастыря, и он часто приходил к монахиням, помогая им по хозяйству, подолгу беседуя с настоятельницей. О чем они говорили зимними вечерами 41-го года - пожилая польская монахиня и молодой еврейский социалист, внезапно ощутившие духовную близость? О Боге, о Марксе?

-Это была встреча двух разных миров, - писала после войны Анна Борковская. - Однако мы находили точки соприкосновения. Каждый из нас жаждал заглянуть в глубины другого, обмениваясь духовным достоянием. Но без взаимного влияния. В наших разговорах мы стремились уйти от действительности в мир идей.

Год спустя в Варшаве Вильнер не раз укрывался в монастыре кармелиток. Намаявшись за весь день, таская связки с гранатами, ящики с патронами, он порой заскакивал к ним на Вольскую улицу. Ему ставили раскладушку за занавеской в исповедальне, и он отлеживался там среди дня. Интересно, слышал ли он в темноте своего кратковременного монастырского уединения исповеди религиозных полек? И сколько было такого сумасшествия жизни в те дни сместившихся понятий и сошедшего с рельс быта.

А впрочем не о сумасшествии жизни, проявившегося в этой трагикомической ситуации укрытия молодого сиониста в исповедальне женского католического монастыря, можно подумать, а о том, что здесь осуществилось самое простое, но и самое трудное для верующего человека деяние - реальное исполнение завета Христа. И надо сказать, что женские католические монастыри всех орденов, расположенные на территории Польши - францисканского и доминиканского, кармелитского и бенедектинского - этот завет выполняли, спасая евреев.

Уезжая из Вильно, Юрек оставил Име на сохранение толстую клеенчатую тетрадь, куда он, как и многие интеллигентные молодые люди его поколения, записывал стихи - свои и чужие. Стихи как стихи. О любви, о смерти, о долге. Знаменитая кипплинговская "Пыль". Значит, и их волновала музыка этих строф. Маршевый ритм, романтика, боевого братства...

День-ночь, день-ночь мы идем по Африке.

День-ночь, день-ночь все по той же Африке.

И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог,  
И отпуска нет на войне солдатам...

...Обнявшись, опьяневшие не столько от вина, сколько от молодости, предстоящей жизни, от надежд, мы топали по московским улицам пятидесятих годов, распевая этот марш, доставшийся нам в наследство (Киплинг был как бы запрещен - певец империализма - и практически не издавался) от студентов Литературного института предвоенной поры, которым вскоре довелось ходить по дорогам не Африки, а по своим, российским, орошая своей кровью свою же отечественную пыль.

Что ж, и Вильнер, и Анилевич, и Эдельман были нормальными интеллигентными мальчишками предвоенной поры, и читали они те же стихи, что и их российские сверстники. Это только ведь нашему поколению россиян - тем, кому сейчас шестьдесят - удалось проскочить между войнами, между Отечественной и афганом, Чечней. Для одной были слишком молоды, для других - слишком стары.

Среди наиболее близких друзей Вильнера был Генрих Грабовский – “Хенек Сало” - такая уж у него имелась подпольная кличка в Армии Крайовой. Видно, потому что он содержал небольшую мясную лавку в Варшаве. До войны Хенек входил в скаутский актив, но вопреки общепринятым представлениям о скаутах как о пай-мальчишках - голые коленки, символика сродни нашей пионерской - считался эдаким, как бы теперь сказали, крутым парнем с варшавского Повислья, района извозчиков, нищих, проституток, мелких торговцев. Там всегда шла бурная уличная жизнь: скандалили и дрались, пахло конским навозом и человеческим потом, там тяжело трудились и пьяно гуляли.

Мать Грабовского торговала на Повислье булками, а мать Анилевича - рыбой. И для Хенека Анилевич был Мордкой, вместе с которым не раз ходили драться с ребятами с Воли или Верхнего Мокотова.

С Вильнером Грабовского познакомила все та же Има, когда Хенек приехал в Вильно по скаутским делам, по программе помощи евреям. И потом Юрек часто ночевал у Хенека в своих хождениях по Варшаве за пределами гетто. На кровати спала жена Грабовского с дочкой, и ребята обычно за полночь шептались, лежа вдвоем на матрасе, положенном на пол, обсуждая свои дела.

Дел было много. Хенек скупал для Юрека у варшавских аптекарей химикаты для изготовления взрывчатки, доставал самое главное, в чем нуждалось гетто и что ценилось дороже золота - цианистый калий. Эти крохотные серые таблетки циана давали еврею право последнего выбора. Их имели все боевики, они входили в обязательный НЗ - неприкосновенный запас члена еврейской боевой организации.

Под кроватью, на которой сладко посапывали во сне дочь и жена Хенека, Юрек хранил добытые ножи, гранаты, пистолеты. То была жизнь на вулкане, и в конце концов Вильнер перебрался на другую квартиру, на углу Вспульной и Познанской. Здесь-то его и схватили. Видимо, квартира и раньше была под наблюдением. Вскоре после переезда он застал дома засаду - шестерых немцев в черных мундирах.

Его отвезли в гестапо на аллею Шука, и начались бесконечные допросы в пыточных камерах, о которых ходили легенды по всей Варшаве. Его били плетями, бросали с размаху на каменный пол, вырывали ногти, дни и ночи держали в “трамвае”, где узники сутками неподвижно и безмолвно сидели лицом к стене.

И еврейское, и польское подполье замерло в ужасе, как за год до этого, когда арестовали Анджея Шмидта. Связи были прерваны, закупки оружия прекратились, менялись адреса конспиративных квартир. Отношения между еврейской боевой организацией и Армией Крайовой обострились. Руководитель еврейского отдела штаба Армии Крайовой Генрих Волинский, вообще-то хорошо и даже с нежностью относившийся к Вильнеру, тем не менее вспомнил, что он предупреждал его: коль скоро Юрек, знает многих видных функционеров польского подполья, он не имеет права сам скупать оружие, а тем более хранить его у себя на квартире. На что Вильнер, который за словом в карман не лазил, отвечал, что коль скоро Армия Крайова не может вооружить евреев, он вынужден заниматься этим сам.

Отношения восстановились, когда выяснилось, что Вильнер никого в гестапо не выдал. Был назначен новый представитель еврейской боевой организации на арийской



стороне Ицхак Цукерман (кличка - Антек). Но это произошло уже перед самым восстанием.

Существовал неписанный закон, по которому арестованный должен был молчать хотя бы три дня, а потом, если уж нет сил терпеть, раскалываться. Но и три дня выдержать казалось невозможно. Вильнер держался две с половиной недели. У него нашли оружие и документы, свидетельствовавшие о работе в подполье. Его принимали за поляка, функционера Армии Крайовой.

Он счел, что лучше признаться в своем еврействе. Выдал себя за террориста-одиночку, хранившего оружие, чтобы отомстить за смерть родителей. Попытки продолжались, он терял сознание, приходил в себя на бетонном ледяном полу и думал, что делать дальше. О смерти можно было только мечтать. Циана с собой не было.

В конце третьей недели его отправили в Павиак - эсэсовскую тюрьму, находившуюся в центре гетто. Чего только не предпринимали боевики, чтобы узнать его местонахождение, а он находился в двух шагах от них - между Павьей и Дзельной, в мертвой зоне гетто. Но выход из Павиака был только один - в какой-нибудь из лесов в окрестностях Варшавы, где производились расстрелы.

Трудно сказать, что здесь сработало - обострившаяся в конце войны потребность в рабочей силе или какая-то случайность - но его отправили в трудовой лагерь. Вскоре Грабовский получил записку, начинавшуюся словами: "Хенек! Однако я не пропал и живу..."

Лагерь находился в Рембартове, на старом кирпичном заводе. Там и отыскал его Хенек - неузнаваемо опухшего, с израненными ногами - Вильнер едва ходил - с искалеченными руками, отбитыми почками. Пришлось прибегнуть к уловке. Грабовский разыгрывал хозяина квартиры, которому этот "проклятый жид" не заплатил за жилье. - "Отдай мне мои деньги!" - кричал он в присутствии подозрительно молчавших охранников, а Юрек все никак не мог взять в толк - какие деньги? В конце концов понял, и вечером Грабовский выкрал его из барака, вывел, с трудом передвигавшегося, страдавшего от одышки, за стены лагеря, подкормил на снятой квартире и переправил в Варшаву.

Как он упрашивал Вильнера уехать в деревню к его, Хенека, родне, отдохнуть, отъесться, подлечиться (Юрек мочился кровью, пальцы были с вырванными ногтями), выйти хотя бы на время из игры. Он ли, столько сделав для гетто, для боевой организации, не заслужил право на спасение?

Юрек, несколько дней отсиделся на квартире Грабовского, где жена Хенека отпаивала его травами, а потом ушел в гетто. Они даже не попрощались. Хенек был в лавке, когда за Юреком пришли посланцы штаба из гетто, и он ушел навстречу своей судьбе, которая окончилась 8 мая в бункере на Милой, где Вильнер, при появлении запаха газа, которым выкуривали повстанцев, предложил всем покончить жизнь самоубийством, и сам подал пример, выстрелив себе в голову из пистолета.

Хенек после войны работал автослесарем, таксистом, инженером. Аковцев не жаловали в послевоенной Польше. Хорошо хоть не посадили. Многие его товарищи по подполью прошли Сибирь или свои родные польские тюрьмы. Он же тихо зарабатывал себе на хлеб. Скромный варшавянин. Да, был в подполье, но что с того, многие были в подполье или воевали. Время было такое...

Москва-95

Итак, гетто сороковых годов готовится к сопротивлению, опускается под землю, сушит сухари, запасается оружием и ждет своего последнего часа. А Россия середины девяностых годов, в реальном времени которой я живу, доплыла до очередного рубежа своей жизни - парламентских выборов. И среди множества символов, обозначающих декабрь 1995 года, все настоятельнее, все масштабнее, все острее ощутимы партийная грация Зюганова и стрекочущий, жлобский, бесовской говорок Жириновского.

Какое мучительное сжатие сердца, какое тошнотное предчувствие очередного поворота истории заполняет твоё сознание. Да-да, конечно, по Марксу - один раз трагедия, другой - фарс. Но фарс после трагедии уже был, удручающий фарс, начавшийся в 85-м.

Невозможно вынести это снова. Лучше пыльная скука, одиночество и тоска Охайо или Рамат-Гана, чем голос Кобзона, распевającego "Ленин такой молодой..." и рядок членов политбюро на мавзолее. Пусть не тронут, дадут дожить на даче. Не вы-не-су. Нехай оно летит все в тартарары. Вторую советскую жизнь тебе не жить.

Летнее субботнее утро в семидесятые годы начиналось с яростного стука домино, врывающегося со двора в открытое окно. Выглядывая, видишь: грубо сколоченный стол в тени тополей, четверо мужиков в окружении болельщиков, ожидающих своей очереди навывлет. Вздываются здоровенные кулаки, азартно лупя костяшками в досчатую поверхность стола, к губастому мокрому рту время от времени подносится бутылка с портвейном. Сколько крика, мата, гогота. Эх, забава молодецкая! И так каждые субботу и воскресенье, с утра до вечера пока не засветится телеэкран, не позовет домой другое всенародное игрище - футбол.

Ты понимаешь, что пока у тех, во дворе будет бутылка портвейна, говяжьи кости, из которых можно сварить борщ, телек и домино, - здесь ничего не изменится...

Но ведь изменилось. И только сейчас, по прошествии десяти лет от начала перемен, понимаешь, что импульс был внешний.. Из-за падения мировых цен на нефть стал скудеть поток нефтедолларов. Все труднее становилось содержать всю эту махину - ракеты, танки, производящие их заводы. Все сложнее сохранять имидж великой державы, которой до всего и повсюду есть дело - от Анголы до Афганистана. Все меньше оставалось денег на портвейн и говяжьи кости.

И когда те, на мавзолее, рядом стоящие в своих нахлобученных, чтоб ветром не унесло, шляпах, не сумели свести концы с концами, тогда-то и началось. Аукнулось в городской пене - полулюмпенской, полуинтеллигентской - и пошло... Митинги, баррикады, живое кольцо, жаркие речи новых лидеров. Но в толще - цеховой, сельской, доминошной - ничего не менялось.

В аграрной газете, где отрубил в свое время полтора десятка лет и с удостоверением которой изъездил всю Россию, совсем недавно жаловались:

- Невозможно жить на такую зарплату. Гроши получаем.

- Ребятки, но вас же сто пятьдесят человек, и вы выходите через день, в неделю готовите двенадцать полос. Ни одна современная газета не может себе такого позволить. Сократите штат втрое и втрое поднимите себе зарплату.

- Кого ж сокращать? Все свои люди. Ты ж знаешь нашего главного, он человек гуманный.

Гуманные директора заводов по всей России и сейчас содержат миллионы ненужных производству людей. Эти люди слоняются по цехам, рубятся в домино, клянут власть, ностальгируют по незабвенному прошлому и проталкивают сквозь прорезь урны бюллетени, где крестик стоит напротив зюгановцев или жириновцев.

И простираются над Россией эти два лика: один с ленинскими залысынами, рокошущим басом и волчьим взглядом, другой - сытый, нестерпимо наглый, всегда готовый по волчьему же огрызнуться, рассыпать бисер одесско-еврейской скороговорки.

Давая портрет дьявола в "Докторе Фаустусе", Томас Манн подчеркивает его вульгарность во всем, даже в одежде: "Поверх триковой в поперечную полоску рубахи - клетчатая куртка со слишком короткими рукавами, из которых торчат толстопалые руки; отвратительные штаны в обтяжку и желтые стоптанные башмаки, уже не поддающиеся чистке. Голос и выговор - актерские."

В манновском описании ада, которое я приводил в начале этого повествования, есть и такая деталь. "Кроме муки, обреченным проклятью уготованы еще насмешки и позор, что, стало быть, ад следует определять как необычайное соединение совершенно непереносимого, однако вечного страдания и срама".

Страдание и срам... Драки в парламенте... Обещание дать каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки... Похоже, что Россия обречена не только на хаос, но и на срам жириновщины.

"Ты уйдешь, ты останешься"

Весенний месяц нисан вошел в наше сознание музыкой булгаковской прозы.

" В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром четырнадцатого месяца нисана..."

В Варшаве в этом месяце свежая трава пробивается между старыми камнями мостовых, сладко пахнет воздух, ночи стоят лунные свежие, созданные для молодых провожаний и объяснений в любви, для пасхальной трапезы и чтения агады.

В гетто, как и во всем еврейском мире, в ночь на 15 нисана (с 18 на 19 апреля по христианскому календарю) накрывали столы чистыми скатертями, ставили свечи и садились за праздничную трапезу, полную молитв, традиционных диалогов и песнопений - ритуалов, с детства знакомых каждому польскому еврею, к какой бы политической партии он не принадлежал - был ли социалистом, коммунистом или сионистом.

В конце пасхальной агады дети исполняют песенку о козленке, написанную в форме причинно-следственного ритмического повтора, встречающегося и в других национальных культурах:

Отец козленка мне купил,  
Всего два гроша заплатил.

Пришел кот и загрыз козленка. Затем пришла собака и покусала кота, что загрыз козленка. Дубинка побилла собаку, что покусала кота, что загрыз козленка и так далее. Восьмой куплет звучит так.

Затем пришел ангел смерти  
И поразил мясника,  
Который зарезал быка,  
Который выпил воду,  
Которая погасила огонь,  
Который сжег дубинку,  
Которая побилла собаку,  
Которая покусала кота,  
Который загрыз козленка...

В ту ночь ангел смерти приблизился к воротам гетто.

Вдоль всего периметра стен, с их выщербленной кладкой и натянутой поверху колючей проволокой, стояли люди в синей форме польской полиции, в черной - эсэсовской, в зеленой - вермахта. Дымки сигарет, негромкие разноязыкие разговоры, запах сотен мужских тел, побрякивание оружия, шум моторов подъезжающих машин - все было наполнено дыханием ангела смерти.

С рассветом стали подтягиваться бронетранспортеры (тогда их называли броневики), орудия, легкие танки. На перекрестке Заменгофа и Геншей расставили столы и скамейки, подтянули полевые телефоны. Поодаль стояли машины скорой помощи. Все как в нормально спланированной войсковой операции.

В шесть утра двинулись двумя колоннами - с юга на север по направлению к Центральному гетто по улицам Заменгофа и Налевки. Шли с песней, пружинистым маршевым шагом, впечатывая подошвы сапог в стертый булыжник мостовой.

Ах, как весело, вольно ходили они по улицам гетто! Хроникальные кадры немецких операторов запечатлели их лица, лихо заломленные пилотки, стеки, которыми брезгливо прикасались к оборванным завшивленным евреям - этому негодному человеческому материалу.

15 нисана они шли плотной, слитной массой - единый механизм, несущий смерть. Так некогда ходили по иудейской земле римские легионы.

"Колонна шла и шла без конца, - писал впоследствии боец группы Гутмана Симха Ратгайзер,- силой в несколько тысяч. Позади нее двигались несколько легких танков, бронемшины, легкие пушки и несколько сот мотоциклистов СС. - "Они идут будто не на войну",- сказал я своему напарнику и внезапно почувствовал, насколько мы слабы.

Что были мы с револьверами и в лучшем случае гранатами против вооруженной армии, против танков и бронемашин.”

Боевая организация узнала о готовящемся штурме от польского подполья в воскресенье 18-го. Анилевич немедленно собрал штаб. Приняли решение о восстании, о расстановке сил, наметили основные точки сопротивления.

Совещались недолго, все было уже загодя решено и обдумано. Внешне они оставались спокойны. Внутреннее возбуждение прорвалось лишь в самом эмоциональном из них - Анилевиче.

-Ну, кто останется? - спросил он и как в детской считалке стал тыкать пальцем. -Ты уйдешь. Ты останешься. Ты уйдешь...

Самое поразительное, что он угадал. Эдельман и Цукерман остались. Остальные ушли.

К часу ночи наблюдатели с крыш сообщили о кольце войск, окружившем стены. Курьеры штаба пошли по боевым группам, по домам, предупреждая об утреннем штурме. Оставляя пасхальный стол, люди спускались в бункера. Боевики размещались на позициях, куда со складов несли корзины с коктейлями Молотова, гранатами. Все что собирали месяцами, что производилось в тайных лабораториях, покупалось на черных рынках Варшавы, шло теперь в дело.

Раздавали продовольственные пайки. Разведчики, курьеры, у кого опасность попасть в руки немцев была особенно велика, получали дозы цианида. У входов во дворы сооружались баррикады. Оконные проемы укреплялись мешками с песком.

К рассвету три группы боевиков заняли позиции на верхних этажах домов на перекрестке Геншей и Налевок. Четыре отряда расположились на углу Милой и Заменгофа. Силы Еврейского военного союза господствовали на Мурановской площади. Так планировалась оборона Центрального гетто. В двух других районах, на территории больших шопов и фабрики щеток - в полной готовности находились другие соединения.

Однако 19 апреля бои шли лишь в Центральном гетто. Первое нападение произошло на Налевках. Марширующая с песнями колонна была обстреляна из укрытий, забросана гранатами и бутылками с горючей смесью. Оставляя убитых и раненых на мостовой, немцы отступили и, прижавшись к стенам домов, ответили куда более плотным огнем. Но боевики находились в укрытиях, и их спорадические выстрелы точнее находили цель. Немцам пришлось снова отступить с немалыми потерями.

Бой на этом перекрестке возобновился через три часа. Теперь уже немцы вынуждены были сооружать баррикаду из подручных средств - в основном, из матрасов, взятых с расположенного поблизости армейского склада. Начались перестрелки снайперов. Боевикам удалось забросать матрасную баррикаду коктейлями Молотова. Но когда удушливый дым поднялся над Налевками, немцы, в свою очередь, подожгли дом 33, где находились главные еврейские силы. Пришлось уходить по крышам в бункера.

На улице Заменгофа события разворачивались следующим образом. Здесь немцы погнали впереди себя еврейских полицейских.

Хаим Фриммер из отряда Берла Браудо наблюдал за происходящим с балкона.

"Я сообщал обо всем лежащему неподалеку от меня бойцу, а тот передавал в комнату, где находились Мордехай Анилевич и Израиль Канал, - писал после войны в своих воспоминаниях Фриммер.- Я спросил, атаковать или нет. Ответ был: "Ждать!" После того как улицу пересекла еврейская полиция, пошла немецкая колонна. Мне приказали дожидаться, пока ее середина достигнет балкона, и затем бросить гранату. Взрыв послужит сигналом к началу атаки.

Сразу после первого взрыва немцы были закиданы гранатами с обеих сторон улицы. В суматохе можно было разобрать рокот немецкого шмайсера, который был у одного из наших людей из соседнего отряда. Я оставался на балконе и стрелял из своего маузера в растерявшихся немцев. Бой длился примерно полчаса. Немцы отступили, оставив на улице много мертвых и раненых. Затем на улице показались два танка, за которыми следовала другая колонна пехоты. Когда танки подошли к нашему дому, в них бросили несколько коктейлей Молотова и бомб. Большой танк загорелся и поехал назад. Второй загоревшийся танк остался на месте."

Еще один танк подбили и подожгли на Мурановской площади. У сражавшихся здесь боевиков Еврейского военного союза имелись пулемет и несколько автоматов, что и определило яростность и долговременность сопротивления.

Именно здесь, на Мурановской, на крыше массивного бетонного дома повстанцы вывесили два флага: еврейский - белоголубой и польский - бело-красный. Немцы восприняли их как оскорбление. На крышу была послана спецгруппа СС под руководством унтерштурмфюрера Демке, который и поплатился жизнью за эту операцию: в гранату, которую он держал в руке, попала еврейская пуля.

## Солдат партии

Что происходило в эти дни на немецкой стороне? К середине апреля стало ясно, что перебросить еврейских рабочих и оборудование фабрик под Люблин мирным путем невозможно. Недовольство Гиммлера нарастало, и Заммерну фон Франкенегу ничего не оставалось делать, как готовиться к акции. Январь показал, что в гетто имеются разветвленная военно-политическая организация, оружие, сеть бункеров. Очевидно, что без столкновений не обойтись. Заммерн решил сделать ставку на своего рода блицкриг: ввести в гетто сильную группировку войск и мощным ударом не более, чем за три дня, уничтожить боевую организацию. А затем, как уверял Теббенс, оставшиеся евреи сами пойдут на Умшлагплац.

Наиболее осведомленный в еврейских делах человек, начальник гестапо доктор Людвиг Ган понимал, что тремя днями здесь не обойдешься. Все будет намного сложнее и длительнее. Но на совещании руководителей полиции и командиров различных резервных частей, расположенных в Варшаве, которое Заммерн провел 12 апреля, Ган не высказывался. Решено было собрать группу из частей СС, полиции, вермахта, "аскаров" численностью в две тысячи человек, укрепить ее артиллерией, танками и, начав акцию 19 апреля, закончить 22-го.

Ган молчал. На то у него имелись свои причины, ибо на фоне всех этих событий в высшем руководстве СС разворачивалась обыкновенная аппаратная интрига.

Дело в том, что Заммерн принадлежал к австрийскому клану эсэсовской элиты. Он вызывал раздражение в противостоящих эсэсовских кругах не только тем, что, принимая участие в экономических планах Глобочника, затянул депортацию остатков гетто, но и всем своим обликом интеллигента и сибарита. Аристократ, доктор философии, неженка, бабник, он контрастировал со старыми честными солдатами партии, которых немало имелось в резерве Гиммлера.

Однако убрать Заммерна было непросто, за ним стоял лидер австрийского клана Кальтенбруннер. И всякое резкое движение в сфере кадров нарушало соотношение сил в окружении Гитлера. Провал же готовящейся акции в варшавском гетто мог стать вполне мотивированным поводом отстранения "австрийского лиса". Вместе с тем нельзя было и повредить делу. На смену Заммерну должен был немедленно прийти дельный, опытный солдат, который железной рукой доведет акцию до успешного конца.

16 апреля во Львове, в квартире бригаденфюрера СС Юргена Штропа раздался звонок из Берлина. "Дорогой мой Штроп, все дела, самые важные, бледнеют перед задачей, какую я поставил перед вами в Варшаве," - сказал Гиммлер.

Ветеран первой мировой войны (вице-фельдфебель, железный крест за ранение), высокий, подтянутый, спортивный, Штроп завоевал репутацию надежного, преданного идеи человека со времен, когда ему пришлось незадолго до прихода Гитлера к власти организовывать выборы в рейхстаг в своем родном княжестве Липпе, где он служил начальником полиции.

Выборы прошли с убедительным перевесом национал-социалистов, а Штроп быстро зашагал по лестнице должностей и званий. Ему давали наиболее деликатные задания. Скажем, войти в передовых германских частях в Чехословакию с тем, чтобы возглавить фашистскую организацию Гейнлейна, правильно направив ее активность. В Познани он

руководил в первые дни второй мировой войны отрядами шельбшютца - военизированной организации местных немцев.

В промежутках между такими ответственными миссиями он отдыхал, проходил переподготовку, командовал эсэсовскими территориальными формированиями. В 41-м его готовили к исполнению обязанностей руководителя войск СС и полиции безопасности в Тбилиси. В конце войны он дорос до звания группенфюрера и должности командующего войсками СС земли Северный Рейн - Вестфалия. Но в историю он вошел как усмиритель восстания в варшавском гетто, человек, уничтоживший самую крупную еврейскую общину Европы. И сам он воспринимал эту свою роль, как историческую, как звездный час, вершину карьеры, в которой имелось немало значительных событий.

- Каким прекрасным и кристально чистым был воздух в Нюрнберге, когда я вел колонну знаменосцев на партайтаг, - вспоминал Штроп в конце сороковых годов в Варшаве в камере смертников мокотовской тюрьмы в обществе мелкого немецкого канцеляриста и бывшего офицера Армии Крайовой.

Это считалось одним из высших знаков отличия. Первым по плитам огромного Нюрнбергского стадиона, главной арены фашистских театрализованных представлений, шагал Гиммлер со своим штабом. За ним на расстоянии нескольких десятков шагов он, Юрген Штроп, в парадном мундире, в высоких сапогах, в шлеме, низко надвинутом на коротко постриженную голову. Трубы, флейты, барабаны. Носок на высоте пояса и четкий, мерный, слитный удар в землю. Знаменитый прусский церемониальный марш. На трибуне Гитлер с поздравительно поднятой рукой. Правительство, иностранные гости, народ.

В преддверии смерти он ходил по камере, забывшись, крича, высоко вскидывая ноги, вспоминая лучшие мгновения своей жизни.

-Такой парад, - говорил Штроп, - объединяет правительство с массами. Нам нужен был мистический контакт с вождем. Мы ощущали флюиды, исходящие от его фигуры, жестов, глаз, вселявшие ощущение бодрости, силы, единства.

Он вообще обладал немецкой склонностью к торжественности, к фразе, и каждый этап подавления восстания отмечал изречением. Его знаменитое: "Еврейский квартал в Варшаве перестал существовать" - было выведено готическим шрифтом как заглавие на титульном листе рапорта Гиммлеру.

Копии всех рапортов вместе с фотографиями, сделанными специально присланными кинооператорами, были переплетены в увесистый кожаный альбом и хранились в его домашнем архиве на вилле в Висбадене. Летом 45-го некий американский офицер, поселившийся на этой брошенной вилле, скучливо бродя по комнатам, наткнулся на этот альбом в кабинете хозяина. Ахнув при виде фотографий, сообразив, с какими документами имеет дело, он отправил их по инстанциям.

Эти материалы фигурировали как на нюрнбергском процессе, так и на двух персональных процессах Штропа, получившего в конце концов аж два смертных приговора - от американского и польского судов.

Он держался на процессах и в тюрьме спокойно, с достоинством, не опускался, был аккуратен в одежде, осторожен в словах и боролся за жизнь до конца.

Его повесили в Варшаве 6 марта 1952 года в семь часов вечера. Мокотовская тюрьма жила своей вечерней жизнью. Служащие разошлись по домам, остались только дежурные надзиратели. Заключение стояли на вечерних поверках или готовились ко сну. А ему предстояло взойти на эшафот.

Последний куплет песни про козленка, так и не допетой детьми гетто в ночь на 19 апреля 1943 года, звучит так:

Затем пришел Всевышний  
И уничтожил ангела смерти,  
Который поразил мясника,  
Который зарезал быка,  
Который выпил воду,  
Которая погасила огонь,  
Который сжег дубинку,

Которая побила собаку,  
Которая покусала кота,  
Который загрыз козленка.

Впрочем, пока еще Юргену Штропу отмерено девять лет жизни, и он мчится на своем мощном "Хорхе" в сопровождении охраны по дорогам Галиции, торопясь в Краков, к Крюгеру за инструкциями. А 17 апреля инкогнито появляется в Варшаве на конспиративной квартире гестапо, где его ждет Ган.

Весь вечер они сидят за бутылкой бургундского, осторожно прощупывая друг друга, выясняя степень информированности собеседника, меру проникновения в аппаратные тайны. Штроп знает, что в предстоящей миссии по усмирению варшавских евреев и свержению Заммерна ему предстоит опираться на Гана и понимает вместе с тем, что Ган как бы приставлен доглядывать за ним, сообщать о всех его действиях в Берлин. Таковы правила игры.

На следующий день 18-го Штроп внезапно появляется на последнем перед акцией инструктивном совещании, которое Заммерн проводит с командирами частей. Для Заммерна это неожиданность, он, конечно, догадывается об истинных причинах приезда Штропа. Но тот не вмешивается в подготовку штурма, не берет на себя командование ("пусть этот "австрийский лис" покажет свою несостоятельность"), хотя утром уже успел побывать в гетто. Надев офицерскую шинель без знаков различия, в сопровождении минимальной охраны, он осмотрел стены, проверил бдительность наружной охраны, состоявшей в основном из "аскаров", проехал по улицам.

Утром 19-го на него обрушился шквал звонков из Берлина и Кракова, где мгновенно узнали о том, что произошло в гетто. Крюгер кричал, что это позор, военное и политическое поражение, пятно на добром имени СС, что этого "тирольского интеллигента" надо немедленно арестовать и предать суду. Гиммлер был сдержаннее. Он считал, что надо уладить дело деликатно, без шума, не вызывая возбуждения австрийского клана. Заммерна следует устранить, "не уязвляя его личной преданности"

В 7.30 в квартиру Штропа ворвался сам Заммерн в состоянии близком к истерике. Он кричал, что надо звонить в Краков, требовать авиацию, иным способом восстание не подавишь. Штроп сказал, что берет командование на себя и отправился в гетто.

О его дальнейших шагах мы можем судить по рапортам и рассказам Штропа сокамерникам, вошедшим в книжку Казимежа Мочарского "Разговоры с палачом". В собственном представлении он вел себя, как полагается отцу-командиру, опытному и мудрому воину. Успокоив Заммерна, привел в порядок отступившие из гетто части, распорядился выдать солдатам по рюмке шнапса, ввел в бой резервы и начал атаковать снова, приказав наступать отнюдь не колоннами, а небольшими группами, используя укрытия, перебегая от дома к дому.

В тот же день, судя по рапорту Штропа, немцы открыли первые бункера, выведя оттуда несколько сот евреев. Теперь они по-настоящему начинали понимать, какая трудная и долговременная операция им предстоит.

## В пылающем мире

В первый день немцы не вторгались на территорию шопов, видимо, рассчитывая устрашить рабочих действиями в Центральном гетто, где практически не было промышленности, и договориться о добровольном переезде в люблинские лагеря. К 20 апреля эти иллюзии начали исчезать, и хотя попытки вести переговоры с дирекцией еще предпринимались, на второй день бои шли уже во всех районах гетто.

Фабрика щеток, которая стала одной из самых неприступных цитаделей восстания, представляла собой лабиринт фабричных и жилых корпусов, где обитали четыре тысячи рабочих с семьями. Это был отдельный район - анклав, зажатый между Центральным гетто и старым парком Огородом Красиньских, местом отдыха городской бедноты. Здесь располагалось довольно внушительное соединение боевиков, состоящее из пяти групп под руководством Эдельмана, отряда Еврейского военного

союза, возглавлявшегося Хаимом Лопатой и множества мелких вооруженных групп "диких котов".

19 апреля немецкие колонны обходили стороной фабрику щеток, и боевики Эдельмана могли наблюдать с крыш и верхних этажей домов за тем, как сражались их товарищи в Центральном гетто.

20-го в два часа дня эсэсовское формирование строем подходит к воротам фабрики. Как только солдаты попадают в проход, ведущий во двор, взрывается мина. Через два часа - новая попытка попасть во двор. Выстрелы, взрывы гранат и бутылок с горючей смесью. Немцы меняют тактику, проникают в дома с тыла, идут поверху. Начинаются бои на крышах, где у повстанцев - явное преимущество.

Во время этих стычек и перебежек по чердакам и крышам главный оружейник боевой организации, тридцатилетний инженер Михал Клепфиш прикрывает своим телом немецкий пулемет, давая возможность товарищам отойти. За этот "матросовский" подвиг польское правительство в изгнании награждает его орденом "Виртути милитари".

Наконец, произошло событие, не имевшее прецедента в антигерманском сопротивлении: три парламентаря - офицеры с белыми лентами в петлицах и опущенными атоматами - появились в воротах с предложением на пятнадцать минут прекратить огонь с тем, чтобы можно было убрать убитых и раненых, и обещанием спокойно переселить всех рабочих с семьями в Понятов.

Впоследствии немцы утверждали, что они обращались не к боевой организации (никаких переговоров с "бандитами"!), а к руководителям фабрики, которые могли, по их мнению, воздействовать на боевиков. В ответ - огонь.

В конце дня Штроп отдает приказ применить артиллерию. На улицах, окаймляющих фабричный квартал, - Бонифратерской, Свентоежской, Францисканской - устанавливают полевые пушки, на крышах домов - пулеметы. Начинается систематический обстрел зданий. Фабрика продолжает сопротивляться и 21-го, В ход идут огнеметы. Выжигается дом за домом. Боевики решают уходить в Центральное гетто.

Их проход по пылающим улицам, описанный Эдельманом, являет собой картину ада. Вместо воздуха - черный грызущий легкие дым. Горящие балки с треском, в россыпях искр падают сверху. Асфальт, превратившийся в черную липкую массу, в которой увязают ноги. На балконах, в окнах, в проемах лестниц - обугленные трупы. Обезумевшие люди, которых огонь выгнал из убежищ, бесцельно бродят по дворам.

Четыре боевые группы с оружием в руках перебегают из двора во двор. Для входа в Центральное гетто надо пересечь Францисканскую, где имеется пролом в стене, освещаемый прожектором и охраняемый многочисленным патрулем из жандармов, украинцев и польских полицейских. После недолгого замешательства Залман Фридрих стреляет в прожектор, и в темноте все устремляются в пролом.

Панорама каждого дня восстания представляет собой мозаику фактов, поступков, сообщений подчас противоречивых. Как, к примеру, они проскочили пролом? В темноте, несколько десятков человек. Что делал в это время патруль? Эдельман на такой вопрос не отвечает. Просто проскочили, и все. Но вместе с тем сколько бесценных человеческих деталей несут в себе мемуарные свидетельства!

Не надо видеть в этих ребятах богатырей. Они были еврейские мальчишки с генетически унаследованной хрупкостью нервной системы, с развитым воображением, боящиеся смерти, думающие о ней. И бронзовый Анилевич, чье изваяние стоит в израильском киббуце, переходил от пафоса ("Погибнем с честью ради истории!") к отчаянию (сидел, охватив голову, и твердил: "Мы все погибнем, мы все погибнем".) А его письмо, написанное в один из первых дней восстания Цукерману, находящемуся тогда на арийской стороне: "Будь здоров, мой дорогой! Может быть еще увидимся. Сбылась главная мечта моей жизни. Видел еврейскую самооборону во всем ее величии".

Залман Фридрих, который выстрелил в прожектор, просил Эдельмана не забыть после войны о его дочке, спрятанной в католическом монастыре: "Я обязательно погибну, а ты выживешь." И Эдельман не забыл, долгие годы спустя после войны,



отыскал ее в США, удочеренной американской семьей, выросшей. Только отыскал поздно. Она покончила жизнь самоубийством.

Или такие детали. Перед выстрелом в прожектор часть отряда впала в истерику: "Дальше не пойдем. Нас всех перестреляют." И человек шесть остались. А когда немцы начали поджигать дома, в укрытие боевиков вбежал связной с криком: "Горим! С нами кончено." И Эдельману пришлось дать ему пощечину, чтобы предотвратить панику.

Думали ли они, перебегая из двора во двор в этом огненном аду, что именно их сопротивление превратило гетто в ад, что они уходят с территории фабрики щеток, которую взялись оборонять, в более спокойное место и потом будут по мере возможности пробираться на арийскую сторону, в то время как толпам обезумевших людей некуда идти, негде спрятаться?

Конечно, они имели право считать себя людьми, отстаивающими достоинство нации и тем самым обрекшими себя на смерть. Все равно толпам, мечущимся по ночным пылающим дворам, нет спасения. Рано или поздно их ждет Треблинка, а не Травники и Понятов, как уверяют немцы. Но выбор, даже и когда речь идет о том, умереть сейчас или позже, можно делать за себя, а не за других. Пока же обугленные трупы и умоляющие крики: "Тайеринке, вухин?" - "Дорогие, куда?", обращенные к ним.

Об этих криках, раздававшихся в огромном дворе на Милой, куда спасаясь от пожара, охватившего несколько дней спустя уже все гетто, пишет Цивья Любеткин. Шопот, неясный гул голосов, плотная человеческая масса с неразличимыми во тьме лицами сгрудилась около кучки молодых людей с пистолетами, словно прильнула к ним, ожидая ответа на вопрос: "Дорогие, куда?"

Но это было в начале мая. А в первые дни восстания ими владела эйфория. Та же Цивья рассказывает, как она, сражавшаяся в отряде Артштейна, решила на третью ночь посмотреть, что делается в бункере Берла Браудо, расположенном на Милой. С трудом найдя в темноте место, где был замаскированный вход, она негромко произносит пароль. Через мгновение - объятья друзей. Ей организуют ванну - немыслимая роскошь! Включают радиоприемник, ставят на стол бутылку водки и даже режут курицу. Здесь есть свой курятник. И начинается застолье, полное упоительных воспоминаний: как метался в огне немец, о чью голову разбилась бутылка с горючей смесью, как горел подожженный танк... В этот момент думалось только об одном: мы отомстили, мы дожили до еврейской самообороны.

Первые три дня можно было считать восстанием в классическом смысле слова. Формирования немцев пытались вторгнуться в тот или иной район гетто, их обстреливали с верхних этажей домов, завязывался бой, в котором немцы использовали пулеметы и артиллерию, повстанцы переходили на другую позицию по заранее подготовленным маршрутам - по крышам, чердакам, проломам в стенах - и снова обстреливали противника, забрасывая его гранатами и бутылками с горючей смесью.

Так было в Центральном гетто - на Милой, Заменгофа, Налевках, на Мурановской площади, на фабрике щеток, на территории больших шопов - фабриках Теббенса, Шульца, Хальмана. Свидетельств этих боев сохранилось немало, как правило написанных в патетическом духе.

"Наша группа, - пишет в своих воспоминаниях Бернард Борг, - заняла на Лешно, 74, комнату на первом этаже, с широким окном, которое служило хорошим наблюдательным пунктом... Товарищ Метек стоял с гранатой в руке, готовый на все. Никто не мог его убедить в необходимости смены. "Буду так стоять пока не подойдут псы, чтобы разбить гранату о их лбы," - отвечал он решительно. На дворе уже совсем светло. Улица как бы вымерла, но перестрелка интенсивнейшая. "Внимание, каждый на своем месте." Черные глаза Метека расширяются, он отклоняется назад. Трах! Эхо брошенной гранаты. Товарищ Рыба молниеносно бросает три бутылки с горючей смесью. На улице - страшная паника, крики. Попали в группу эсэсовцев. "Отходим!" - раздается приказ. Дом сильно обстреливается из пулемета. Отходим без паники, в соответствии с планом из одного коридора в другой, где стоит лестница, ведущая в недостроенный дом на Лешно, 76".

Особенно тяжелые бои шли на Мурановской площади на позициях Еврейского военного союза. Танки, броневики, артиллерия - все было брошено сюда на подавление этих отрядов, вооруженных несколько лучше, чем другие еврейские формирования. Отступая из здания в здание под огнем немецких пулеметов, боевики наконец решили воспользоваться загодя вырытым туннелем и перебраться на арийскую сторону.

С помощью одного из отрядов Армии Крайовой, так называемого Корпуса безопасности, с которым у Еврейского военного союза были давние связи, группа боевиков под руководством Леона Родаля достигла пригорода Варшавы, сосредоточившись в лесу, и здесь пала в бою с жандармами. Другая группа не ушла дальше ближайшего к выходу из туннеля дома на арийской стороне. Жильцы сообщили в полицию, и ребята приняли свой последний бой на крыше этого дома.

По истечении трех дней Штроп, который и раньше понимал, что этот срок, назначенный Заммерном для подавления сопротивления евреев и вывоза их в Люблинские лагеря, нереален, еще раз убедился, какая долговременная и трудная работа ему предстоит. Конечно же, он подавлял боевые вылазки евреев. Мудрено было их не подавлять при том вооружении, которое имели боевики. ("Знаешь, пистолет не имеет никакого значения, - писал Анилевич Цукерману на арийскую сторону после первых боев. - Почти его не используем. Нужны гранаты, пулеметы, взрывчатка.") Но эффекта от такого подавления в сущности не ощущалось. Боевики уходили на другие позиции, захватывать их не удавалось. Более того, почти не удавалось захватывать и жителей гетто, рабочих предприятий, которых ждали товарные вагоны на Умшлагплаце.

Вечером 20 апреля Штроп сообщал Крюгеру: "Было раскрыто девять бункеров. Их обитатели, оказавшие сопротивление, подавлены, бункера взорваны... В акции принимало участие девять подразделений. Всего сегодня было поймано 505 евреев и в той степени, в которой они были пригодны к работе, сохранены для отправки в Понятов". Если учесть, что в соответствии с донесениями того же Штропа в тот день в операции участвовали 1 262 солдата и 31 офицер, то выходило: для поимки одного еврея требовалось в среднем 2,5 немца. При том, что в гетто насчитывалось от 50 до 70 тысяч человек, для его очистки потребовалось бы как минимум три с половиной месяца. Поэтому решено было приступить к тотальному выжиганию кварталов, где оказывалось хотя бы малейшее сопротивление, и более активному поиску бункеров.

Гетто запылало со всех сторон. Подземные убежища превратились в раскаленные могилы. Люди неподвижно сидели или лежали, полуобнаженные, тяжело вдыхая раскаленный воздух, борясь с мучительным желанием выйти наружу прямо среди бела дня. Но наверху не было никакого "бела дня", а только черный дым, застилающий свет, смрад, пламя, раскаленные развалины, остовы сгоревших домов. Те, кто вышли наружу или вообще не имели подземного убежища, бессмысленно блуждали по дворам, карабкались по полусгоревшим лестницам вверх, к воздуху. А если пламя заставало их наверху, отрезая путь назад, прыгали из окон, иногда выбросив вниз тюфяк или одеяло, а то и просто так, очертя голову, убегая из пекла в смерть.

Немцы называли их "парашютисты". Полет парашютиста, как и многое другое, происходившее тогда в гетто, запечатлен на снимке немецкого кинооператора. Светлое от огня, туманное ночное небо, черный от копоти, облицованный гранитными плитами дом, над которым вьется дым. И клуб пламени, вылетающий из окна третьего этажа, в котором угадываешь контуры человека.

Штроп фиксирует эти "полеты" и то, что происходило с людьми после приземления, в своих рапортах: "С переломанными костями они пытались потом ползти через улицу к блокам, еще не объятые пламенем или только начинающим гореть". Чуть ниже он отмечает мужество и отвагу своих людей, которым приходилось выполнять свой долг в гетто.

"Если обратить внимание на то, что большинство эсэсовцев перед акцией имели лишь трех-четырёхнедельную подготовку, то следует отметить их выработку, отвагу и боевую готовность. Даже саперы вермахта были неутомимы и полны готовности выполнять свою работу по взрыву бункеров, каналов и бетонных домов. Офицеры и рядовые

полиции, большинство которых уже побывало на фронте, еще раз проявили свою образцовую отвагу.”

Если в первой цитате - ничего кроме чугунной непробиваемой жестокости, средневековой отстраненности от человеческого ( “ползут с переломанными костями” - евреи ползут, не люди), то во второй - несколько слоев не сразу уловимых подтекстов и ассоциаций. И напоминание, что ему, Штропу, дали для усмирения восстания новичков, и презрение элитного эсэсовского генерала к армейщине (“даже саперы вермахта...”), и преклонение перед фронтовым опытом.

Шесть лет спустя он обращался в своих воспоминаниях к тем дням, рассказывая сокамерникам о том, как невыносимо было работать в гетто: “Пожары, дым, пламя, искры, разносимые ветром, пыль, тучи пуха в воздухе, запах паленой материи и человеческого мяса, орудийные залпы, разрывы гранат, зарево огня и “парашютисты”.

Он возвращался к себе домой, в огромную барскую квартиру на аллее Роз, настолько измученным, “что словно мужик или люмпен, а не человек генеральского звания, заваливался в постель, даже не приняв ванну”.

Эта реплика также характерна для Штропа, как монокль, стек, верховая езда и другие атрибуты аристократизма, усвоенные мелким провинциальным чиновником, фельдфебелем, ощутившим себя генералом, и копирующим манеры и облик кумиров своей юности. Лечь спать, не приняв ванну, - признак крайнего изнеможения. Обычно, вернувшись из гетто, он долго сидел в душистой ванне, обтирался одеколоном, менял не только белье, но и мундир, обувь. Перед ужином, состоящим из филейной вырезки с кровью и бокала бургундского ( с каким вкусом он описывал в камере смертников, что ел в своей жизни, как одевался, каких женщин любил!), он сидел у открытого окна, попивая французский аперитив, поглядывая на звезды, дыша весенним воздухом, особенно упоительным после смрада и дыма гетто. “Пыль там была страшная, смрад, дым, сущий ад на земле. Зато в Лазенках (по соседству с моей квартирой) - весенние теплые апрельские дни. И первые апрельские цветы”.

По Лазенкам - варшавскому парку, где находится знаменитый памятник Шопену, - он после усмирения восстания ежедневно ездил верхом.

Это чувство контраста между красотой Божьего мира и адом, в который превратилось гетто, это ощущение соседства с нормальной жизнью были ведомы и евреям. В дни восстания рядом с фабрикой щеток, по ту сторону стены, в другом варшавском парке - Огроде Красиньских работала карусель, и до вечера слышны были оттуда хохот, визг, счастливые молодые голоса. Они слышали эти звуки, сражаясь и умирая, видели деревья парка и ту карусель с крыш и верхних этажей домов. Она была символом, знаком недожитой жизни, не прошедшей молодости, недолюбленной любви.

А те, кто ходили и жили по другую сторону стены, видели зарево в полнеба, слышали выстрелы и взрывы снарядов.

## Трамвайный дьявол и Бог с улицы Злотой

Не только стены с колючей проволокой, с двойным кольцом охраны окружали гетто, не только дым и пламя обволакивали эти кровотокающие обломки исчезающего мира. Противоречивые страсти - сострадание и злорадство, гнев и боль, стремление свести старые счеты - эта многоцветная духовная аура висела над гетто.

Польская подпольная пресса с изумлением и уважением, в полный голос, а порой и сквозь зубы ( в зависимости от политической ориентации) заявляла о своей моральной поддержке восстания. Переосмысляя привычный исторический образ еврея, как существа приниженного, она открывала в нем потомка Маккавея, вспоминала о последнем вооруженном выступлении иудейства - восстании Бар Кохбы. Но она не была бы национальной прессой, коль скоро не отражала бы на своих страницах весь спектр общественных настроений. И потому наряду с возгласами о мужестве, о пепле Варшавы, из которого восстанет новый Израиль, раздавались напоминания о том, что восстание инспирировали коммунисты, ожидающие поддержки русской авиации, что

евреи провоцируют поляков на вооруженное выступление в их поддержку, которое будет оплачено польской кровью.

Город был переполнен самыми невероятными слухами и легендами о восстании. Слух о советских самолетах, сбрасывающих повстанцам оружие и продовольствие, был так распространен, что в него верили даже сами евреи, обращавшие свои взоры к небу, надеясь увидеть там советских парашютистов. Это была последняя надежда, только с неба оставалось ожидать избавления.

На арийской стороне распространялись легенды о потерях немцев и “аскаров”, исчисляемых тысячами убитых, о сожженных танках, об огромном количестве захваченного оружия, наконец, о еврейской Жанне д'Арк - юной красавице в белом, метко стрелявшей из пулемета, в то время как в нее ни одна пуля не попадала. Эта последняя легенда была, судя по всему, навеяна образами девушек, участвовавших в боях, что поражало и немцев. “Смотри, женщина стреляет!” - кричали они на первых порах. Да и Штроп годы спустя вспоминал об этих еврейских фуриях, как об особой примете восстания.

Но легенды легендами, а были еще и уличные разговоры, которые с документальной точностью приводит Рингельблюм.

Благочестивая бабушка: “ Во время большой недели ( имеется в виду пасхальная неделя - М.Р.-З.) евреи пытали Христа. А теперь на большой неделе евреев пытаются немцы.”

70-летний священник: “Хорошо то, что произошло. У евреев в гетто имелась большая военная сила. Если бы они не направили ее против немцев, то они использовали бы ее против нас”.

Разговор в трамвае: “Маленьких еврейчиков сжигают, а большие владычествуют в Америке и после войны будут владычествовать над нами”.

Домохозяйка: “Страшно видеть, что происходит в гетто, ужасные вещи. А может хорошо, что так случилось, евреи сосут нашу кровь”.

Два коммерсанта. Один сожалеет о том, что из-за пожаров в гетто будущая Польша много потеряла. Другой отвечает: “Не печальтесь: гетто - вонючий район и хорошо, что его больше не будет. Мы построим рай без евреев.”

Старая дева, учительница: “Человек жалеет кошку, но ведь еврей тоже человек, хотя он и еврей”.

Жена капитана, служащая почты: “Перед войной евреи занимались шпионажем в пользу врагов, а теперь эти выродки требуют от нас помощи. Не за кого проливать кровь.”

Член Польской социалистической партии: “Организация не подготовлена к вооруженному выступлению. Мы сочувствуем евреям в их трагическом положении. Надо им поставлять оружие, но активное сотрудничество невозможно. Во имя высшего дела, во имя борьбы за независимость надо все выстрадать. Партия должна избрать удобный для нее момент для борьбы и не считаться с сантиментами даже с самыми благородными.”

Надо сказать, что такую точку зрения разделяли не только социалисты, но и представители других политических течений польского подполья, его объединенной боевой организации - Армии Крайовой - АК.

Немцы напрасно боялись, что восстание перекинется на арийскую часть Варшавы, а то и польхнет дальше, и тогда уж точно придется снимать с фронта войсковые соединения.

Один из командиров АК заявлял Цукерману: "Скажу вам откровенно: мы не верим вам. Мы верим, что гетто - не более, чем база Советской России. Существует план, и мы, поляки, знаем о нем: восстание в Варшавском гетто готовили русские, и у вас больше оружия, чем вы говорите. Я уверен, что 1 мая они высадят десант в Варшавское гетто".

Впрочем, так искренни были далеко не все руководители Армии Крайовой. Ответом командира Варшавского округа АК генерала Хрусцицеля на просьбу Еврейской боевой организации о помощи и сотрудничестве было предложение обучить группу боевиков и отправить их в партизанские отряды, действующие за сотни километров от Варшавы, на Волыни, хотя и оккупированной немцами, но попавшей после сентября 1939 года в советскую зону. Смысл такого ответа был ясен: "Отправляйтесь к своим большевикам".

Тем не менее, как вспоминал Хрусцицель после войны, уже находясь в США, после начала восстания он предложил командующему АК генералу Коморовскому провести акции помощи восставшим евреям. Эти акции носили скорее демонстративный характер, хотя и оплачивались кровью бойцов АК.

На второй день восстания группа бойцов АК под командованием капитана Юзефа Пшенного (Хвацкий) попыталась взорвать стену на Бонифратерской улице. Не совсем ясно, что они собирались делать дальше - войти в пролом и вести бой, эвакуировать через этот пролом евреев? Но акция не удалась. Мина взорвалась, не повредив стену, началась перестрелка, в которой погибли несколько бойцов и немцев. В результате отряд отошел, растворившись в варшавских улицах.

На следующий день небольшая группа бойцов коммунистической Армии Людовой под руководством Франтишека Бартошека напала на немецкий артиллерийский расчет, обстреливавший гетто с Новинярской улицы.

Но и Армия Крайова, и только зарождавшаяся тогда Армия Людова были сложными подпольными формированиями, созданными на основе разноликих боевых организаций. В них входили люди разных уровней нравственного и политического сознания. И потому отношение к еврейству, мера участия в борьбе гетто не всегда регулировались директивами командования.

Не знаю, поступал ли приказ генералу Петриковскому, возглавлявшему одно из формирований АК - Корпус безопасности (впрочем это было достаточно автономное формирование), о сотрудничестве с Еврейским военным союзом, скорее всего нет, но подчиненная Петриковскому группа майора Иваньского проявила в отношениях с варшавскими евреями поразительную самоотверженность.

Они жили по соседству с гетто, с его южной стеной - на Злотой, рядом с одной из главных варшавских магистралей - Аллеями Иерусалимскими - отставной офицер Войска Польского Генрик Иваньский, его жена Виктория и их сыновья Збигнев и Роман. Мало кто знал, что Генрик был в начале двадцатых активным участником антигерманских восстаний в Силезии, которые в конце концов привели к передаче Верхней Силезии Польше. Скрывая от гестапо свое прошлое, он жил в Варшаве под именем Герберта Быстрого, работая администратором в больнице святого Станислава на Воле.

Видимо, повстанческий дух был неукротим в нем, ибо уже в конце 39-го он организовал в больнице подпольную организацию под названием Союз вооруженной борьбы, которая впоследствии вошла в состав Корпуса безопасности. Помощь евреям была, судя по всему, больше чем формой антигерманского сопротивления.

По логике сюжета, мне надо бы прежде всего рассказать о бое, который затеял отряд Иваньского, проникнув 27 апреля через туннель в гетто, настоящем целодневном бое, где поляки сражались бок о бок с евреями. Но, пытаясь осознать жизнь Иваньских, меру их христианского самопожертвования, я останавливаясь в недоумении. В одной и той же национальной среде уживались тучи шамальцовников, с гнусной усмешкой преследующих евреев и отдающих их на заклятие немцам, трамвайная толпа, высказывания которой приводит Рингельблюм, и семья, где 16-летний сын гибнет с оружием в руках на баррикадах еврейского восстания, другой сын получает там же ранение, мать заражается туберкулезом от еврейки, за которой она ухаживает,

приютив ее у себя, а отец выводит из гетто целые караваны людей, снабжает оружием повстанцев и приводит на помощь им целый отряд поляков.

Они были не одиноки. Делать то, что делали они на протяжении всего существования гетто, можно было только, будучи окруженными единомышленниками. Эта семья находится в центре довольно обширного круга католической интеллигенции - врачей, профессоров, инженеров, священников, отставных военных, также, как и Генрик принимавших участие в Силезских восстаниях. Рискуя жизнью, они передают из дома в дом беглецов из гетто, хранят оружие, участвуют в акциях сопротивления. Подлинно - дивна человеческая природа, Бог и дьявол живет в ней рядом.

Почему Иваньский дружил именно с Еврейским военным союзом? Скорее всего потому, что там также, как и в Корпусе безопасности, было довольно много бывших солдат и офицеров Войска Польского. Это было, как сказали бы сейчас, братство по оружию, и братство весьма эффективное. Сражались они 27 апреля вместе с отрядом Давида Апфельбаума на Мурановской площади профессионально, используя тактику засад, отходов, внезапных вылазок. Забросали бутылками с горючей смесью танк, долго удерживали позиции, нанеся ощутимый урон противнику. Отступили лишь вечером, израненные, потеряв несколько человек убитыми.

## Гибель штаба

Бой на Мурановской площади, который вел объединенный польско-еврейский отряд, свидетельствует о том, что еще 27 апреля, то-есть на девятый день восстания были возможны позиционные противостояния... Между тем уже на третий, четвертый день широко использовалась тактика тотальных поджогов и тотального уничтожения всего живого.

Принять это решение особенно применительно к территории шопов для Штропа было непросто. Ведь в результате уничтожалось имущество, принадлежащее теперь компании "Ости".

22 апреля в Варшаву прибыл Глобочник. Он заявил Штропу, что, по его мнению, ликвидация гетто проводится неправильными методами: приоритет следует отдавать эвакуации оборудования фабрик и другого имущества, ставшего собственностью "Ости". Штроп заколебался, дал Теббенсу еще день-другой для уговоров рабочих. Однако никто не думал добровольно отправляться на Умшлагплац, нападения боевиков не прекращались, и немцы продолжали поджоги.

После войны Теббенс утверждал, что Глобочник грозил вмешательством Геринга, видимо, как имперского уполномоченного по выполнению четырехлетнего плана. Это говорило о необычном накале конфликта. У высших офицеров СС было не принято обращаться в случае разногласий к кому-либо за пределами "черного ордена". Такое считалось явным нарушением принципа дисциплины и единства СС, фанатично насаждавшегося Гиммлером. В конце концов все и кончилось вмешательством Гиммлера, приказавшего "прочесывать гетто тщательно, с жестким сердцем, без жалости. Лучше всего действовать сурово. Инциденты в Варшаве доказывают насколько эти евреи опасны."

Новая тактика означала не только тотальные поджоги. Наряду с огнеметами, применялись и другие спецсредства - собаки, обученные распознавать скопления людей под землей, прослушивающие приборы, дымовые шашки, которые бросали в щели, ведущие в бункера, и, наконец, газы. Их применение немцы отрицали, тем не менее использование отравляющих веществ с содержанием хлора при подавлении восстания в варшавском гетто - факт несомненный. Отравленные хлорином люди еще долго выкашливали остатки легких, умирая в Майданеке и Освенциме, куда они попадали в конце концов в результате многочисленных депортаций.

Был еще один прием, старый как мир: информатор, наводчик - еврей, которому обещали жизнь. Он появлялся среди развалин в сопровождении команды эсэсовцев или аскаргов и ощущая, дуло автомата за спиной, начинал выкликать на идиш: "Евреи, сдавайтесь, вам ничего не будет! Евреи, выходите!" В конце концов показанный им

вход вскрывали, бросали туда несколько дымовых шашек или канистру с хлорином, и чередой мужчин и женщин, стариков и детей с поднятыми руками появлялась во дворе, кашляя, щурясь на свет.

Изменилась тактика и боевиков. Они не пытались теперь удерживать заранее подготовленные позиции, да и не было этих позиций в дыму и пламени, заполонивших гетто. Выходя из бункеров, прячась в развалинах, небольшие боевые группы нападали из засад на мобильные и также небольшие отряды немцев, которые рыскали по гетто в поисках бункеров. "Днем отсиживаемся в бункерах,- писал Анилевич Цукерману.- С нынешнего вечера и впредь переходим к партизанской тактике. Той ночью выходили три группы для выполнения задания: вооруженная разведка и добыча оружия".

Новая тактика означала превращение войны крыш в войну бункеров. Здесь, как в детективных фильмах, - кто первый успеет выстрелить. У немцев было преимущество в оружии - автомат оставался недостижимой мечтой евреев, у боевиков - во внезапности.

Спрятавшись среди разрушенных стен, закрепившись где-то на высоте второго этажа, на уцелевшей лестничной клетке, боевики несли дневное дежурство, обозревая улицы или то, что осталось от улиц, сквозь щели и проемы. Синевая неба над головой, усыпляющее тепло - будто и нет войны. Все обманчиво в этом чудовищном мире: обещания немцев, призывы поляков, их собственные мечты о Палестине, дневная тишина, мирное сияние весеннего солнца. Только рука лежит на рукоятке пистолета, и этот пистолет - единственная и главная реальность, та нить, на которой висит твоя молодая жизнь.

Иногда проходит отряд немцев с собаками, с автоматами наизготовку. Резкие голоса, лязгающая немецкая речь, такая похожая на идиш и такая чужая по интонации, по смыслу слов, состоящая в основном из междометий, возгласов и солдатских шуток. Куда они направляются, что будут делать, нападать или не нападать? Голоса затихают в отдалении и снова тишина.

Трудно представить себе, что под толщей земли, битого кирпича, остатков стен и перекрытий неподвижно лежат тысячи людей. Спертый воздух, духота, непроглядная темь или наоборот мертвенный электрический свет. Тяжелое дыхание соседа, шепот, горсть сухих крошек, передаваемая из ладони в ладонь, глоток воды из чайника - вот и все события дня.

Ночью гетто - город теней. Варят суп, шарят по брошенным бункерам в поисках пищи, отыскивают воду, обмениваются новостями. С рассветом все уходит под землю.

Немцы упорно, изо дня в день ищут и находят бункера, извлекая из них людей. Но Штропу кажется, что этому не будет конца. Впоследствии он напишет, что за время подавления восстания они открыли 670 бункеров, извлекли оттуда 50 тысяч человек, но он не знает, сколько еще осталось. Сколько их оставалось теперь уж не узнает никто.

26 апреля Анилевич отправил на арийскую сторону свое последнее послание: "Восьмой день ведем смертельную борьбу. Варшавское гетто, последнее из всех гетто, в ночь на 19 апреля внезапно оказалось окруженным регулярной немецкой армией, начавшей ликвидацию оставшихся евреев. Немцы понесли многочисленные потери. Затем, используя танки, броневики, орудия и даже самолеты, они приступили к планомерной осаде и систематическому поджогу жилых домов. Численность наших потерь, а также жертв расстрелов и пожаров, в которых сгорели мужчины, женщины, дети, огромна. Приближаются наши последние дни. Но пока есть оружие, будем бороться и сопротивляться. Немецкий ультиматум отвергаем, так как враг не знает пощады, а у нас нет выхода.

Чувствуя приближение последних дней, требуем от вас: помните, как нас предали. Наступит день расплаты за нашу невинно пролитую кровь. Помогите тем, кто в последний час вырвется из рук врага, чтобы продолжать борьбу".

Это был последний крик восставших, последнее их официальное послание. Но гетто жило и боролось еще месяцы, как живет израненное, умирающее, но все еще дышащее тело. Две недели после этого заключительного послания жил и штабной бункер, откуда оно было отправлено

Из всех 670 убежищ, открытых немцами, это, возможно, было самое большое и экзотическое. Его устроила банда еврейских воров, возглавляемая известным паханом Шмуэлем Ашером - здоровенным мужиком, разрисованном наколками. Он безраздельно правил своей бандой, нашедшей укрытие под развалинами разбомбленного еще в 39-м дома на Милой, 18. Бункер был вполне комфортабельный с автономным водо и электроснабжением, с хорошим запасом продовольствия, до поры до времени исправно пополнявшимся друзьями пахана - варшавскими ворами, проходившими в гетто по каналам.

Ашер охотно дал приют Анилевичу и его команде. Видимо, ему импонировало обращение этой таинственной и могущественной организации, ставшей и властью, и легендой гетто. Он предложил не только приют, но и помощь в боевых действиях, заявив с широким жестом: "Все наше - ваше. И мы сами в вашем распоряжении... Вы скоро убедитесь, что мы сможем быть вам полезны".

Впрочем, вскоре от хозяев бункера потребовалось все их терпение и желание сосуществовать с боевиками. В убежище, рассчитанном на несколько десятков человек появилось 120 парней со своими подругами и семьями, представлявших собой элиту молодежного движения гетто, а в подземных комнатках, где раньше дулись в карты и пели блатные песни, начались идеологические дискуссии и совещания штаба.

Сюда, на Милую, 18, стекались остатки разгромленных отрядов, отсюда шли директивы тем, кто еще боролся, послания на арийскую сторону. Здесь ловили по радио вести о войне, полыхавшей где-то далеко-далеко, и спорили на извечные темы - о сионизме и , о том, какой язык лучше для еврейского народа - идише или иврит. Здесь отмечали 1 мая, отмечали, как и положено - докладом, пением интернационала, клятвами в верности делу еврейского пролетариата. Здесь грезили о Палестине и крутили романы. Анилевич не расставался со своей невестой и адъютантом Миррой Фухрер красивой двадцатилетней девушкой.

Но с ходом времени все меньше оставалось патронов, острее становился голод, мучительнее мысли о смерти. В неотступных поисках выхода возникали планы - один безумнее другого. Берл Бройдо предлагал выйти днем с оружием в руках, внезапно напасть на немецкий патруль у ворот гетто и прорваться в леса. Но как пройти по улицам Варшавы? Арье Вильнер считал, что надо небольшими группами пробираться по каналам на арийскую сторону. Да, канализационная сеть длинна и запутана, многие евреи уходили в нее наудачу, но, так и не найдя выхода, погибали от голода и жажды, став добычей крыс. И все же кто-то рано или поздно выйдет. Все лучше, чем сидеть здесь в ожидании неминуемой гибели.

Один из связных боевой организации Товия Божиковский, вернувшись из бункера на Францисканской, 22, где обосновались остатки защитников фабрики щеток во главе с Эдельманом, сказал, что познакомился там с парнем, как будто бы знающим сеть каналов. Решили отправить туда вместе с Цивьей группу людей с Милой, 18, чтобы наметить план действий.

Путь с Милой на Францисканскую по Заменгофа, по Геншей - наверное с полчаса нормального хода. Для них он был куда как долог. Шли, минуя улицы, зная, как немцы высматривают со своих наблюдательных постов из-за стен любое движение, обстреливая каждый движущийся в темноте объект. Осторожно перебежали от одного разрушенного дома к другому, обмотав ноги тряпками. К тому же приходилось заходить по пути в бункера боевых отрядов, узнавать - живы ли, есть ли новости, сообщить, что штаб существует. И всюду - во дворах, на ночных биржах, у потаенных уличных костерков, на которых готовили пищу, - один вопрос, обращенный к ним - к людям с оружием - "Вос тут мен?" - "Что нам делать?"

Придя на Францисканскую, решили попытаться вывести по каналам парня и девушку с арийской внешностью с тем, чтобы они дозвонились до связной штаба Франи Беатус. Проводник и двое сопровождавших его ребят должны вернуться и сообщить о результатах. Вернувшись три часа спустя, они рассказали, что выход в город состоялся, но когда "арийцы" ушли по ночным улицам, а проводники уже закрыли крышку люка, уходя обратно в каналы, с улицы слышались выстрелы.



Следующей ночью Цивья возвращалась на Милую. Ей сопутствовали Эдельман и Хаим Фриммер, боец из движения Акива, также как и двое его спутников уцелевший и добравшийся после войны до Израиля. Когда они подошли к дому 18, их охватил ужас. За сутки здесь все невероятно изменилось. Развалины приобрели другие очертания, появились новые проломы, исчезли замаскированные входы в бункер, а их насчитывалось шесть, не было часовых, которые всю ночь дежурили на подходах к штабу. Они металась от одного входа к другому, не понимая, что произошло, пока не заметили некое шевеление в одном из соседних дворов и не узнали в смутных тенях, населявших этот двор, нескольких обитателей штабного бункера. Но в каком состоянии! Одна из самых отважных связных Тося Альтман была ранена в голову и в ногу. Хранитель подпольного архива боевой организации Иегуда Венгровер с трудом дышал, хрипел и задыхался. Они сообщили о том, что произошло.

Надо сказать, что ни один очевидец конца бункера на Милой до послевоенных времен не уцелел, ни одного рассказа из первых уст не сохранилось, есть только косвенные свидетельства, в том числе и немецкие.

Бункер был выдан. Штроп писал в своем рапорте от 7 мая, что наконец-то они узнали месторасположение убежища руководства боевой организации. От кого? Кто решил купить или продлить себе жизнь ценой такого предательства? Это так и осталось неизвестным. Тем не менее 8 мая довольно многочисленный эсэсовский отряд окружил все выходы на Милой, 18. Дальше началась обычная процедура - крики с предложениями сдаться, обещаниями отправить на работу. Часть обитателей, не принадлежащих к боевой организации, вышли с поднятыми руками.

Боевики в таких случаях или заманивали немцев внутрь и давали бой в подземелье, или выходили, спрятав оружие, а затем, неожиданно открыв огонь, пытались прорваться. Но вскоре вниз полетели канистры с газом. Кто-то закричал, что если погрузить лицо в воду, то газ не подействует. Арье Вильнер сказал, что это бесполезно, надо всем застрелиться, чтобы не попасть в руки врагу, и первый подал пример. Уж он-то с его сорванными ногтями и отбитыми в гестапо почками знал, что их ждет. По комнатам подземелья пошла волна массовой самоубийственной истерии. Стреляли в своих близких, а потом в себя. Анилевич застрелил Мирру Фухрер и пустил себе пулю в лоб. Лейб Ротблат пустил четыре пули в мать - организатора детского приюта в гетто Мирьям Ротблат, а пятую оставил себе. Одна девушка семь раз стреляла в себя прежде, чем умерла.

В конце концов кто-то обнаружил седьмой, еще не заблокированный вход, но люди настолько ослабели от удушья, от царившего вокруг безумия, что воспользовались им немногие.

Штроп прибыл, когда бункер был взорван. Он произнес одну из своих "исторических" фраз: "Те, кого я охотно допросил бы, мертвы". На фотографии он стоит ясным майским днем на фоне разрушенного дома в окружении охраны с автоматами наперевес. Черное кожаное пальто, туго перетянутое ремнем, эсэсовская фуражка с высокой тульей, под козырьком - прищур глаз, припухших то ли от усмирительных трудов, то ли от бургундского.

Сейчас на месте дома на Милой, 18, - сквер, а в нем каменная глыба с надписью. В хорошую погоду там всегда народ - матери с детьми, парочки на скамейках.

Штабной бункер решили перенести на Францисканскую. Но это уже не имело значения. Никакого штаба не было. Остатки боевиков жили и воевали сами по себе, небольшими группами, пытаясь кто как мог выбраться на арийскую сторону.

На Францисканской 22 дальнейшие события разворачивались следующим образом. То, что и этот бункер будет раскрыт со дня на день, ни у кого не вызывало сомнений. Представители теперь уже разгромленного штаба металась по Варшаве, пытаясь обеспечить вывод хоть части боевиков. Цукерман безуспешно умолял руководство Армии Крайовой дать ему план канализационных сетей и проводников. Вместе с высланными ему на помощь из гетто еще 30 апреля "Казиком" - Симхой Ратгайзером и "Зигмунтом" - Залманом Фридрихом он вышел на представителя коммунистической Армии Людовой "Кшачека" - Владислава Гаека, который свел их с муниципальным рабочим, знающим сети коммуникаций. Тому посулили деньги и даже пообещали

показать, где хранится клад с еврейским золотом. Об этих кладах ходили легенды в Варшаве.

Рабочий пошел в сопровождении Казика и еще одного еврейского боевика по кличке Рысек. В пути он то и дело пытался вернуться назад, и его приходилось подбадривать пистолетом, глотком водки, наконец, рассказами о еврейском золоте. В гетто Рысек остался сторожить поляка, а Казик, дождавшись темноты, побежал в штабной бункер, который к тому времени уже был разгромлен. Не найдя ни одного входа, он, как безумный, метался в поисках других бункеров, не узнавая гетто, превращенного в развалины. В середине ночи он в полном отчаянии вернулся в канал, решив, что все погибли и спасти некого, и тут он увидел фонари, приближающиеся к нему с арийской стороны. Это возвращались ребята, посланные из бункера на Францисканской.

И вот они сидят в бункере все вместе - остатки тех, кто уцелел после разгрома на Милой, и те, кто сражался на фабрике щеток, и, наконец, обычные евреи, чья судьба объединила под крышей подземного убежища с боевиками. Одни уйдут на арийскую сторону, где опасность будет подстерегать их на каждом шагу, и шанс выжить очень невелик, и все же он есть - этот шанс, а другие останутся в подземной могиле, откуда только один выход - в смерть. Они просят их взять с собой, но взять нельзя, и разговоры бесполезны, и вообще пора идти, путь долог, а ночь коротка. Те, кто уходят, поочередно прыгивают прямо с земляного пола бункера в люк, в канал, где сточные воды принимают их в свое лоно и ведут километр за километром по узкой расселине, заляпанной грязью.

Под утро они оказались на арийской стороне - у люка на улице Простой. Казик и его спутники вышли наверх и исчезли, остальным оставалось ждать в канале. Весь день они сидели длинной цепью, как шли один за другим в холодной вонючей воде, мучаясь от неизвестности и жажды.

Те, кто находились под люком ощущали жизнь города, не гетто, где они существовали последние годы, а настоящего большого города - Варшавы, их Варшавы. Сквозь щели люка в канал проникали косые лучи солнца, слышались шуршанье шин, грохот и звон трамваев, шелест шагов. Люди спокойно и весело шли по тротуару, не подозревая, что под их ногами умирают от жажды десятки евреев.

Особенно худо приходилось тем, кто пережил разгром на Милой - больные, отравленные газами они страдали больше других. Иегуда Венгровер не выдержал, напился из канала. Это, видимо, и послужило причиной его неожиданной смерти вскоре после выхода.

В полночь крышка люка приподнялась и в канал опустился котел с супом и несколько мешков хлеба. Кшачек и Казик сообщили, что утром они выведут колонну на поверхность

В 10 утра крышка распахнулась и устье канала затопил свет и уличный шум. У люка стоял грузовик с откинутым задним бортом. Оторопевшие прохожие увидели, как из подземелья выходят грязные, оборванные, почерневшие люди с оружием. За считанные минуты кузов принял сорок человек. "За остальными приедем потом", - сказал Кшачек. Никакого "потом" уже не было, оставшиеся выбирались сами, и погибали затем кто где... А те, кому повезло, мчались в закрытом кузове грузовика по улицам Варшавы в пригородный лес.

Впереди их ждало множество приключений. Они укрывались во всяких убежищах, сражались в Варшавском восстании 44-го года, умирали при самых разнообразных обстоятельствах, но то уже другая повесть, действие которой разворачивается за пределами гетто.

А там - в стенах мертвого города - погибали последние остатки еврейской Варшавы. Все меньше людей собиралось на ночных "биржах", все реже становились случаи сопротивления. И все же подземная жизнь продолжалась.

Штроп понимал, что надо где-то поставить точку, доложить о завершении акции, а там уж пусть полицейские силы ведут "работы после завершения производственного цикла" или, как сказали бы сейчас в России, проводят "зачистку территории". Срок был назначен во время визита Крюгера в Варшаву 2 мая. Его беспокоило, что акция затягивается. Но, выслушав Гана и других офицеров СС, он сказал Штропу: "Хорошо

бы к 15 мая формально завершить операцию. Эпилог должен венчаться фейерверком. Заключительный аккорд политического, пропагандистского значения - взрыв центральной варшавской синагоги".

Вечером 16 мая Штроп со своим личным штабом прибыл на Тломацкую улицу, где находилась гордость еврейского мира - варшавская хоральная синагога. Десять дней здесь трудились саперы, специально присланные из Кракова. Требовалось взорвать большое здание непременно одним ударом. В 8.15 Штропу вручили коробку взрывного устройства. Он оглядел своих помощников, стоявших поодаль усталых чумазных солдат. Все застыли в торжественном молчании. "Хайль Гитлер!" - крикнул Штроп и нажал кнопку. Огненный столб взметнулся к небу. Штроп сказал очередную "историческую" фразу: "Еврейский квартал Варшавы перестал существовать".

Его миссия была окончена. Остаток мая и июнь он отдыхал в Варшаве, каждый день ездил верхом в Лазенках, потом выезжал в Растенбург для доклада Гитлеру, побывал в Познани, в Судетах, получил почетное назначение в Афины. Жизнь шла, карьера продолжалась.

В гетто между тем все лето слышались взрывы и выстрелы. Польская подпольная пресса сообщала о продолжающемся сопротивлении. Один из авторов воспоминаний Арье Найберг, вышедший со своей группой по каналам из гетто в октябре, писал впоследствии об отдельных стычках, продолжавшихся до осени.

В 60-е годы я был знаком в Москве с Ефимом Гехманом, старым журналистом, служившим в ту пору в мелком профсоюзном журнальчике. Он попал туда во время антисемитской кампании конца сороковых годов, а в войну работал корреспондентом "Красной звезды". В январе 1945 года они вместе с Василием Гроссманом, на несколько часов опередив части наступавшей Красной Армии, первыми вошли в оставленную немцами Варшаву. Переправившись по фермам взорванного моста, они оказались у стен гетто. Среди занесенной снегом городской пустыни они обнаружили двух одичавших людей, около двух лет проживших в подземной норе, куда полька - невеста одного - из них носила еду. То были последние уцелевшие жители гетто и первые очевидцы событий.

## Руинщики

В одном из своих разговоров с сокамерниками Штроп обмолвился, что, по его мнению, ко времени восстания в Варшаве остались самые ловкие, наиболее жизнеспособные евреи. И, возможно, что в этом он был прав. Чтобы прожить в гетто все эти годы среди голода, тифа, террора, пройти сквозь массовую депортацию и уцелеть до 19 апреля, нужно было быть очень цепким или богатым человеком.

Герой и автор повествования, о котором пойдет речь, видимо, был небеден, а уж по части жизнеспособности ему не было равных, что и доказывает название его мемуара – "75 дней в горящем гетто". 75 дней - если считать от 19 апреля - это выходит начало июля. Были люди, которые проявляли себя на территории гетто и в октябре, но и чтобы дожить до июля, надо было обладать незаурядными качествами.

Имени на рукописи не стоит. Только фамилия и инициал - Б.Гольдман. Борух или, если ассимилировался, Бернад. Текст писался в августе, по свежим следам событий в укрытии на арийской стороне и в феврале 44-го был передан на хранение Еврейскому национальному комитету. А еще несколько месяцев спустя автор погиб при неизвестных обстоятельствах. Скорее всего убежище раскрыли, и он был расстрелян.

Его рукопись отвечает на вопрос, на который не дают полного ответа многие другие документы, - как жил, что чувствовал во время восстания рядовой обыватель - не боевик, не функционер политического движения, а обычный еврей, стремящийся только к одному - выжить, уцелеть любой ценой.

Потеряв во время массовой депортации семью (остался только брат), он, будучи инженером-архитектором по образованию, работает на фабрике (видимо, щеток), занимается ремонтом жилых домов, как сказали бы в России, служит начальником

коммунального хозяйства. Должность престижная, дающая неплохой доход и пропуск за пределы фабричной территории.

Но его мысль все время бьется в поисках выхода. Он ждет новой акции, думает о гибели, считает ее неминуемой. Что-то надо предпринимать. Вместе с группой таких же, как он, активных и достаточно молодых людей он роет подкоп, ведущий в подвал дома на арийской стороне. Они роют ночами, заканчивают работу в конце декабря 42-го, тщательно маскируют вход, запирают его - и что дальше? Успеют ли воспользоваться этим туннелем, а если успеют, как укрыться на арийской стороне? Оттуда идут вести об огромных поборах, о постоянном и мучительном чувстве опасности, с которым живут евреи.

Тем не менее в ходе январской акции он уходит через подкоп из гетто и ранним утром пробирается по пустым улицам в Мокотов, где живут друзья.

Через две недели он понимает: для дальнейшего пребывания у этих людей у него не хватает денег. В спешке он взял с собой чемоданчик с самым необходимым и небольшую сумму, которая была при нем. Остальные его средства вложены в оборудование, которое так быстро не продашь. Приходится возвращаться.

На фабрике - анархия. Работа практически прекратилась. Врачи, учителя, богатые купцы, которые стояли за станками, полагая, что таким путем они спасутся от депортации, теперь окончательно разуверились в этом. Все думают только о том, как уйти под землю, пересидеть блокаду, а там, Бог даст, можно будет перебраться и на арийскую сторону. Люди рассчитывают, что их подземная жизнь будет измеряться месяцами и соответственно готовятся к такой жизни. Специалисты - строители, архитекторы - нарасхват.

От имени группы богатых людей к нему обращается коллега, инженер Цедербаум с предложением построить бункер на 25-30 человек, в котором можно прятаться полгода. Гонорар - места в укрытии для него и брата.

Ах, что это был за замечательный бункер! Расположенный глубоко под поверхностью двора, просторный (64 квадратных метра), с трехметровой высоты потолком, спальнями, кухней, общей комнатой - назови ее гостиной или клубом, - со своей динамо-машиной и трансформаторной подстанцией, с водяным насосом, электрической и угольной плитами на кухне, с продовольственным складом, набитым крупами, жирами, картофелем, сухарями и Бог знает чем еще, наконец, со сложной, двухступенчатой системой маскировки. Войти в этот бункер, который впоследствии будет носить имя его организатора Цедербаума (все бункера в гетто носят имена своих создателей) можно только через подвал, а вход в подвал заслоняет двухтонного веса подвижная стена.

Казалось, в таком убежище жить да жить. Пусть там, наверху бесчинствуют немцы, воюют боевики, идут колонны на Умшлагплац. Здесь, в комфортабельном подземелье двадцать пять человек, отмеченных судьбой, предусмотрительных избранников живут размеренной жизнью, слушают радио, приносящее вести из надземного мира, играют в шахматы в гостиной, читают книги и ждут, когда прекратится безумие, охватившее мир. Тогда они смогут выйти на божий свет не жалкими изгоями, а теми, кем они были всегда - уважаемыми, состоятельными людьми, охраняемыми законом и всем цивилизованным правопорядком. Чем не сюжет для философско-исторической пьесы?

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Немцы вошли на территорию фабрики щеток 20-го. Все, кто имел убежища, попрятались с самого раннего утра. Во дворах остались лишь наблюдатели, по несколько человек от каждого бункера, расположившиеся на определенном расстоянии друг от друга с тем, чтобы сразу же по цепочке передать сигнал опасности. Гольдман входил в их число.

В 10 утра раздалось: "Идут!" В ту же минуту он бросился в свое убежище. Что в нем творилось! Какое там спокойное, комфортное существование... Вместо 25 человек в бункер набилось, как минимум, 60. Нельзя было отказать в приюте старикам, детям, наконец, у каждого имелись бездомные родственники. В комнатах - духота, сырость, запах пота, а самое главное - плотная физически ощутимая атмосфера нервозности, страха, подогреваемая отзвуками событий, происходивших наверху.

Бункер содрогнулся от взрыва (лишь впоследствии они узнали, что это взорвалась мина, заложенная боевиками), задрожали стены. посыпалась штукатурка, погас свет. В наступившей темноте слышались грохот снарядов, стрекот автоматных очередей. Эти звуки войны усиливались во мраке, детонировали, и, казалось, становились все ближе, осязательнее.

Тишина настала лишь около восьми вечера. “Выходить или не выходить?” - думал Гольдман. Не исключено, что наверху ждет какая-то ловушка. Наконец из-за стены, отделявшей вход в подвал, раздался голос, окликавший Цедербаума. Этим посланцем надземного мира оказался местный дворник Закс. Вместе с семьей он укрылся в чулане на уровне первого этажа. Семья погибла, когда немцы начали обстреливать снарядами и забрасывать гранатами подвалы и нижние этажи. Люди выскакивали из пламени, охватившего их убежища, на середину двора. Закс чудом уцелел и теперь с обожженным лицом, вывихнутой ногой, в одном белье сидел в бункере Цедербаума и рассказывал его обитателям о событиях дня.

Решили выходить. То, что они увидели на поверхности, было неопишимо. Двор, засыпанный битым стеклом, обломками полусгоревших досок, оконных рам, карнизов, всевозможной домашней утвари. Пламя, охватившее дома и превратившее ночь в день. Дым, застилавший небо. Среди развалин валялись обгоревшие трупы, в лужах крови стонали раненые.

В середине двора, спасаясь от огня, сбившись в плотную кучу, сидели те, кто уцелел. В изорванной одежде, а то и в белье, с черными от копоти лицами, с застывшим в глазах страхом, они представляли собой ужасное зрелище. От них стали известны дальнейшие подробности дня. Немцы поджигали дома, даже и не оказывавшие никакого сопротивления. В конце концов многие, не выдержав пожаров, взрывов и стрельбы, добровольно строились в колонну, отправляемую на Умшлагплац. Таких набралось 600 человек.

Но что же делать остальным? Одни считали, что хуже уже не будет, через несколько дней все успокоится, и тогда может представиться okazия для ухода на арийскую сторону. Немцы не должны прийти снова в эти разоренные, сожженные дворы. Что им тут делать? Ведь своего они добились - колонну отправили.

Другие говорили о печальной судьбе ранее уничтоженных гетто, где немцы не успокаивались, пока не ликвидировали всех евреев до последнего. Надо безотлагательно перебираться на арийскую сторону. Но как? Гольдман подумал о туннеле, на рытье которого было затрачено столько сил. Оказалось однако, что подвал, откуда он начинался, залит водой.

В бункер вернулись во втором часу ночи. Но и здесь не прекращались разговоры на тему “Что дальше?” Вспомнили о том, что по соседству в подвалах хранятся несколько десятков тонн угля. В любой момент он может загореться от жара. Тогда всем конец. Надо немедленно перебираться в бункер “семерки”. Так называлось убежище, построенное седьмым цехом фабрики.

Гольдман и Цедербаум считали, что серьезной опасности нет, в их бункере - двухметровой толщины стены, да и к тому же в подвалах, где хранится уголь, имеются отверстия. Так что самовозгорание маловероятно. Тем не менее большинство решило уходить, забрав свою часть продуктов и минимум вещей. Остались 14 человек. Гольдман с братом, Цедербаум с сыном и племянником, больной Закс и другие. Теперь бункер стал таким, каким он должен был быть. Тихо, просторно, не так душно. Послушав радио, они легли спать под утро, надеясь на лучшее.

В 9 утра проснулись от немецких команд, раздававшихся наверху. Весь день солдаты ходили по двору над их головами, топая сапогами, крича, лязгая оружием. Лежали неподвижно, казалось, даже дыхание может выдать их.

Вечером, поужинав горячим (в течение дня лишь сосали сухари), вышли на поверхность. Те, кто, не имея убежищ, прятались в развалинах, рассказали, что жандармские патрули отыскивали и увели с собой несколько десятков человек. Но главные события дня происходили, судя по канонаде, в других районах гетто.

Вернувшись в бункер, слушали радио, предавались воспоминаниям об ушедшей, такой теперь далекой жизни и, размякнув от этих ностальгических разговоров, даже

завели патефон. В другой такой же вечер, наслушавшись по радио сообщений об успешных военных действиях англичан в Африке, позволили себе выпить по рюмке коньяку за победу. Но этот относительный покой был недолог.

Вскоре стало известно, что в "семерке", куда ушла большая часть бункера Цедербаума, жить стало невозможно. Вместо 50 человек, как предполагалось при строительстве убежища, там скопилось 250. Атмосфера тяжелая, продукты на исходе. Сначала появилась первая группа "возвращенцев", затем все остальные. Вернулись с повинной головой, готовые во всем слушаться Цедербаума, которого единогласно избрали руководителем бункера. Никто уже не жаловался на скудный рацион, нехватку воздуха, как вначале. В других убежищах было хуже.

Между тем пребывание немцев во дворе становилось все более продолжительным. Приходилось по два-три часа лежать на топчанах, следить за тем, чтобы не заплакали дети, не поссорились женщины, которые то и дело в самый неподходящий момент бранились из-за кухни и туалета.

Вечерние разговоры с надземными обитателями двора заставляли приходиться к выводу: немцы настойчиво ищут убежища - пядь за пядью обследуют сгоревшие дома и подвалы, взрывают все, что кажется им подозрительным. И снова возникал все тот же вопрос: "Что делать?" Решили действовать в двух направлениях. С одной стороны, попытаться откопать туннель, вырытый с свое время Гольдманом и его товарищами, а с другой - вести подкоп из бункера Цедербаума на территорию соседнего дома. Прорыли шесть метров, дошли до недоступного снаружи подвала и на этом остановились - людей все больше охватывала апатия.

1 мая, готовясь около девяти часов к обычной вечерней вылазке на поверхность, они не услышали мирных шагов жителей двора, которые служили им сигналом к выходу. Характер шагов они научились различать, как слепые. Они и были слепыми. Здесь, во тьме бункера, ухо становилось главным органом, слух изощрялся до небывалой остроты, с его помощью они "видели" все, что происходит на поверхности. И то, что на поверхности сейчас ничего не происходило, наполняло их тяжелыми предчувствиями.

В ту ночь они не выходили, а ранним утром до них донесся отзвук каких-то работ, которые немцы вели неподалеку от их бункера. В полдень взрыв сотряс стены. Потом настала глухая тишина. Выйдя вечером наружу, они поняли, что произошло. Вход в "семерку" оказался в развалинах. В углу под стеной прятался единственный уцелевший обитатель этого бункера - сорокалетний рабочий Вассерман. Он рассказал, что немцы утром отыскивали бункер. Окружив вход, они забросали его гранатами, предварительно подпалив соседние подвалы. Когда люди вышли, а их было 200 человек, солдаты подожгли бункер изнутри и завалили обломками вход. Такая, видимо, у них теперь была разработана технология.

Все говорило о том, что конец близок. С утра до вечера в убежище слышались отголоски немецкой речи, смеха, раздававшихся во дворе. Особенно тревожило непонятное бряцанье металла об асфальт, стук ломов и кирок, с помощью которых проверялись подземные пустоты. С восьми утра до восьми вечера люди неподвижно лежали на постелях, не решаясь даже воспользоваться туалетом. Вентиляция после окрестных взрывов не работала, вонь стояла ужасная. К тому же появились вши.

8 мая был открыт и сожжен находящийся по соседству бункер, где находилась вооруженная группа боевиков. Гольдман предлагает уходить. Куда? Туннелем, ведущим на арийскую сторону, воспользоваться невозможно. Выход из него стал известен немцам, и одна группа беглецов уже попала к ним в руки. Значит, остается только прятаться среди развалин. Однако большинство полагает, что удастся отсидеться да и жаль оставлять вещи, запасы продовольствия, пусть даже и скудные. Даже брат Гольдмана не хочет ему сопутствовать. Согласились с ним лишь двое - Израиль Бойм, боевик, сражавшийся во время восстания, и столяр Гершберг.

Выползли из убежища на исходе ночи и по шатким полуразрушенным лестничным клеткам близлежащего обгорелого дома вскарабкались на четвертый этаж. Там на остатках пола нашли одеяло и всякие мелкие бытовые предметы, свидетельствовавшие о том, что кто-то прятался здесь до них.

Гершберг сказал, что лучшего пристанища ему не надо, завернулся в одеяло и заснул. Но Гольдману что-то не нравилось здесь. Какое-то звериное чутье подсказывало опасность, то самое чутье, которое и впоследствии не раз спасало его там, где другие погибали.

С помощью припасенной веревки он забрался на самый верх стены, не без труда втащил туда Бойма. Разбуженный Гершберг категорически отказался следовать их примеру.

Воздвигнув на стене небольшую баррикаду из кирпичей и обломков жести, так что теперь их никак нельзя было увидеть со стороны двора, они лежали, наслаждаясь забытыми радостями жизни - свежим ветром, утренним солнцем, синевой неба.

В семь показался отряд эсэсовцев - человек шестьдесят. Они тянули за собой мелкокалиберный миномет. Катясь по мостовой, он издавал то самое бряцанье железа об асфальт, которое так пугало их в подземелье.

Во дворе расставили посты, и вскоре на лестнице раздались тяжелые шаги. Они слышали, как допрашивали беднягу Гершберга, допытывались, есть кто еще в доме, и он отвечал, что нет. Слышали как шаги удалялись. Тесно прижавшись к стене, вдавливаясь всем телом в нее - спасительницу, они благословляли свою предусмотрительность. Пальцы Бойма стиснули рукоятку пистолета.

Осмотрев лестничные клетки и подвалы, немцы принялись за систематическое обследование территории. Простукивали стены и асфальт. Время от времени раздавались выстрелы из миномета и рушились стены домов. Поражала методичность работы. Солдаты измеряли стены, которые казались им подозрительными, не ленились копать рвы там, где они подозревали укрытия. Вот они вытаскивают из подвала группу евреев, допрашивают, есть ли деньги, отделяют мужчин от женщин и детей.

Ну, а что же бункер Цедербаума? Кажется, вот-вот он будет открыт. Немцы копают уже в двух-трех метрах от входа. Но пока все обходится. Час проходит за часом. Солнце скрывается за крышами домов. Скоро четыре. Должна же когда-нибудь закончиться эта акция! Оглушительный взрыв и клубы дыма и пыли, вставшие над тем местом, где находился бункер Цедербаума, дал понять, что он раскрыт. Дальше все, как обычно: появление людей с поднятыми руками, допросы, женский и детский плач.

Едва затих звук шагов удаляющейся колонны, как Гольдман с Боймом были внизу. Из дыры в перекрытии бункера вырывались дым и пламя. Вокруг ни души. Они бегают среди развалин, спускаются в подвалы. В одном из них находят кого-то из обитателей бункера. Где брат Гольдмана? Жив. Еще через минуту они сжимают друг друга в объятьях. Уцелели всего двенадцать человек. Кто отсиделся в залитой водой и прикрытой досками яме для насоса, кто успел протиснуться в неоконченный подкоп, ведущий в соседний подвал. Остальных, и в том числе Цедербаума, бывшего хозяина фабрики щеток Монхайма и других собственников убежища, увели.

- "Так открыли бункер инженера Цедербаума, - эпически пишет Гольдман, - который стоил около 300 тысяч злотых и должен был укрывать людей в течение шести месяцев".

Этот разоренный, ограбленный, горящий бункер тем не менее оставался на ту ночь единственным их убежищем. И потому они прежде всего принялись гасить огонь одеялами и перинами. Затем собрались на кухне, поели горячего, осмотрели остатки своих чемоданов и начали обсуждать, как жить дальше. Очевидно, что утром немцы продолжат свою работу. Где прятаться - в развалинах, в старых бункерах, в подвалах? Решили - в развалинах, но разбившись на малые группы с тем, чтобы потом искать более надежное убежище.

На рассвете Гольдман с братом и Боймом вскарабкались по железным балкам на площадку чердачного пятого этажа полуразрушенного здания, имея на троих один плащ, одеяло, спасенное из бункера, и по мешочку сухарей. К их изумлению на четвертом этаже они застали работника фабричной охраны Гроссмана с необычайно толстой женой. Как она смогла взгромоздиться на эту полуразрушенную площадку? Подлинно, страх удваивает силы.

Весь день они отдыхали, отлеживаясь, нежась в тепле майского дня, а вечером сошлись со старыми товарищами, которые решили обосноваться в замаскированной комнатке разбитого бункера, где хозяйничал некто Герман с сестрой. Тройка Гольдмана осталась на своей площадке, спускаясь к Герману только по вечерам для совместной трапезы

Вечерами Гольдман приходил в один из близлежащих дворов, где все оставшиеся в живых сходились, обсуждая события дня, строя догадки и предположения о будущем. Судя по этим сборищам, на территории фабрики щеток к тому времени насчитывалось примерно пятьсот человек. Большинство из них остались без продуктов питания, без убежища, скрывались в развалинах, в разрушенных подвалах, постоянно меняя укрытия из страха перед доносом. Многие прятались в комплексе домов на Свентоежской, 36, 38, Валовой, 2, 4. В этих домах при том, что лестничные клетки оказались разрушенными, перекрытия на многих этажах каким-то чудом сохранились.

Как-то в конце дня они услышали из своего укрытия на лестничной площадке голоса немцев. Судя по всему, какая-то комиссия проверяла территорию. В руководителе ее Гольдман узнал командира эсэсовского отряда, 10 мая взорвавшего бункер Цедербаума. Из разговора он понял, что часть дома, в которой они укрывались, будет взорвана, вот-вот должны явиться солдаты с динамитом. Как только голоса комиссии начали затихать, они оказались внизу, в одном из

близлежащих подвалов. Просидели там до вечера, но команда динамитчиков не явилась.

Вечером, на обычном сборище, называемом биржей, они рассказали об услышанном, предостерегли остальных, надо быть готовым в любой момент покинуть свое убежище.

На рассвете сложными путями - по балкам, карнизам, проломам в стенах - добрались до дома на Свентоежской, 36, где у стены, граничащей с другим домом, уцелели часть чердака и четвертого этажа. Разместились на чердаке. Под ними расположилась довольно многочисленная, знакомая Гольдману компания. Новичков угостили супом, дали одеяло. Особенно добросердечна была семья Шерманов. Это выглядело особенно трогательно теперь, когда повсюду шел счет каждый горсти крупы, каждой картофелины.

Жизнь на чердаке оказалась наиболее приятным временем из всех семидесяти пяти дней, проведенных в пылающем гетто. На всех подходах к дому выставлялись наблюдательные посты из числа его обитателей. К тому же само их убежище было закрыто от взглядов и недоступно снизу. Только акробат мог забраться наверх по голым стенам. Дома, окружавшие двор, соединялись между собой разными тайными проходами, давая возможность быстрого ухода.

Эти дома населяли довольно многочисленные и доброжелательные компании. Под ними - семья Шерманов, входившая в коллектив численностью в двадцать человек. По соседству находилось логово группы Кренского, состоявшей из десяти здоровых молодых парней. Чуть подальше жили семьи Привеса и Вислицкого из дирекции фабрик металлоизделий. За стеной, разделяющей дома 34 и 36 по Свентоежской, находилось убежище боевиков, возглавляемых Шмуэлем Мелоном (Шмуликом).

Как люди опытные в этой звериной жизни наши герои немедленно взялись за прокладывание коммуникаций, связывающих их укрытие с системой путей, уже проложенных в домах. Вскоре к ним перебралась группа Кренского, принеся с собой лежаки, одеяла, продукты.

Днем выходили на "террасу" с видом на Огород Красиньских, лежали на солнце, били вшей, в изобилии водящихся в одежде, читали книжки, чистили оружие. Один из боевиков - Берек, - парикмахер по профессии, потерявший, как, впрочем, и многие другие, семью - жену и единственного ребенка, начистив пистолет, исчезал на день-два. Вернувшись, удовлетворенно говорил: "Ну, вот еще один."

Неотступной была все та же мысль: "Что дальше?" Неужели так вот и ждать смерти от голода или немецкой пули? Гольдман жил теперь среди молодых, активных, вооруженных людей, на помощь которых он мог рассчитывать в поисках выхода из гетто. Он предложил попробовать связаться с арийской стороной по телефону. Ему принесли аппарат. Начали искать кабель, к которому можно было его подключить, - не



нашли. Кто-то вспомнил, что на углу Налевок и Францисканской имеется не разрушенный шкаф телефонной сети. Ночью отправились туда небольшой группой. Шли бесшумно, сняв обувь, с пальцем на курке пистолета. Накрыв шкаф одеялами, при зыбком огоньке свечи, Гольдман дрожащими от волнения пальцами манипулировал с клеммами. Связи не получалось.

Самое впечатляющее в этой истории - рассказ о ночном гетто. О драках из-за оружия. О мужчинах, обросших, оборванных, бесшумными призраками появлявшихся с револьвером в руке. О женщинах с обликом ведьм, готовящих еду на костерках среди развалин для детей, превратившихся в зверят.

Их спокойное существование на "террасе", залитой солнцем, было недолгим. Немцы снова начали появляться на углу Свентоежской и Валовой. Снова крики, выстрелы, евреи с поднятыми руками выходящие из руин. Только теперь их не угоняли на Умшлагплац, а расстреливали на месте, сжигая затем трупы.

Они понимали, что рано или поздно откроют и их укрытие. Расчет был на то, что наблюдательные посты, весь день несущие вахту, сумеют предупредить своевременно, так что можно будет уйти по заранее подготовленным путям через проломы в стенах.

Каким образом немцы сумели миновать наблюдателей и подкрасться незаметно, Гольдман так и не понял, но однажды утром на лестнице раздался шорох, и он с ужасом увидел, что солдаты уже на третьем этаже. Едва успели уйти в соседний дом, замаскировав проход в стене досками и всяким хламом. За стеной их ждала группа Шмулика. Все вместе укрылись в темной коморке и оттуда послали двух разведчиков. Те сообщили, что немцы повсюду, и один из постов как раз под ними, так что уходить некуда.

Они сидели тесно прижавшись друг к другу, двадцать два парня и три девушки - решив умирать с оружием в руках. У них было двадцать револьверов и две гранаты.

Который раз Гольдман сидел в тесном укрытии, прижавшись к товарищам, в ожидании смерти. И также томительно тянулся час за часом на крохотном потаенном островке среди криков, выстрелов, плача, наполнявших весенний солнечный день. Вот-вот волна этого безумия захлестнет и их, но пока не захлестывала, миновала. Они просидели так одиннадцать часов до восьми вечера, пока солдаты, построившись, не ушли со двора.

На лестничной клетке, где они прожили столько дней, из группы Шермана нашли лишь самого отца семейства. Ему удалось уцелеть, так как он находился на наблюдательном посту. Жену и сына забрали. 14-летняя дочка пыталась бежать, и ее застрелили. Из захваченной группы немцы выделили двух 16-летних девушек, видимо для того, чтобы использовать их на следующий день для поиска других людей, а остальных отвели на Мурановскую площадь и расстреляли. Поздней ночью с Мурановской пришли раненые жена и сын Шермана, они-то и рассказали подробности.

А между тем на чердаке шли приготовления к перемещению в другое укрытие. Группа Кренского решила вообще уйти с территории фабрики щеток, взяв с собой часть людей Шмулика. Куда? Это было тайной. Видимо, имелось заранее подготовленное запасное убежище. Другая часть банды Шмулика (Гольдман так и писал - банда) переместилась в укрытие Крамера на Валовой, 10, а кто-то рассеялся по территории.

Только четверо остались в убежище, где накануне команда Шмулика пересиживала акцию. Трое погибли, одна уцелела, спрятавшись в дымоходе. От нее-то и узнали потом подробности утренней облавы. Одна из схваченных накануне девушек показала аскарам (в данном случае это были украинцы) проход в другой дом, через который убегали Гольдман и его товарищи. Двух из найденных там людей они отвели во двор и расстреляли. Третья - молодая девушка - умоляла, чтобы ее убили на месте. Ей объясняли, трупы оставлять на лестнице запрещено, а потом "сжалились" и застрелили. Три трупа сожгли во дворе.

И снова убежища - лестничные площадки, бункера, подвалы или даже просто замаскированная яма, где лежали, словно звери в норе, весь день в темноте на сыром песке.

Затишье на территории фабрики сменялось интенсивными облавами. И каждый раз Гольдман чудом, а вернее, благодаря своей необычайно изощрившейся предусмотрительности избегает гибели. Порой босому, полуголому приходилось выскакивать из раскрытого бункера и бросаться в близлежащий подвал, слыша голоса преследующих их немцев. Он то и дело обретает "дом" и припасы, а потом теряет их.

На территории осталось не больше ста евреев. Они по-прежнему собираются на ночной "бирже", обмениваясь новостями, обсуждая, где взять еду и воду. Еды все меньше и почти совсем нет питьевой воды. Водопровод перекрыт, источники отравлены сероводородом или засыпаны. В некоторые родники брошены трупы и в воде плавают толстые белые черви. Выручают дожди. Воду набирают в любую емкость, черпают из луж, меняют на еду - сто граммов за два килограмма каши.

Уже шли двадцатые числа июня, два месяца продолжалась эта жизнь, а конца ей не было видно. Вместе с братом они решаются на самоубийственный поступок - перелезть ночью через стену по приставной лестнице, проскочить между постами жандармов, разбежаться в разные стороны и, отсидевшись в подъездах, сойтись в условленном месте.

Сменили белье, одели "выходную", специально припасенную на этот случай одежду, но пока возились с лестницей, ждали момента, начал сереть рассвет и пришлось уходить обратно в укрытие, на площадку четвертого этажа. Только забрались туда, как раздались выстрелы, полетели осколки кирпичей. Спрятались в уборной. Сквозь щели были видны пятеро немцев, которые со двора обстреливали дом.

Оставалось только одно - пройти шесть метров над пропастью по балке перекрытия до стены, где есть проход в соседний дом. Когда немцы, услышав шум камешков, падающих из-под их ног, обстреляли балку, они были уже за стеной. Бежали по Свентоежской среди бела дня, слыша немецкую речь, играя в прятки со смертью. По газовым и водопроводным трубам, свисающим со стен, вскарабкались на четвертый этаж. Сидели там до вечера и только ночью на "бирже" узнали, как им повезло. В тот день акция охватила всю территорию.

Пришлось отказаться от плана побега на арийскую сторону. У них не было теперь ни одежды, ни обуви. Все осталось в укрытии и было сожжено немцами.

Теперь они в очередной раз рыли подкоп, один из многих начатых и неоконченных туннелей... Это был замечательный туннель - 80 сантиметров ширины, метр двадцать - высоты, около пятнадцати метров длиной. Они превратились в земляных червей - рыли землю, спали, жили в ней. Только что не ели ее. Их продовольственный запас насчитывал двадцать килограммов фасоли, немного жира, сухарей и воды.

Временами они чувствовали себя в могиле. Земляная толща давила физически, начиналось сердцебиение, бил озноб, в груди и висках - тяжесть. Казалось, не выдержишь - умрешь, если не выйдешь.

2 июля они узнали на "бирже", что в предыдущую ночь на арийскую сторону ушел с семьей Шимек Кац, работник фабрики щеток, боевик, за которым пришли специально посланные люди. Гольдман слышал о том, что такая акция готовится и теперь рвал на себе волосы, что не держался поближе к Кацу, не использовал эту последнюю оказию. Ходили слухи, что сегодня отправится за стену другая группа людей. Но сколько таких слухов будоражило биржу каждую ночь!

Надо было позаботиться о воде. За ней послали Гроссмана, который, потеряв жену, сопровождал Гольдмана и его брата в скитаниях последних дней. Уйдя с чайником и кастрюлей, он запропал. Пришлось искать его. Отправились на Францисканскую и там в тени сожженной синагоги обнаружили толпу оживленных людей. Подошли поближе и обомлели. В центре толпы стоял бывший фабричный охранник Шладковский, который вчера приходил за Кацем. При свете ручного фонарика он раздавал свежий хлеб. Люди, не видевшие его два с половиной месяца, грязными руками ломали буханки, запихивая куски в рот.

Затем начался торг. За препровождение на арийскую сторону Шладковский запрашивал 15 тысяч злотых с человека. Гольдман отдал все, что у него было - 20 тысяч. Недостающее за брата и за себя доплатил Гроссман. Они боялись отойти от своего избавителя, добежать до укрытия, чтобы взять самое необходимое. Кто-то

набросил Гольдману на плечи пиджак, он-то пришел сюда в одной рубашке. Резник Фильцман, у которого все равно не хватало до семидесяти тысяч, необходимых для вывода его семьи, подарил тысячу на карманные расходы. И вот они в последний раз идут по пустым ночным улицам гетто.

В каком-то подвале Шладковский, раздвинув обломки камня, закричал в открытую яму: "Вацек, Вацек!" Не дождавшись ответа, спрыгнул вниз. Прыгнув за ним и оказавшись по колено в воде, Гольдман сообразил, что попал в уличный канал. Между тем фонарь его проводника стремительно удалялся, все слабее доносился его голос: "Вацек, ребята, где вы?" Пронзило сомнение, уж не афера ли? Но вскоре свет фонаря стал приближаться. Шладковский шел с каким-то рабочим. Отдав наших героев на его попечение, он пошел назад за остальными. Всего в ту ночь он подрядился вывести десять человек.

Вчетвером сидели в подвале. Оказалось, что неизвестно, кто кого опекает. При звуках канонады Вацек норовил удрать и приходилось его удерживать. У него пытались выспросить, что происходит на белом свете, ведь до обитателей гетто так давно не доходило никаких новостей, Вацек ничего не знал.

Прошел час. Наконец в отдалении показались фонари. Шкладковский вел целую вереницу людей. Сформировали колонну и побрели путем, которым хаживало столько евреев - по каналам, по колено, а то и по пояс в сточных водах, согнувшись, содрогаясь от омерзения и страха. Вышли на привислянский откос. Бросились под стену ближайшего дома, присели отдохнуть. Доносился плеск реки, запах полей, свежей травы, листьев, столь сладостный для обоняния, привыкшего к тошнотворной вони разложившихся трупов и к спертому воздуху подвалов.

Потом мылись, чистились, сушились в каком-то заброшенном фабричном здании. Шел пятый час утра. Пора было выходить в город. Обсудили с братом и Гроссманом дорогу к друзьям Гольдмана. Каждый должен был идти отдельно. Почистили пальто, поправили шапки. Вышли.

На улицах Стара Мяста виднелись немногочисленные прохожие. Надо было идти так, чтобы никто не обращал внимания на твой болезненный желтый цвет лица, на не стриженные несколько месяцев волосы, на мятую одежду, а главное - на черты лица.

За минувшие два с половиной месяца он научился бесшумно красться среди развалин, ориентироваться в ночи на разрушенных улицах, бегать по крышам и ходить по балкам на многометровой высоте, карабкаться по стенам. Его слух изощрился, зрение обострилось. Он мог, как зверь, убежать от погони и, как зверь, прятаться в норе. Теперь предстояло учиться другому - идти с гордо поднятой головой, энергично, уверенно, громко стуча каблуками, насвистывая уличную песенку и напоминать себе: "Ты выдержишь, ты должен выдержать. Осталось совсем немного."

Жандармский патруль. Не гляди на него, иди как ни в чем не бывало. Замковая площадь. Здесь надо сесть на трамвай, идущий в направлении Театральной площади. Там выйти и сесть на другой трамвай в направлении на юг.

Около восьми он добрался до дома друзей. Живут ли они теперь в этом одноэтажном домике с палисадником? Хозяйка, выносившая объедки псу, увидев его, заплакала. Он тоже заплакал. В 10 пришел брат. В 12 - Гроссман.

Спустя какое-то время он встретился со Шладковским. Тот сказал, что обратно за очередной партией ожидавших его людей он не пошел.

Скрываясь на арийской стороне, Гольдман все старался узнать, что происходит в гетто. Ответ был один: "Выстрелы."

## Приговор

Эту историю можно начинать, как старинные романы. Октябрьским вечером 1942 года в полуразрушенном доме в предместье Варшавы встретились трое мужчин. Они занавесили окно, зажгли свечу и присели к столу.

... Все, что связано с гетто - драма. Юмор здесь - веселье смертников, застоля - пиры во время чумы. Но этот эпизод как-то по-особому театрален. Он и начинается, и кончается в рамках драматургического действия.

Итак, трое мужчин в полуразрушенном, брошенном жильцами доме варшавского предместья. Один из них - польский интеллигент, высокопоставленный подпольщик. Двое других - евреи - тоже не последние люди в своем мире. Нервического типа нестарый человек - лидер партии общих сионистов. Второй - один из руководителей Бунда - пожилой, под шестьдесят, с внешностью совсем нееврейской, скорее похожий на почтенного шляхтича: значительное лицо, усы с проседью, в манерах - достоинство, сдержанность. В прошлом известный адвокат, теперь, живя на арийской стороне и играя роль преуспевающего купца, хозяина магазина, он представляет гетто в польском подполье.

Они сидят за столом при зыбком свете свечи, так что тени их чернеют на стене, колеблются, дергаются по мере того как разговор набирает темп и страсти накаляются. Собственно, говорят, в основном, евреи, говорят на хорошей польской мове, на книжном языке интеллигентов. Но польское - уверенное, благополучное, польская статья и повадка, необходимые для жизни на арийской стороне - постепенно сползают с их облика, и все явственнее проступает еврейское - темперамент, жестикуляция, обороты речи.

Поляк слушает, не перебивая. Он должен многое запомнить. Через пару недель его - курьера Армии Крайовой - поведут по тайным тропам оккупированной Европы с тем, чтобы перебросить в Лондон. Там ему предстоит докладывать о ситуации в Польше, и судьба варшавского еврейства - часть этой ситуации.

- Вы, поляки, счастливые, - говорит сионист. - Конечно, многие из вас погибнут, но народ ваш будет жить и дальше. Отстроятся города, раны затянутся, страна возродится. Но уже без нас. Мы будем мертвы. Гитлер выиграл войну против польского еврейства.

Он замолкает, прячет лицо в ладонях, сотрясаясь в рыданиях.

- Зачем я говорю все это? Какой в этом смысл? Зачем я живу? Мой народ гибнет, а я живу.

Бундовец обнимает его за плечи, пытаясь успокоить. Поляк возвращает разговор в деловое русло. Ему нужна реальная картина, хотя бы приблизительное число уничтоженных обитателей гетто.

- Это легко установить по немецким приказам о переселении.

- Вы хотите сказать, что все вывезенные из гетто погибли?

- Абсолютно все.

Поляк не верит. Как не верили в Лондоне первым донесениям о целях и масштабах массовой депортации. Донесения передавались по радио из Польши. но Би-би-си молчало. Только месяц спустя появились первые сообщения об Умшлагплаце, тысячах ежедневно вывозимых оттуда людей. "Мы думали, вы слишком увлеклись антигерманской пропагандой", - говорили впоследствии в эмигрантском правительстве.

И этот курьер Армии Крайовой, человек, судя по всему, добросовестный, хочет посетить гетто, побеседовать с уцелевшими людьми, услышать все из первых уст.

Они встретились пару недель спустя в том же составе, в том же доме после его визита в гетто. И это действие второе. Теперь они втроем думают: что же делать?

- На немцев можно воздействовать только силой, - говорит сионист. - Необходимо безжалостно бомбардировать германские города, каждый раз сопровождая бомбежку листовками, где говорится, что это возмездие за судьбу евреев, что немецкий народ после войны ждет та же судьба.

- Передайте союзным правительствам, - вторит ему бундовец, - что, если они хотят нам помочь, пусть опубликуют официальный документ с обещанием систематического уничтожения немецкого народа, коль скоро массовые репрессии против евреев не будут прекращены.

- Пусть союзные правительства, - продолжает грезить сионист, - проведут публичную экзекуцию немцев, живущих на их территориях. Ведь Гитлер объявил тотальную войну

цивилизации, он уничтожает целый народ. Ситуация беспрецедентная, и ответ на нее тоже должен быть беспрецедентным.

- Это совершенная фантастика,- не выдерживает поляк. - Это совершенно нереально.  
- Конечно. нереально. Вы думаете мы не понимаем? - упоминается сионист. - Но что же нам делать? Мы же не можем бездействовать!

Все умолкают, прислушиваясь к посвисту осеннего ветра в руинах дома. Поляк всматривается в измученные лица своих собеседников и вдруг понимает, что шепот, которым они говорят, воспринимается им, как крик. Все, о чем они говорят, - будто землетрясение, словно разлом земной коры, поглощающий целую цивилизацию.

-Это невозможно, - прерывает молчание бундовец, потрясая сцепленными руками, словно угрожая кому-то. - Невозможно, чтобы мир не нашел способа помочь нам. Пусть организуют эвакуацию еврейских детей, женщин, стариков. Пусть предложат немцам деньги. Купят жизнь хотя бы нескольких тысяч польских евреев.

- Кто на это решится? - вопрошает поляк. - Разве можно давать врагу деньги, которые он использует на вооружение сражающихся с нами солдат?

- Вы говорите о стратегии войны. Но ведь стратегию можно изменить. Почему мир позволяет нам умирать? Разве мы не внесли своего вклада в культуру, цивилизацию? Разве мы не работали, не боролись, не проливали кровь?

- Хорошо, - меняет тему поляк. - Что передать еврейским лидерам в Англии и Америке?

Бундовец подходит к нему, стискивает его плечи и приближает свое лицо к его лицу, глядя в его глаза своими, расширенными, полными боли.

- Скажите им, что речь идет не о политических играх. Надо встряхнуть землю до основания, разбудить мир. Надо найти в себе силу и отвагу принести жертву, которая никогда не требовалась ни от одного государственного деятеля. Скажите им: пусть не едят, не пьют, пусть умирают на глазах света. Пусть умрут. Может быть это встряхнет совесть мира.

Раскрою имена участников встречи. Поляк - Ян Козелевский, подпольная кличка "Ян Карский". После войны - профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Сионист - Менахем Киршенбаум. Срок жизни, оставшейся ему после той встречи, измеряется месяцами. Бундовец - Леон Файнер, подпольная кличка "Миколай". Он умрет вскоре после войны в больнице от обыкновенных болезней и последнее, что сделает перед смертью, - передаст Марку Эдельману потертую клеенчатую тетрадь, куда до последнего доллара вписывались траты на оружие, на спасение людей, на все то, на что расходовались сброшенные с самолета деньги.

Но на этом наша история не кончается. Действие третье происходит месяца два спустя в Лондоне, на Пикадилли, в Стрэттон хаузе - доме, где разместилось министерство внутренних дел польского правительства в изгнании. Эти месяцы наполнены для Карского круговертью встреч, пресс-конференций, выступлений по радио. Его принимают Герберт Уэллс, Артур Кестлер, английские министры и общественные деятели, наконец, сам Черчилль. И он неустанно повторяет все то, что видел, слышал, что знает о жизни оккупированной Польши, о судьбах поляков и евреев.

Наконец, в сложном расписании его встреч появляется имя Шмуэля Зигельбойма (подпольная кличка "Артур"), депутата польского парламента. Зигельбойм принимает его в крохотном кабинетике в Стрэттон хаузе. В глазах Карского Артур являет собой распространенный тип социалистического деятеля, вышедшего из рабочих, - эдакий немолодой self-made man, практичный, хваткий, из тех, кто умеют добиваться своего и любят все пощупать сами, не доверяя красноречию собеседника. До войны Зигельбойм был членом варшавского городского совета, в первые месяцы после прихода немцев состоял в юденрате, но затем сумел перебраться в Англию и теперь представляет Бунд в польском эмигрантском парламенте.

- О чем вы хотите услышать? - спрашивает Карский.

- О евреях, дружище. Я ведь еврей. Расскажите все, что знаете о евреях в Польше.

Зигельбойм покойно сидит в своем кресле у бюро, полный внимания. И Карский в который раз начинает рассказ. С наработанными за эти месяцы фигурами речи и

интонациями повествует о жизни гетто, стараясь удерживаться от эмоций, оценок, интерпретаций - только голый фактический материал. Зигельбойм напряженно слушает, не перебивая, упершись руками в раздвинутые колени. Лицо его неподвижно, а выразительные еврейские глаза отрешенно смотрят куда-то в пространство.

Карский рассказывает о предложениях лидеров гетто и о реакции на них британских властей, которая оказалась недоуменно отрицательной : "Это, конечно же, невозможно сделать!"

- Послушайте,- перебивает его Зигельбойм,- не рассказывайте мне о том, что происходит здесь. Я сам знаю это. Скажите о том, что делается там, чего они хотят, о чем говорят.

Карский молчит, несколько ошарашенный этой резкостью, граничащей с грубостью. А потом взрывается.

- Я скажу вам чего они хотят. - И он повторяет слова, услышанные осенней ночью в руинах дома в варшавском предместье. - Они просили передать вам: пусть не едят, не пьют, пусть умирают на глазах света. Пусть умрут. Может быть, это встряхнет совесть мира.

Зигельбойм хватается за голову и в наступившем молчании мечется по комнате. Карский снова начинает говорить. На сей раз никем не прерываемый, он ведет свой монолог, наполненный мельчайшими подробностями жизни гетто, именами, столь хорошо знакомыми его собеседнику, всевозможными историями, почти всегда имеющими трагический финал.

Когда он умолкает, Зигельбойм приближает свое лицо к его лицу, как это сделал в свое время Киршенбаум, и умоляющим голосом спрашивает: " Вы ведь верите мне, что я сделаю все, что в моих силах? Вы верите мне, не правда ли?"

- Зачем ему нужно, чтобы я верил ему? - думает Карский. Он устал так, как никогда не уставал в своих бесконечных странствиях последних лет, устал от нервного возбуждения, которое исходило от его собеседника, от сжигающего его огня.

- Конечно, верю. Боже мой, да ведь каждый из нас делает, что может.

И снова идут недели. Карский забывает о своем экзальтированном собеседнике, об этой встрече, оставившей какой-то смутный осадок. Однажды поздним майским вечером в его комнате на Дольфин-сквере раздался телефонный звонок. Разбуженный, он неохотно снял трубку. Звонил чиновник из Стрэттон хауза.

- Мне поручено сообщить вам, что Шмуэль Зигельбойм, член Рады народной и представитель Бунда в Лондоне, вчера покончил жизнь самоубийством. Он оставил письмо, где пишет, что сделал все, что в его силах для помощи евреям в Польше, но ничего не добился. Его братья погибли, и он присоединяется к ним. Он открыл газ в своей квартире.

Остаток ночи Карский лежал без сна, думая о том, как странно все это складывается в жизни. Приходишь к незнакомому человеку и нежданно, негаданно для себя самого вручаешь ему смертный приговор. Видимо он, Карский, недооценил меры отчаяния и опустошенности Зигельбойма. Вот также он, наверное, лежал без сна в лондонской квартире, ощущая свою безопасность, как преступление, мучаясь от бессилия, чувства вины за свою эмиграцию, думая о погибнувшем мире, где прожил жизнь. И когда мучения эти стали ему не по силам, он открыл газовые краны, сунув голову в смерть, как в распахнутую форточку. И это его умоляющее: "Вы верите мне?" Теперь Карский верил ему..

" Я знаю, как мало значит человеческая жизнь в наше время, но уж если я не мог ничего сделать при жизни, может быть, смертью своей помогу сломать равнодушие тех, кто имеет возможность спасти, хотя бы в последнее мгновение, оставшихся еще в живых польских евреев.

Моя жизнь принадлежит еврейскому народу Польши, и поэтому я ему ее отдаю. Я желаю, чтобы те, кто останутся от нескольких миллионов польских евреев, дожили до освобождения в мире свободы и социалистической справедливости вместе с польским народом. Я верю, что поднимется такая Польша и наступит такой мир.

... Посылаю свое "Будьте здоровы" всем и всему, что мне дорого и что я любил.

Шмуэль Зигельбойм. Лондон, 13 мая 1943 года."

В майскую ночь, когда писалось это предсмертное письмо, за тысячу километров от весеннего Лондона, уже ощущавшего перелом в войне, предвкушавшего пусть и неблизкую Победу, остатки восставших варшавских евреев, потерявшие своих руководителей, готовились к последним смертным схваткам. Одинокие выстрелы оглашали ночную тишину, дым пожаров,, запах газа, которым выкуривали повстанцев из бункеров, стоял над развалинами гетто, Через три дня Штроп взорвет варшавскую синагогу в знак своей победы над евреями.

А еще через три года, в 46-м, по миру пронесется отзвук погрома в Кельцах. Польская чернь будет громить уцелевших евреев, "доживших до освобождения в мире свободы и социалистической справедливости вместе с польским народом". И еще двадцать лет спустя, в 67-м, остатки этих евреев будут уезжать в Израиль, в Штаты, в Европу, оставляя страну, о которой с такой тоской и любовью писал Шмуэль Зигельбойм.

Ему же, Зигельбойму, эта страна, , в апреле 93-го поставит памятник. И то будет последнее действие в рассказываемой мной истории, начавшейся октябрьской ночью 42-го года и растянувшейся на полвека.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Самый веселый барак

В шестидесятые годы Польшу в Москве называли самым веселым баракком в социалистическом лагере. Для советского человека, да к тому же молодого и не выездного, Варшава выглядела заграницей. Впоследствии я бывал и в Берлине, и в Нью-Йорке, но даже тени того пленительного ощущения свободы, жадного впитывания чужого быта, культуры, языка и наслаждения всем этим, не испытал.

В том наслаждении заключалось однако некое нравственное противоречие. Я приехал с определенной целью - собрать материал о варшавском гетто, его восстании, мученичестве польских евреев. И делал все, что положено в подобных случаях - работал в еврейском историческом институте, встречался с уцелевшими участниками восстания, ездил по концлагерям.

Теплым сентябрьским днем я шел вдоль лесной опушки по дороге выложенной белыми плитами, имитировавшими шпалы, и попадал на поле, усеянное серыми гранитными глыбами. На каждой стояло название города. Под этими глыбами в лесной земле лежали 800 тысяч человек убитых только за то, что они родились евреями. Ум не в состоянии вместить эту цифру - 800 тысяч человек, похороненных на нескольких гектарах земли. То была Трешлинка.

Несколько дней спустя я стоял на огромном дворе, заросшем пыльной, жесткой осенней травой. Сюда, казалось, не доносились никакие звуки жизни. Только куковала кукушка, отсчитывая чьи-то годы. В дрожащую стеклянную голубизну этого дня я вышел из мрака газовой камеры. То был Майданек.

Но в тот же самый день, примчавшись из Люблина в Варшаву, я отправлялся в театр "Атенеум" на изысканнейшую постановку пьесы Петера Вайса о маркизе де Саде и завершал вечер в ресторанчике на берегу Вислы, где из открытого окна видны речные огни, а оркестр исходит тягучими томительными мелодиями.

На утро я отыскивал улицу. Во время войны она называлась аллея Шука. Там помещалось гестапо. Я шел вдоль пыточных камер и на беленой стене одиночки читал выцарапанное: "Никто обо мне не думает и не знает. Я так одинока, и я должна умереть без вины."

Сердце разрывалось от ужаса и сострадания. Но нет, оно не разрывалось. Оно жило, стучало. И выйдя из подземелья, походив, покурив, посидев на скамейке парка, я снова начинал впитывать в себя все окружающее с какой-то мучительной, почти

сладоострастной наблюдательностью. Вот ксендз в нейлоновой сутане - сухощав, строен, значителен. Вот пожилой господин с зонтиком подмышкой целует руку девушке в замшевой куртке, начиная разговор, полный значительных улыбок и кокетливых недомолвок.

Как это совмещалось с только что прочитанным восклицанием, полным смертной тоски и безысходного одиночества? Жизнь шла в этом поразительном контрапункте. И твое сознание, вместив глубину предсмертного страдания, одновременно жадно поглощало ликующую плоть сегодняшнего мира.

Такая двойственность бытия казалась мне постыдной, кощунственной, но она была реальной. Я не мог изгнать ее из себя, из своего молодого естества. И все эти варшавские дни сентября 1967 года проходили для меня в двух измерениях - трагического прошлого и прекрасного земного настоящего.

Время от времени друзья доставали мне телефон очередного обитателя гетто, участника восстания. Как правило, мы встречались в уличном кафе где-нибудь в центре города, и я записывал все, что мне рассказывали, отодвинув чашку недопитого кофе, среди сигаретного дыма и щебетанья юных польских панн.

Одного из моих конфидентов звали Бернард Борг. К моменту нашей встречи он был пенсионером. Скромный пожилой еврей. Отставной кооператор. Он сражался в группе Герша Кавэ, одной из четырех боевых групп, сформированных коммунистами.

10 мая они решили выходить на арийскую сторону через подземный ход. Вышли во двор жилого дома, где их и схватили. В Треблинке он попал в партию наиболее крепких мужчин. Им сказали: "Вы не пойдете на мармелад." Эта людоедская шуточка означала, что их используют для работы. Отправили сначала в Майданек. Потом в Освенцим. Из Освенцима он перед самым освобождением бежал.

И вот этот неприметный человек, в биографии которого были все самые страшные лагеря уничтожения Второй мировой войны, сидел передо мной в кафе "Виклина", что на Маршалковской, осторожно попивая кофе, среди стен стилизовано оплетенных прутьями ("Виклина" по-польски - корзина), среди обитых красной кожей маленьких табуретов и болтовни варшавской молодежи 60-х годов.

Я спросил, как проходила в группе Герша Кавэ ночь перед восстанием. Он сказал, что у них кроме командира был еще комиссар - девушка. Ее звали Ружка Розенфельд. Она подходила к каждому бойцу, спрашивая, все ли он взял с собой, не забыл ли продукты, бинты, электрический фонарик. А перед рассветом сказала речь примерно такого содержания: "Помните, что вы продолжаете лучшие традиции освободительной борьбы польского пролетариата, что вы партизаны."

Ну, что же я мог еще ожидать? Борг был старый член партии, партийный пенсионер и беседовал он с журналистом из Москвы. Он говорил все как надо. Наверное так и было. Почему бы комиссару Ружке Розенфельд не произнести речь, напоминающую выступления коммунистических комиссаров в плакатных советских пьесах?

Больше всего мне хотелось встретиться с Марком Эдельманом. Борг был рядовым бойцом восстания, а Эдельман - заместителем командира боевой организации.

Как-то получалось, что в рассказах об уцелевших повстанцах он оставался в тени. Да и в варшавских редакциях о нем говорили с многозначительной улыбкой: "Конечно, герой. Заместитель Анилевича. Но с ним нелегко. Вряд ли вам удастся его разговорить. Если вообще он захочет встретиться."

Его героическая биография имела теневые стороны с точки зрения официальной идеологии. Он был бундовцем, лидером бундовской молодежи в гетто, а после выхода по каналам на арийскую сторону и чудодейственного спасения участвовал в восстании варшавских поляков, поднятом Армией Крайовой. Сейчас он работал кардиологом в одной из лодзинских клиник - эдакий скромный, стоящий вне политики врач.

Казалось бы, что во всем этом особенного? Но мне ли, воспитанному в советских идеологических играх, не понимать такого рода оттенки отношений с властью, не ощущать невысказанную пассивную интеллигентскую оппозиционность по отношению к режиму, не знать этих умолчаний и эвфемизмов, идущих из цековских кабинетов - "наш человек", "не наш человек".



Встретиться с ним и в самом деле оказалось нелегко. Общие знакомые не находились. Мои друзья искали подходы через третьих лиц. Звонили в Лодзь, дома его не заставали. Наконец, в ответ на сбивчивые объяснения "кто есть кто", в телефонной трубке раздалось очаровательно куртуазное, с польским распевом: "Проше бардзо".

На следующий день в вечерних дождливых сумерках, на грязноватой окраине Лодзи отыскиваю улицу Зильверовича. Никто такой не знает. Оказывается, недавно переименована. Была Мостова. Улица прямая, пустая, бульжная, совсем загородная. Небольшие виллы, сады. В самом конце - дом 34а. Калитка. Мокрый от дождя автомобиль. В спичечном огне у звонка - "Доктор Марк Эдельман".

В передней - пятидесятилетний, среднего роста, худой, изящный человек с резкими чертами умного семитского лица. Одет с элегантною мешковатостью - серый пуловер, белая рубашка без галстука.

В большой комнате - старые кожаные кресла, массивный письменный стол, тахта под пестрым пушистым покрывалом.

«Вы хотите знать правду? Нас насчитывалось двести - двести двадцать. Пятьсот? Ерунда. Двести. Было 19 апреля, 20-е, 21-е. Потом спад, перестрелки. Потом 1, 2, 3 мая. И агония. Не надо преувеличивать военное значение восстания. Главное, что оно было.

Анилевич?.. Из бедной семьи. Знаете, что такое беднота, польское еврейство? Очень способный. Принадлежал к левым поалей-сионистам. У них имелся киббуц под Бенджиным. Анилевич оказался там во время большой депортации. Он не знал, что такое депортация. Он был моложе всех нас. Романтичен. Да, конечно, интеллигентен, как и все мы - интеллигентные мальчишки. Он был всегда беден и честолобив. Когда мы обедали, он сидел, охватив тарелку руками. Вот так... Мы спрашивали: "Мордка, почему ты так ешь?" - "Так привык. Чтобы братья не отняли."

Почему он стал командиром? Мы решили: пусть будет он, чтобы не было раскола. Он вел дневник, и Антек как-то пришел ко мне и сказал: "Он записал: если я не буду командиром, пусть ничего не будет". Он очень ценил свою должность. Однажды, он сделал что-то не так и мы с Антеком сказали ему: "Смотри, Мордка, ты не будешь командиром." Он испугался. Но он был плохим командиром. Ему лишь бы 19 апреля, а там уж все.. Помните его письмо Цукерману: "Сбылась главная мечта моей жизни..." В этом он весь. И этот его приказ о самоубийстве. Можно было найти выход, и те, кто не выполнили приказ, спаслись. Мы с Цивьей пришли спустя два часа после этого коллективного самоубийства и помогли живым уйти.

Мы вышли через люк на Простой 10 мая. Нас было сорок и до этого спаслись еще тридцать. Мы сели в автомашину. Это устроил Антек Цукерман. Одни ушли в лес. А мы с Антеком скрывались у поляков, сначала на одной квартире, потом на другой. Потом Варшавское восстание.

Как живет Цукерман? О, хорошо. Пьет водку, пишет книги. У него, знаете, русский характер. Цивья работает в управлении киббуцами - политическая деятельность - Нью-Йорк, Париж. Но болеет. Я был у них. Они у меня..."

Эти детали - миска, закрываемая руками, цифры - "Нас насчитывалось двести - двести двадцать" - я прочитал годы спустя в книжке Анны Краль "Опередить господ бога", представляющей собой диалог автора с Эдельманом.

С Анной Краль мы познакомились в середине шестидесятых в Москве, во времена косыгинской экономической реформы, этой первой на нашей памяти попытки прорыва к рынку, за которой, как мы надеялись, могут последовать и другие сначала экономические, а потом и политические шаги. Эти надежды оказались похороненными в августе 1968 года вторжением в Чехословакию. Но тогда они теплились, грели душу не только московской либеральной интеллигенции. На заводах, в совхозах иногда предпринимались самодеятельные прорывы к рынку.

На некоем полузакрытом московском предприятии один цех решил обособиться от завода. Ему рассчитали внутренние цены, установили нормативы и пустили в свободное плавание. В первый же месяц этот островок рынка в море централизованного планирования захлестнули волны неудач: намеченную прибыль цех не получил, заработки упали. Директор, с доброжелательной снисходительностью

наблюдавший за экспериментом, предложил денежную добавку из общезаводских фондов. Цех отказался.

Через несколько дней после публикации моей статьи об этой истории в редакцию пришла маленькая женщина с выразительным еврейским лицом - московский корреспондент варшавского еженедельника "Политика" Анна Краль. На мой вопрос, что это за издание - "Политика" - она ответила: "Помесь ваших "Литературной газеты" и "Нового мира"

Конечно, корреспонденту такого издания была интересна рассказанная мной история, и она советовалась, как ей попасть на завод.

Что я мог сказать? Начальник цеха, энергичный еврей по фамилии Зеличенко, и со мной-то разговаривал с опаской. А я ведь был свой - советский, московский. Над нами обоими стояла идеологическая пирамида - райком, горком, ЦК - где при слове рынок хотелось "схватиться за пистолет". Реформа еще шла, но могильщики ее стояли с лопатами наготове. Как же ему, Зеличенко, принимать иностранную журналистку хотя бы и польскую? Польша считалась не только самым веселым, но и самым вольным, самым опасным баракком социалистического лагеря. Хуже ее была разве что Югославия. Я дал телефоны, адрес. Думаю, однако, что на завод ее не пустили.

Лет десять спустя она опубликовала свои диалоги с Эдельманом. Здесь она была своя, принадлежа к тому же слою польско-еврейской интеллигенции, что и Эдельман, да и к тому же являясь ребенком войны.

В 68-м она рассказала в своей "Политике", как ее маленькую девочку с печатью семитской расы на лице, означавшей смерть не только для нее, но и для тех, кто ее укрывал, пять лет передавали из рук в руки, пряча по подвалам и чуланам. Она подсчитала: 45 польских женщин и мужчин рисковали жизнью ради ее спасения, и назвала их имена.

Книжка об Эдельмане написана с литературной изощренностью, с подчеркнутым антиэстетизмом, который по закону обратной связи превращается в эстетику гибели, разложения физического и нравственного. Анна Краль описывает смерть красивой светловолосой женщины, послужившей моделью для памятника варшавской Сирены, стоящего над Вислой: "Какая прекрасная жизнь и прекрасная смерть... Но так живут и умирают красивые и светлые люди. Черные и некрасивые люди живут и умирают неэффектно: в страхе и темноте... Черные и некрасивые лежат, ослабев от голода в сырых постелях, и ждут покуда кто-нибудь принесет им овсянку на воде или чего-нибудь с помойки. Все серое - волосы, лица, постель."

В ее воспоминаниях о собственном детстве польский полицейский, отпуская мать и дочь, не отправив их в гестапо, говорит матери: "Если бы у меня было такое удивительное черное дитя, я бы не показывался с ним на улице". Противопоставление черного и светлого, лицо как клеймо - это осталось в ней на всю жизнь.

Выше я цитировал книжку самого Эдельмана "Гетто борется", изданную в Лодзи в 45-м. Это документ, отчет, написанный молодежным партийным деятелем, рассказ о героизме товарищей, о гибели гетто. С Анной Краль беседует другой человек. Жесткий, едкий, преисполненный скептицизма, раздражения по отношению к каждому преувеличению, романтическому всхлипу. Таким я его видел уже в 67-м.

Их беседа с Краль пронизана пафосом демифологизации. Цукерман утверждает, что повстанцев было 500-600, а он, Эдельман, что 200-220. "Это не имеет значения", - цедит он сквозь зубы. Все ничто в сравнении с безмерностью происшедшего.

Они идут с Анной на Умшлагплац. Он был посыльным в больнице, его работа заключалась в том, чтобы стоять у ворот Умшлагплаца и выводить больных. Немцы разрешали делать это, создавая иллюзию отправки на работу. Он показал Анне бетонный столбик, у которого стоял все дни депортации. Он проводил на смерть 350 тысяч людей.

Холокост бронзовеет

И снова временной сдвиг. Апрель 1994 -го. На сцене московского Дома ученых за небольшим столиком рядком - шесть пожилых людей. Генерал. Актер. Парламентарий. Историк. Пенсионерка. Врач.

Генерал - массивный, медлительный, в поношенном мундире с завесом орденом. Командир дивизии времен Второй мировой . Из сталинских генералов-победителей.

Актер - с внешностью доброго ребе, с умными глазами из-под нависших бровей, хромой со времен войны, всех знавший, со всеми на ты, всех переживший.

Парламентарий. Женщина - литератор, жизнь прожившая в московских интеллигентских тусовках. "Я шла в Госдуму, как представитель еврейского национального меньшинства".

Пенсионерка. Смирнейшее существо. Расстрелянная в октябре 41-го, она выбралась из-под трупов братской могилы и потом прожила длинную-длинную жизнь.

Историк. Гонимый в советские времена, он воспитал целую школу публицистов постсоветской поры, возглавил научно-просветительский центр "Холокост", много и жадно писал, печатался, словно наверстывая долгие годы не признанности.

Наконец, врач. Я не видел его четверть века с того самого визита в Лодзь. Тогда ему было под пятьдесят, стало быть сейчас семьдесят пять. Лицо оплыло, потеряло жесткость очертаний. Но внутренняя сила, похоже, осталась - во взгляде, движениях, манере держаться.

Он давно вышел из тени, в которой жил долгие послевоенные годы. В период расцвета "Солидарности" находился в центре политических событий. И в Москве ему суждено быть в роли почетного гостя польского посольства, гостя, опекаемого, возимого по торжественным собраниям.

Он пристально смотрит в зал, где собрался московский бомонд - министры, писатели, ученые, актеры. Бывший главный партийный идеолог, ставший одним из лидеров и творцов перестройки. Литературный критик, превратившийся в министра культуры. Экономист, зачитывающий послание президента России в качестве одного из руководителей его администрации. Знаменитый генерал, чье имя носила линия укреплений, построенная вдоль Суэцкого канала, представляющий теперь Израиль в качестве его посла. Поэт, чьи песни тридцать лет поет Россия.

Эдельман, смотрит припухшими от старческих недомоганий, чуть выпуклыми глазами в зал, излучающий свечение политических игр и противостояний, имперского прошлого и нынешнего демократического хаоса.. А зал смотрит на Эдельмана - на старого еврея, который полвека назад вместе с сотней таких же, как он, пылких мальчиков вышел из подземелий гетто, чтобы достойно умереть с оружием в руках. И не умер, а сидит здесь, как икона, как символ еврейского сопротивления и мученичества.

Эдельман - это прошлое полувековой давности, в память которого они собрались здесь. Но на самом деле их занимает настоящее, полное боли, надежд, страхов, и настоящее пульсирует в каждом предложении, произносимом с трибуны этого респектабельного зала.

"Впервые Россия вместе со всеми цивилизованными странами отмечает международный день памяти евреев - жертв нацизма".

"Сейчас, когда антисемитизм стал политическим лозунгом нескольких движений, надо сделать все, чтобы не дать этим людям приблизиться к власти."

"Существование Израиля - гарантия того, что больше катастрофы не будет."

"День катастрофы бронзовеет, но не бронзовеют причины, породившие ее".

На следующий день я вижу Эдельмана в зале гостиницы, где проходит научная конференция, посвященная Холокосту. Здесь ристалище философствующих интеллектуалов и, стало быть, иная, более изощренная терминология.

"Что такое политика? Технология или трансляция нравственной воли?"

"Вывод из книги Ханны Арендт: Эйхману нельзя ничего инкриминировать - он не субъект нравственной воли, а деталь технологической машины."

"В сознании гомо советикус содержится повторение холокоста. Это сознание имеет три свойства: вера в существование центра, где все знают, все могут; образ врага и бегство от принятия решения."

"Называя Жириновского Гитлером, мы создаем механизм аванса на историческую судьбу. Имя это проект будущей истории."

"Геноцид - норма племенной войны. Его следы в действиях Иисуса Навина".

"Основные причины массовых истерий двадцатого века глубже идеологии. Это потеря контакта с вечностью, утрата чувства целостности, органичности жизни."

Эдельмана также просят выступить, и он пытается встроиться в эту политизированную дискуссию с ее научной отстраненностью от живого национального страдания, представителем которого его здесь воспринимают. "Нет разницы между евреем, погибшим от руки фашиста, и украинцем, который погиб потому, что не хотел идти в колхоз... В Камбодже во имя абстрактной идеи убили миллионы."

Впрочем, им неважно, что он говорит. Важен он сам. Его и здесь воспринимают как икону. Ему становится скучно среди этих философских умствований. Он выходит в холл, курит сигарету за сигаретой.

Пользуясь редкой минутой, когда он один, подхожу, представляюсь, напоминаю о давней встрече. Нет, не помнит. К нему столько журналистов приходило за эти годы. Спрашиваю о его отношениях с Израилем. "Израиль не приемлет меня. Другой язык. Другие проблемы. Другие евреи. Не те, которые погибли в катастрофе. Цукерману говорили, что мы плохо сопротивлялись. Воюет же Израиль с арабами. Ицхак не обрел себя в политической реальности Израиля. Он был из другого мира. Весь в польской культуре. Читал на память Словацкого."

В эти же самые дни "Маарив" напишет про него: "Человек грустный, молчаливый, немного нервный в своих реакциях, резкий в формулировках, непрерывно курящий... В Израиле многие годы заботились о том, чтобы скрыть роль в восстании тех, кто не входил в молодежные сионистские движения. Десятилетиями подчеркивалась роль Хашомер Хацаир и левых движений и преуменьшалась - Бетара. Бунд вычеркнули вообще. Эдельману приклеили ярлык: "Ненавидящий Израиль..." Эдельман отказывается видеть в восстании несколько мистическое событие израильско-сионистского героизма. Урок, который он видит в катастрофе вообще и в восстании в частности - универсальный, гуманистический. Это событие, в котором не дали выбора другой формы смерти".

Он не обрел себя в коммунистической Польше 60-х, не находит себя в Израиле 90-х. Впрочем, кажется, он ощущает себя на месте в современной Польше. Выступая в польском культурном центре в Москве и отвечая на вопрос о французских обвинениях поляков в антисемитизме, он скажет: "Пусть французы занимаются своей историей. Петэн вывозил еврейских детей в немецкие концлагеря. В Варшаве прятались 12 тысяч евреев при населении 700 тысяч. В спасении одного еврея участвовало пять человек. Это значит: каждый десятый - одиннадцатый варшавянин был причастен к спасению. Но зло одного звучит громче добра многих."

Нет, он не случайно остался в Польше после войны и прожил в ней всю жизнь. В этом - изначальная заданность судьбы, начинавшейся в бундовских молодежных кружках, продолжавшейся в мучительных метаниях польской интеллигенции, с ее тайной оппозиционностью коммунистическому режиму, надеждами на "Солидарность" и нынешней, уже неведомой мне жизнью.

Его спросили о причинах отъезда остатков польского еврейства в конце 60-х. "Шла борьба за власть, а в такой борьбе всегда нужен враг. Без врага не мобилизуешь

общество. Из оставшихся 18 тысяч евреев уехали 13 тысяч. Они чувствовали себя оскорбленными, их считали людьми второго сорта. Сколько их сейчас? Специальной статистики нет. Думаю, 4-5 тысяч. В Лодзи есть благотворительная еврейская кухня. Раньше приходили 300-400 человек. Сейчас 30-40. Одни старики..."

И сам он старик. Умный, жесткий еврейский старик. Один из тех, кто тушит свет последним по старому московскому анекдоту времен массовой эмиграции: "Не забудь потушить свет в Шереметьево".

То, что не доделал Гитлер с его Треблинкой, доделала послевоенная польская история: Польша стала юденрейн.